в диверсии и браться за рискованные дела, хотя это и запрещалось разведчикам. Воевать в партизанах нужно с шиком, а главное — весело и беззаботно. С тупым, унылым взглядом и заунывным голосом я себе не представляю партизана. Без удали в глазах можно итти на такие дела только по принуждению. В партизаны шли добровольцы, романтики, были и случайные люди, но первые брали над ними верх и прививали им свой стиль.

В это самое время в Брянские леса через заградительные оккупационные отряды, состоявшие из нескольких венгерских полков, ломился из степей Украины человек, о котором уже ходила слава в партизанских краях. Одни говорили, что это цыган, кочевавший по немецким тылам, другие, — что это полковник, у которого все рядовые не ниже старшего лейтенанта, что он имеет танки, самолеты. Но кто бы он ни был, немцы боялись его, как огня, а народ рассказывал о нем легенды. Одним словом, молва несла весть о человеке, который соответствовал моему идеалу партизана.

Как только он появился вблизи Брянских лесов, я, к тому времени уже опытный разведчик, посадил свою радистку на облучок орловской одноконной повозки и покатил к нему. Дорога была длинная, около девяноста километров, дуга все время сваливалась, рассупонивался хомут, и мы никак не могли с ними справиться. Я очень обрадовался, увидев пароконные украинские телеги с люшнями... Это было в сосновом лесу возле Старой Гуты, невдалеке от Хутора Михайловского, где расположился лагерь Ковпака.

Этот лагерь действительно напоминал чем-то цыганский табор. По всему чувствовалось, что люди не собираются обживать эти леса. Группками стояли повозки с люшнями, странно выглядевшие среди орловских лесов. К люшням были прикреплены мадьярские, немецкие, румынские палатки. На всех перекрестках стояли станковые пулеметы и минометы всех времен и народов; часовые на заставах курили ароматный табак или сигары, презрительно поплевывая через

губу и снисходительно поглядывая на местных партизан. Одним словом, еще не доехав до Ковпака, я в этом столь отдаленном от днепровских равнин крае почувствовал родной запах Украины и ее бесшабашного воинства, аромат как бы возрождавшейся из веков Запорожской Сечи.

Когда я подъехал ближе, я увидел, что штабом служила большая елка, огороженная вбитыми в землю жердями. Внутри загородки стояла мадьярская санитарная машина. В сторонке на скорую руку было состряпано подобие стола на четырех колышках, «машинистка» с усами и в лохматой шапке бойко выстукивала на маленькой портативной пишущей машинке. Рядом сидел человек с бородкой, лысый, с очками на лбу и трудился. Очевидно, к этим партизанам часто приезжали экскурсанты, так как на меня никто не обратил особенного внимания.

Я представил документы человеку с бородкой. Он оказался начальником штаба отрядов Ковпака. Звали его Григорий Яковлевич Базыма. Как я узнал позже, он был в прошлом директором школы, всю жизнь учил детей — курносых и чернобровых украинцев, увлекался пчелами, садом, огородом. Многие из его учеников были в отряде бойцами, а учителя — командирами. Базыма повертел в руках мой документ и сказал: «Командир и комиссар уехали, скоро будут», — и штаб продолжал работу.

«А где же танки и самолеты, о которых все время говорили в партизанском крае?» — думал я. Их пока что не было видно. Но вот, лавируя между деревьями, показалось несколько всадников. Впереди на высоком коне ехал худощавый старик в каком-то непонятном штатском костюме. Рядом с ним на прекрасной арабской лошади — красивый мужественный военный человек с черными как смоль усами и быстрым взглядом. Старик походил на эконома, который объезжает свое хозяйство. Оба они слезли с лошадей, и старик — это был Ковпак — стал кого-то ругать. Затем только увидев меня, он протянул мне руку, назвал свою фамилию и сказал:

— Бумажку сховай, тут вона не потрибна.

Комиссар стоял у дерева и оценивающим взглядом наблюдал за нами. Я сразу увидел, что тут надо держать ухо востро, тут жох-народ, и понял, что действительно бумажки тут ни к чему. Я начал было разговор о цели своего приезда. Ковпак перебил вопросом:

— А покормили тебя?

Я сказал, что не голоден, и в ответ услышал:

— А то не наше дило. Наше дило погодувать!

Вот этот хозяйский глаз, уверенный, спокойный ритм походной жизни и гул голосов в чаще леса, неторопливая, но и не медлительная жизнь уверенных людей, работающих с чувством собственного достоинства, — это мое первое впечатление об отряде Ковпака. Когда я ближе присмотрелся к этим людям, то сразу понял, что воевать буду только с ними вместе. Если когда-нибудь хватит сил у меня написать книгу о них, я назову ее: «Люди с чистой совестью».

Большинства первых ковпаковцев, которых я увидел тогда, летом 1942 года, уже нет в живых. Могилы их разбросаны от Брянских лесов до Пинских болот, от Житомира до Карпат, от Волыни до Перемышля, от Варшавы до Бреста и Белостока.

На выходе из Брянских лесов у дороги одинокая могила славного разведчика Николая Бордакова; в Карпатах, на высоте 1613, в пещере из громадных камней, на горе, куда залетают лишь горные орлы, лежит Чусовитин; на венгерской границе навеки уснул четырнадцатилетний партизан Михаил Кузьмич Семенистый. В глубоком и узком ущелье реки Зеленицы, прикрывая собственным телом отход товарищей и жертвуя самым дорогим — жизнью, погиб славный русский вологодский парень Митя Черемушкин; в лесах Киевщины спят в одной могиле побратимы Колька Мудрый и Володя Шишов; в Польше сложили свои головы Николай Гапоненко, Иван Намалеванный и сотни других...

Да, это были люди с чистой совестью!..

VIII

Узнав Ковпака ближе, я окончательно решил для себя, что буду воевать с ним вместе.

Уезжая на несколько дней на наш партизанский аэродром, который к тому времени мы уже организовали, я был недоволен только одним: я не видел ни танков, ни самолетов Ковпака, о которых шла партизанская молва. Вернее, я видел, что их нет и не было, но где-то таилась надежда, что этот старик припрятывает их и вообще страшно скрытничает. А влезать в чужие секреты не в моей натуре.

Когда я уехал от Ковпака в глубь Брянских лесов, на первой же стоянке устами партизана-орловца многое мне разъяснилось. Дело было у костра, возле которого ночью грелись партизаны. Большинство дремало, трое или четверо вели беседу.

— Ковпак опять в поход собрался... — сказал один.

— Не-е, — отозвался другой. — Он же недавно из степей пришел.

— Опять собрался...

Сухо потрескивали сучья в ловко, по-охотничьи, сложенном костре.

— Недаром за его голову немцы десять тысяч рублей дают, — задумчиво пробасил третий.

— Ничего, ничего, вот еще в один рейд сходит — прибавят цену, — сказал первый.

— А сколько за нашего дают? — заинтересовался наивный орловский курносый парень, имея в виду одного из руководителей партизанских отрядов.

— За нашего? — переспросил бас. — Ну-у, за нашего немцы тысяч двадцать дадут... Чтоб его от нас черти не взяли только...

Вот как по-разному оценивал народ своих вожаков.

У Клаузевица в его книге «О войне» есть такие слова: «Партизанские отряды должны быть не столь велики и сильны, как многочисленны и подвижны. Они должны быть способны появляться, исчезать и способны объединяться, но этому не должно слишком мешать честолюбие и самодурство отдельных вождей».

Не глуп был немец Клаузевиц.

Жаль, что самолюбие и самодурство отдельных «вождей» зачастую мешало многим из нас объединяться и наносить совместные удары. А те, которые нашли в себе решимость, вопреки своему самолюбию, объединиться, оказывались способными наносить врагу удары большой силы. Именно такими людьми были Руднев и Ковпак.

На первый взгляд совершенно противоположные друг другу — старик шестидесяти лет без образования, но с большим жизненным опытом, старый солдат-рубака в полном смысле этого слова, разведчик первой мировой войны, пересидевший в окопах и переползавший по-пластунски землю Галиции и Карпат, имевший два георгиевских креста, служивший у Чапаева в гражданскую войну — Сидор Ковпак и культурный, военнообразованный, храбрейший воин и обаятельный оратор — Руднев.

Руднев был ранен в горло в первые месяцы своей партизанской деятельности. В партизанском же отряде он вылечился. После ранения он немного картавил, и это придавало особую привлекательность его речи. А речь была основным, чем двигал вперед он свое большое дело. Во время мирной жизни мы забыли об этом могучем оружии, его притупили некоторые ораторы, выступавшие на собраниях и митингах, бия себя в грудь и произнося по шпаргалкам затасканные фразы, которые не вызывали чувства подъема, не будили мысль и были способны вызвать лишь тошнотворную скуку. Нас, молодое поколение революции, эти штатные ораторы отучили от мысли, что речь человеческая — острое оружие, ибо при посредстве ее люди выражают свои идеи, переживания, то есть все, за что люди испытывают муки, страдания, радость победы и творчества, за что часто жертвуют даже жизнью.

Слушая Руднева на лесной поляне, когда он говорил с бойцами, или слушая его речь на сходах мирных жителей, я впервые узнал и увидел, что может сделать человеческое слово.

Руднев не умел говорить казенно; каждое простое, обыкновенное слово было проникнуто у него страстностью, оно было целеустремленным, действовало как пуля по врагу. Оно очищало бойца от солдатской грязи и грубости. Руднев неустанно работал над воспитанием своих партизан. Он выбивал из них ненужную жестокость, он вселял в них уверенность, воспитывал терпеливость, выносливость, высмеивал трусов, пьяниц и особенно жестоко боролся с мародерами. Последнее чрезвычайно важно в партизанской жизни. Партизаны — это армия без интендантства, армия, над которой нет ни определенных законов, ни их блюстителей, ни ревтрибуналов, ни милиции. Поэтому здесь легко скатиться к простому бандитизму, к употреблению оружия для легкой, привольной и сытой жизни.

Это отлично понимал Семен Васильевич Руднев. Иногда он напоминал мне педагога Макаренко, каким можно себе представить его по книге «Педагогическая поэма». Что-то общее было между Макаренко — воспитателем беспризорных детей, из которых он ковал сознательных, грамотных, стойких бойцов социализма, и Рудневым, который где-то по ту сторону фронта, там, где немцы сознательно стимулировали низменные человеческие страсти и инстинкты, личным примером вел партизан к доблести и геройству.

Перед человеком, из страха или из иных побуждений совершившим первое преступление, дезертировавшим во время отступления, Руднев открывал возможность исправиться. Немцы говорили: «Хочешь иметь власть над людьми — поступай в полицию. Ты будешь господином, ты сможешь жрать, пить, насиловать женщин, стяжать, тащить себе имущество, расстреливать людей. (И находились такие, которых прельщал этот путь.) А если ты не хочешь итти по такому пути, — вот тебе другой: работай на нас здесь, а потом мы тебя угоним в Германию».

Если же человек не хотел итти по этим двум путям, он шел в лес, брал оружие и боролся. Боролся даже тогда, когда фронт неизвестно где, а немецкая пропаганда твердит, что Москва давно взята.

Некоторые пошли в партизаны, но затем, под влиянием временных неудач, заколебались. Руднев особенно следил за такими. Контролируя ежедневно их мысли, он направлял их, помогал, ободрял, воспитывал, делал похожими на себя.

Когда я слушал беседы Руднева с партизанами, когда совершал с ним рейды, он напоминал мне другого, никогда не существовавшего человека, возникшего лишь в воображении гениального писателя. Руднев напоминал мне тогда Данко из горьковских рассказов старухи Изергиль, Данко, который вырвал из своей груди сердце, и оно запылало ярким пламенем, освещая путь заблудившимся в чаще жизни людям.

Руднев был человеком, способным повести за собой массу, порой колеблющуюся, — массу, которой нужно питаться, спать, одеваться, которой иногда хочется отдохнуть. И Руднев способен был повести ее за собой. Роль Семена Васильевича Руднева в партизанском движении на Украине — да и не только на Украине — гораздо большая, чем та, которую он играл по своему служебному положению. Хотя он был только комиссаром Путивльского партизанского отряда, но влияние Руднева, стиль его работы распространялись на сотни партизанских отрядов от Брянска до Карпат, от Житомира до Гродно.

Партизаны других соединений всегда старались подражать соединению Ковпака. Оно было лучшим не только по своим боевым качествам и отборному составу, но и потому, что своими рейдами всегда открывало новую страницу летописи партизанского движения. Партизаны Ковпака и Руднева ходили дальше всех, они были открывателями нового пространства, они были разведкой партизанского движения Украины, Белоруссии, Польши. А впереди них шел красивый сорокалетний мужчина, с черными жгучими волосами, с черными усами, энергичный и простой, непримиримый и страстный, шел, высоко неся свое мужественное, горящее ненавистью к врагу и любовью к родине сердце, освещая

путь своим бойцам, не давая им стать обывателями партизанского дела.

Ковпака и Руднева судьба свела еще в годы мирной жизни. Оба участники гражданской войны: Ковпак воевал у Чапаева, гонялся за бандами Махно по степям Украины, а Руднев — тогда еще юноша — участвовал в штурме Зимнего дворца.

Мирные годы они провели по-разному. Ковпак работал на хозяйственных, советских и партийных должностях. Война застала его председателем Путивльского городского Совета. До этого он был начальником дорожного строительства, и в партизанские времена, в особенно удачные месяцы, когда начштаба Базыма приносил месячную сводку и Ковпак доходил до графы, где указывались погонные метры взорванных и сожженных шоссейных мостов, в штабе воцарялась комическая пауза, и Руднев провозглашал:

— Внимание! Товарищ директор Дорстроя производит баланс ремонтных работ. Ну как, Сидор, промфинплан выполнил?

— Выполнив, чорты його батькови в печинку, — говорил Ковпак и, нагибаясь над отчетом, ставил внизу свою подпись.

Руднев почти всю жизнь провел в армии. Начав с красноармейца почти мальчишкой, он уже в 1935 году был полковым комиссаром, много работал над своим образованием — общим и военным — и ко времени хасанских событий был уже культурным, высокообразованным кадровым командиром.

Военная выправка, подтянутость, требовательность к себе и подчиненным сочетались у него с задушевностью и знанием солдатской души, быта и нужд.

Впоследствии он работал у себя на родине, в Путивле, председателем совета Осоавиахима. Там они и встретились с Ковпаком.

В начале войны и предгорсовета Ковпак, и осоавиахимовец Руднев организовали, каждый в отдельности, партизанский отряд. Первые недели самосто-

ятельной борьбы показали им необходимость объединиться, и уже на второй месяц оккупации района отряды нашли друг друга. Руднев предложил слить их воедино.

— Ты, Сидор, командуй, а я, по старой памяти, буду комиссаром.

Начальник штаба отряда Руднева, народный учитель Базыма, стал у Ковпака начальником штаба. Он был памятью отряда, существовавшего уже второй год, и бережно хранил все даты боев и других важных событий.

Помню первое совещание командиров ковпаковского соединения, на котором мне пришлось присутствовать. Шел разбор боя в селе Пигаревке.

В этом бою партизаны разгромили батальон мадьяр, но сами понесли значительные потери. Раненых — около сорока человек, были и убитые.

— Сколько помню, никогда таких потерь не было, — виновато говорил мне Ковпак. Чувствовалось, как тяжела ему эта утрата.

Разбор начался с доклада начштаба, затем выступали отдельные командиры. Ковпак, не дожидаясь конца, взял слово. Это была не речь, не выступление, а какой-то особый разговор по душам, разговор страстный и сильный. Кто-то из командиров, анализируя неудачи, говорил о недочетах организации боя.

Ковпак перебил его:

— Недостатки — это наша кровь, трусость — это наша кровь, глупость — тоже кровь наша, товарищи... — Аудитория стихла. — Вот ты говоришь, в своих стреляли... Свои стреляли, это верно, ночью все может показаться... Но там совсем не тот недочет... А вот что ты тут нам очки втираешь? — обратился он к командиру конотопского отряда. — А ну, говори еще раз...

Командир встал и стал докладывать.

Ковпак слушал внимательно, а затем вскипел:

— От же не люблю брехни... Брехня мне — нож в сердце! — И, выстукивая рукой с покалеченными пальцами по столу, отчеканивал: — Каждый парти-

занин и партизанка знают, що мы за правду боремся. Я сам это слово каждому в отряде при приеме в мозги вколачиваю... И Сэмэн тоже... Приучать надо людей по правде жить, правду говорить, за правду бороться... А ты...

И снова стали говорить командиры.

Старик слушал внимательно, иногда бросал реплику.

И когда командир конотопцев взял слово и стал поправляться, Ковпак бурчал себе под нос:

— Бреши в одну стежку.

Разговор заканчивал Руднев. Это было, видимо, установившейся традицией. В отличие от Ковпака он никогда не говорил о явных отрицательных поступках или провинившихся людях. Он просто умалчивал о них, но так, что все видели и чувствовали презрение ко всему, что тянуло нас назад. Он давал понять, что это было для них чуждым... Но в хорошем стремлении люди тоже иногда делают ошибки. Вот это Руднев умел, как никто, подмечать, мягко и настойчиво, во-время остановить, выправить человека. Помню, именно на этом совещании он сказал:

— Есть люди отважные. Но у них изъян: они делают одолжение родине и товарищам своей храбростью и борьбой. Борьба с врагом — это твой долг перед родиной, а храбрость — долг перед твоей совестью. Мы не нищие, и нам не нужны подачки.

Крепко критиковал он безрассудство одного командира, который неправильно повел свой взвод, поставил людей под кинжальный огонь пулеметов, а затем, когда понял свою ошибку, бросился на пулемет и погиб.

— Что же сейчас критиковать, Семен Васильич, — заметил Базыма, — мертвых не подымешь..

— Неверно, — сказал комиссар задумчиво. — Неверно, Яков Григорьевич! Мертвым тоже не прощают ошибок.

— А почему, я вас спытаю? — подхватил, оживившись, Ковпак. — Вот я вам зараз скажу, почему. Чтоб живым не повадно было спотыкаться. Понял? То-то...

Жестокие слова, так мне тогда показалось, но потом я много раз убеждался, что они справедливы.

Вот какими были эти два человека, с которыми судьба свела меня — беспартийного интеллигента — в августе 1942 года. И сказать по правде, я не в обиде на свою судьбу.

А было это так. Приехав еще раз в отряд, поговорив с Рудневым и ближе познакомившись с ним, я сказал Ковпаку, подошедшему к нам:

— Ну, диду, принимайте меня в партизанскую академию.

Старик, прищурившись, посмотрел на меня и ответил:

— Дило твое, только смотри, не обижайся!

И помахал перед моим носом нагайкой. Руднев засмеялся и похлопал меня по плечу.

IX

В это время вернулась из разведывательного рейда группа автоматчиков под командованием Бережного, которая была подчинена мне. С этой группой, состоявшей из восемнадцати автоматчиков и двух радистов, мы и влились в отряд Ковпака, образовав тринадцатую роту.

Когда начальник штаба Базыма объявил мне мой номер, я подумал: «Ну, верно дело пойдет успешно, число «тринадцать» у меня везучее».

Через несколько дней Ковпак улетел в Москву, а вместе с ним и ряд других партизанских руководителей: Сабуров, Емлютин, Дука, Покровский... Они были первыми ласточками партизанской земли. Москва принимала их тепло, радостно.

Ковпак получил от Сталина боевое задание совершить новый рейд. Ковпак не раз рассказывал потом нам об этой встрече. Его рассказ, варьированный в интонациях, но всегда верный и точный, когда он передавал слова товарища Сталина, как бы раздви-

гал лес и переносил нас в невидимый нами кабинет в Кремле. Цепкая память старика схватила каждое слово, каждый жест и паузу товарища Сталина. А когда рассказчик доходил до сцены прощания, он говорил кому-нибудь из слушателей:

— А ну, дай руку!.. Так от, я уже до дверей подаюсь, про все с товарищем Сталиным поговорили, а он, понимаешь, из-за своего стола вышел и меня к себе подозвал. «Ну, будь здоров, Ковпак», — и пожелал всем успеха. Потом еще раз усмехнулся и меня, понимаешь, за руку взял... И громко так: «Партизанам и партизанкам — горячий привет». И так руку мне пожал, что я чуть не крикнул. Ох и крепкая рука, хлопцы, у товарища Сталина!

Помню, как блестели глаза у четырнадцатилетних партизан Семенистого и Володи Шишова, и у седобородого Коренева, словно не Ковпаку, а им крепко пожимал руку в Кремле товарищ Сталин.

В разведроте мне особенно приглянулся четырнадцатилетний мальчик, замечательно ловко ездивший верхом, с быстрыми, черными, как угольки, смышлеными глазами и твердым рассудительным голосом. Его в разведке звали только по имени и отчеству: «Михаил Кузьмич». Позже я узнал его фамилию: Семенистый. Он был родом из Путивльского района и в отряд пошел добровольцем. Отца у него не было, дядю повесили немцы. Он остался старшим в семье, мать считала его хозяином. Когда Ковпак проходил мимо их села, мальчик заявил матери, что он уходит в партизаны. Мать вначале отговаривала его, но партизаны задержались в этом районе, и через несколько дней мальчик все же собрался уходить. На рассвете он тайком выбрался из хаты. За околицей его догнала мать. Она бросилась к нему на шею, стала плакать и умолять не покидать ее с малыми детьми. Мальчик колебался, потом упрямо тряхнул головой и сказал:

— Нет, не уговаривайте меня, мама, я пойду.

Он осторожно высвободился из объятий матери, упавшей на придорожную траву, и пошел по до-

роге. Мать снова догнала его. Она начала упрекать сына:

— Родила выродка на свою голову, — причитала она. — Родную мать покидаешь, а я тебе еще новые сапоги справила, как старшему... Думала хозяином будешь.

Мальчик, удивленный, остановился. До этого он никогда не слыхал от матери слов упрека — они жили тихо, мирно.

— Ну, чего балухи вылупил? — скрывая под грубостью свое смущение, крикнула мать. — Как новые сапоги надел, так, думаешь, я посмотрю на тебя? Вот возьму хворостину, тогда сразу мать начнешь уважать.

Мальчик порывисто сел на дорогу, быстро снял сапоги, подержал в руках секунду, посмотрел на них и хлопнул ими об землю:

— Заберите свои сапоги, не нужны они мне. Прощайте! — и быстро пошел по дороге.

Мать растерянно смотрела ему вслед и испуганно лепетала:

— Мишенька, куда же ты? Да я только так, с досады. Ну, возьми сапоги, я не жалею для тебя. Раз так это нужно.

Но мальчик ушел... Пришел он к партизанам босиком, стал разведчиком, бойцом, лихим кавалеристом и прошел с Ковпаком всю Украину — от Путивля до Карпат.

Я видел потом эти сапоги, оставленные им дома. Мать бережно хранила их в сундуке, дожидаясь старшего сына с войны. Я сам в его годы был пастухом на селе и знаю, что значит для деревенского хлопца пара новых сапог.

После того как Руднев рассказал мне историю появления в отряде Семенистого, я тоже стал называть его: Михаил Кузьмич.

Первые дни моего пребывания в отряде совпали с подготовкой к рейду. Такого рейда еще не было в истории. Более сотни лет назад испанский полковник Риего, руководитель гверильясов — испанских партизан, — совершил два рейда по южной

Испании. Они продолжались каждый по нескольку дней и были протяженностью в 200—300 километров.

Рейд по тылам наполеоновской армии славного партизана отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова был больше — до 800 километров. Он проходил по лесной местности от Смоленщины до Гродно.

По сталинскому заданию, нам нужно было пройти по степям и дорогам из-под Орла к границам Западной Украины, форсировать Десну, Днепр, Припять и еще бесчисленное количество мелких рек, железных и шоссейных дорог; пройти от северо-восточной границы Украины до западной ее границы, то есть расстояние, равное этак Португалии, Испании и Италии вместе взятым.

Во время подготовки к рейду я добросовестно нес все обязанности ученика. Стояли замечательные дни осени 1942 года. Лес осыпал палатки партизан багрово-красными и яркожелтыми листьями. Прошли первые осенние дожди, вечера были теплые, а по утрам подмораживало. Долгие часы мы просиживали у огня. Руднев каждый вечер обходил костры, беседуя с бойцами, командирами. А мне тогда еще не совсем понятной была эта сложная механика жизни партизанского народа и его руководителей. Все было необычно и часто непонятно просто, как проста сама жизнь человеческая.

Здесь, у костров, без пафоса, без речей, иногда вскользь брошенным шутливым словом проводилась большая и настоящая подготовительная работа.

Ковпак наделял людей автоматными патронами, заботился о продовольствии, одежде. Этим же занимался и Руднев, но, кроме того, он, как какая-то грандиозная человеко-динамомашина, заряжал людей моральной и душевной энергией. Конкретных целей, маршрута мы не могли раскрывать из соображений конспирации, но каждый партизан знал, что боевое задание Ковпаку давал сам Сталин, и это воодушевляло людей, накаляло их энергией.

Во всех видах человеческой дисциплины — в партийной, армейской, государственной — есть некая

доля принуждения, в одной больше, в другой меньше, но она обязательно есть. Только в тылу врага, в партизанском отряде существует лишь один вид дисциплины — дисциплина, держащаяся на авторитете командира.

Осенний лагерь партизан гудел, как пчелиный улей: ковали лошадей кузнецы, чинили повозки, выбрасывая прогнившие части, подгоняли сбрую, грузили вещи, прилаживая ящичек к ящичку, обматывали тряпками каждую гайку на колесе. Дед Ковпак ходил между повозок, постукивал палкой по колесам, иногда тыкал ею в бок ездовому.

— Щоб було по-партизанскому, щоб ничего не стукнуло, не грюкнуло, а тильки щоб шелест пишов по Украини! — Затем, многозначительно подняв палец, спрашивал ездового: — Поняв? — и, одобрительно улыбнувшись, проходил дальше.

Ездовой, пожилой дядя с запорожскими усами, провожал взглядом старика и восхищенно говорил:

— Ну, и голова...

И когда часа через два, обойдя весь лагерь, Ковпак возвращался обратно, ездовой стоял у повозки, вытянувшись, и ел глазами командира.

— Ну, как?.. — спрашивал Ковпак мимоходом.

— Повозка — як ероплан... — отчеканивал обозник. — Не стучить, не брязчить, як пташка летить...

Ковпак, удовлетворенный, проходил к штабу.

Вечерами начинались песни. Ковпак, Руднев, Мирошниченко, Дед Мороз, Базыма и другие собирались возле штаба у костров, где на пнях были положены доски в виде скамеек. Самодеятельные вечера эти назывались «Хор бородачей». На них же не шутя были занумерованы и взяты на учет все партизанские бороды. Каждой был назначен город для бритья. Все города эти в то время находились в глубоком немецком тылу. Курочкин должен был брить бороду со взятием Харькова, Базыма — в Киеве, Дед Мороз — в Путивле. Я выбрал Берлин.

У костра, метрах в ста от нас, собирались разведчики. В разведке был парень с феноменальной па-

мятью, политрук Ковалев. Каждый вечер с семи-восьми часов начинал он тихим и ровным голосом, напамять, рассказывать нам почти слово в слово читанные им книги, и эти рассказы продолжались иногда до рассвета. Вначале это были фельетоны Шейнина с четвертой страницы «Известий», рассказы Чехова, пьесы неизвестных мне авторов.

Однажды вечером он начал рассказывать «Анну Каренину». Автоматчик Бережной и разведчик Горкунов, разинув рты, слушали равномерно журчавший голос. Ветер шумел в верхушках елей и ясеней, осыпались листья. Отчаянные смельчаки Илья Краснокутский, Князь, Намалеванный, Мудрый и Семенистый, затаив дыхание, в Брянских лесах переживали некогда пережитое персонажами графа Льва Николаевича Толстого.

На наши литературные вечера собирались наиболее экспансивные, молодые и деятельные представители партизан.

В особенности полюбила их третья рота.

Третья рота автоматчиков под командованием сержанта Карпенко заслуживает того, чтобы о ней рассказать. Сержант Карпенко с группой разведчиков в августе 1941 года отстал от своей воинской части, выполняя разведывательное задание. Карпенко был разведчиком бригады Родимцева, той самой, которая в Голосеевском лесу в сентябре 1941 года дала жестокий и решительный бой передовым немецким дивизиям эсэсовцев, прорвавшимся к Киеву. Эсэсовцы катили на мотоциклах, автомобилях и танкетках, думая с хода влететь на Крещатик. Но под Голосеевским лесом их встретили десантники Родимцева. Двое суток продолжался жестокий бой. Немцы лезли в психическую атаку. Атаки захлебывались, потом повторялись снова и снова, пока весь лес и предполье к нему не были почти сплошь устланы немецкими трупами.

В сентябре же 1941 года в районе Ворожбы и Конотопа, куда прорывались немецкие части, сержанты бригады Родимцева Карпенко и Цымбал с разведывательной группой в десять — пятнадцать человек,

далеко вклинившись в расположение противника, оказались отрезанными от своей части. Измученные бессонными ночами и стычками с ночными разъездами, они ушли в лес. Решили отдохнуть сутки, другие, а затем прорваться к своим. Похоже было, что фронт ушел далеко на восток и прорываться придется долго и упорно. Кой у кого из бойцов затряслись поджилки, и люди, маскируя безразличием свое волнение, изредка спрашивали Карпенко:

— Федя, а вдруг не пройдем, а вдруг немец все дороги занял? А впереди, брат, леса нет, — одни голые степи.

Федя помалкивал, обдумывая положение. От крестьян соседних сел он слыхал о том, что где-то здесь, недалеко, уже начали действовать партизаны. Короткие, как зарницы, перестрелки, вспыхивавшие изредка по ночам, подтверждали это. Немецкие связисты и квартирьеры, раньше поодиночке безбоязненно раскатывавшие глухими дорогами, сейчас торопились скорее проскочить узкие места и, проезжая группами, осторожно оглядывались по сторонам.

Несколько машин неожиданно подорвались на минах по дороге из Путивля в Конотоп, там, где только что прошла моторизованная дивизия немцев. Ясно было, что мины свежие, и кто-то рядом с Карпенко и Цымбалом, осторожно маскируясь и скрывая свое имя и местонахождение, бросает вызов врагу.

Карпенко заинтересовался этим, потому что он был опытным разведчиком, уже несколько раз ходил по ближним тылам немцев, наступавших тогда безрассудно в упоении первого успеха. Он видел возможность партизанской борьбы и сам подумывал о том, что могут сделать смелые люди в тылу врага. На вторые или третьи сутки пребывания в лесу бойцы Карпенко услыхали и от местных жителей странное имя: Ковпак. Одна из женщин доверительно сообщила, что Ковпак прошлой ночью заходил к ней, выпил кринку молока и расспрашивал про всякие колхозные дела. Больше ничего Карпенко от нее не добился. В другом месте он узнал о том, что немцы,

обозленные дерзкими набегами партизан, решили их уничтожить, и в этом деле у них нашлись помощники. Колхозники тонко намекнули бойцам Цымбала и Карпенко, чтобы они осторожно вели себя в лесу и в особенности не доверяли старику-леснику, который побывал в немецкой жандармерии в Путивле, получил от гестаповцев хорошую двухстволку и часто шлялся в жандармерию, якобы улаживая свои лесные дела.

Такой сосед был опасен для Карпенко в его положении. Ребята решили выследить старика, прибрать его к рукам, а если не удастся, то просто убрать с дороги. Все яснее становилось, что разведывательная командировка в тыл затягивается, и десантники, будто в шутку, все чаще стали называть себя партизанами.

Расположившись на привал на лесной поляне, недалеко от перекрестка лесных троп, Карпенко однажды увидел фигуру старика с клюкой, шедшего по тропе. Он был один и вел себя в лесу непринужденно и смело. Он походил на старого хищника, который идет по следу своей добычи. Старик иногда останавливался, рассматривал тропу, брал в руки ветви деревьев с тронутыми осенью листьями, разглядывал их, затем вытягивал голову вперед, как бы принюхиваясь к лесному воздуху, и шел дальше.

Карпенко следил за ним, молча прильнув к траве. Когда старик прошел мимо и спина его скрылась за деревьями, Карпенко, поднявшись, решительно сказал:

— Всем оставаться на месте. Цымбал и Намалеванный, — за мной.

Хлопцы поняли своего вожака сразу:

— Ишь, выслеживает, старый дьявол! Ухлопать его надо, товарищ командир, из-за него житья нам не будет.

— Сам знаю, — ответил Карпенко.

Он дал соседу свой автомат, вынул из кобуры пистолет и сунул его в карман. Еще раз сказав Цымбалу и Намалеванному «за мной», он быстро пошел по траве, догоняя старика. Сразу за поворотом они

увидели его спину. Старик медленно и задумчиво шел по тропе. Карпенко прибавил шагу и, догоняя лесника, опустил руку в карман, когда ему показалось, что тот слегка повернул голову и заметил его. Но лесник выпрямился и снова медленно пошел дальше, как бы ничего не замечая. «Хитер старый лис, ох, и хитер, — подумал про себя Карпенко и прибавил шагу, — но от меня теперь не уйдешь».

Они уже почти догнали старика и шли в ногу с ним, на расстоянии нескольких шагов. Пройдя еще немного, старик резко повернулся, остановился, в упор глядя на трех бойцов. Они подошли ближе — Карпенко прямо, Цымбал и Намалеванный — по бокам. Глаза старика смотрели спокойно, седенькая бородка не дрожала, только два пальца на правой руке, странно согнутые, изредка вздрагивали в непроизвольном движении [1].

— Ну, что вам, хлопцы, от меня надо? — спросил старик, стараясь усмехнуться. — Насели человеку на пятки, вроде я дивчина яка, — и он дружелюбно сделал шаг вперед.

Карпенко снова сунул руку в карман.

— Вот тебя-то нам и надо. — Он кивнул головой хлопцам, и они обступили старика. Старик посмотрел на них:

— Ага, окружение, значит. Выходит, мне и выхода от вас нет?

Карпенко вынул из кармана пистолет и сунул его под нос старику.

— Ну, вот что, долго нам с тобой тут разговаривать нечего, ты хвостом не крути, говори, что в лесу ищешь? Кого выслеживаешь по этим тропам, чего в лесу принюхиваешься в военное время?

Старик усмехнулся:

— Наше дело такое, лесное.

— Да что с ним долго разговаривать! — воскликн-

---

[1] Вся последующая сцена записана мной со слов партизан Карпенко, Цымбала и Намалеванного.

нул Цымбал. — Федя, дай ему девять грамм, и дело с концом.

— Шпиён, явный шпиён, — убедительно сказал Намалеванный, — давай кончать, Федя!

— Молчать! — крикнул на них Карпенко. — Не мешайте, допрос снимаю, не видите? Ну, говори, — он снова сунул пистолет ближе к носу старика.

— Ты эту штучку из-под носа моего убери, у меня тоже такая штучка имеется, — и старик вынул из кармана маленький пистолет. — А стрелять и не подумайте,—добавил он,—я вот свистну своим хлопцам, и от вас в случае чего мокрое место останется. — Затем, выйдя из себя, заорал на весь лес: — Отойди на три шага от меня, против кого пистолетом машешь? Я есть партизан гражданской войны. Я два егория от Брусилова получил, когда ты еще под столом ходил, сопляк!

Старик разволновался. Ребята с интересом смотрели на него, но из кольца не выпускали.

— Ты не психуй, папаша, а толком говори, — сказал Намалеванный, — чего тебе в лесу надо?

— Чего мне в лесу надо? — возмутился старик. — Здоров ты вырос, а у разумного твоего батьки был сын дурак. Ну, сам рассуди, чего людям в такое время в лесу может понадобиться. Кто я такой? — обратился он к Карпенко. — Вот я тебе сейчас скажу, кто я такой, — и он сунул ему под нос свою мухобойку. — Я есть командир партизанского отряда.

Ребята примирительно заговорили:

— Ну, так сразу бы и сказал, а мы думали... лесник тут один ходит, партизан выслеживает.

— Ишь ты, — тоже идя на перемирие, ответил старик. — Выходит, у вас тоже разведка действует?

— Постой, — спохватился Цымбал, — а где же, командир, партизаны твоего отряда? Ты чего все один ходишь?

Старик подумал, поковырял каблуком землю и задумчиво переспросил:

— Отряд?.. А вот вы и будете моим отрядом... партизанским, — добавил он.

Карпенко свистнул.

— Ну, ладно, дедок, пошли к ребятам, там разберемся. Командиром партизанским я тебя пока не признаю. Проверю, если ты не предатель, тогда живи, топчи землю, хрен с тобой.

— Командиром не признает! — ворчал себе под нос старик, идя за Карпенко. — Видал молокососа? Не признает! А если меня на это дело партия назначила, то что — тоже признавать не будешь, а?

— Ладно, ладно, не ворчи, разберемся, — говорил Цымбал, миролюбиво подталкивая старика коленкой.

Они подошли к расположившимся под деревьями бойцам и стали разбираться...

С командиром Путивльского партизанского отряда, председателем Путивльского городского Совета Сидором Артемьевичем Ковпаком получилась неприятная история. Отряд был организован до прихода немцев. В лесу заложены были базы. Но немцы пришли раньше, чем их ждали. Ковпак оставался в горсовете до последнего момента. Он организовывал партизанское подполье и ушел из города последним в тот момент, когда в центре города, где заботливым председателем был воздвигнут памятник Ленину, уже стояли немецкие танки. Командир отряда пришел в лес, но отряда там не оказалось. Много дней провел он в лесу один, стараясь найти кого-нибудь из своих партизан. Точного расположения баз он не знал, так как этим делом занимался старый партизан Коренев.

Карпенко и Цымбал не признавали пока его командиром, но, убедившись в опытности старика, поверили ему.

Через несколько дней к ним прибрел Коренев. Он оброс бородой, борода была белая, и молодые бойцы, жалея его, говорили:

— Ну, куда ему воевать, ведь он на елку годится: Дед Мороз да и только, — так это прозвище и осталось за Кореневым на все время.

Война застала Коренева в должности директора инкубатора. Тысячами выводил он цыплят, сотнями

распределял их по колхозам района, не думая о том, что так скоро придется бросить это мирное занятие.

Дед Мороз показал хлопцам место расположения баз, где находились бочки с ветчиной и вареньем. Понемногу хлопцы убедились в том, что Ковпак действительно командир партизанского отряда. Коренев ходил несколько ночей из села в село, и вскоре отряд был собран.

Их было двадцать восемь человек, вооруженных старыми винтовками. На человека — по тридцать патронов и несколько штук гранат. Бойцы Карпенко сначала держались обособленно, им была не по душе штатская публика. Но прошлое многих из партизан и рассказы некоторых из них о гражданской войне внушали доверие. Новоиспеченные партизаны стали по ночам ходить в разведку, выползали на дорогу, по которой сновали немецкие машины. Нужно было начинать действовать, но с чего начинать — никто толком не знал.

Тогда Карпенко вспомнил о нескольких подорванных машинах на дороге. Он рассказал об этом Ковпаку. Они стали искать виновника этих дел. И вот одна связистка, которая была бригадиром в местном колхозе и приходила к Ковпаку два раза в неделю, рассказала забавную историю.

В селе Шарповка прижился оставшийся в окружении парнишка. Недалеко от села оказалось минное поле, на него иногда забредали коровы колхозников и взлетали на воздух. Молодой боец, имени которого никто не знал, однажды после такого случая вышел в поле, оглядел его осторожно, понаблюдал, затем умело вынул мину, разрядил ее и оставил в сторонке. Мужики обрадовались и договорились с ним: за то, что он разминирует поле, обещали ему хлеб и одежду.

Скоро слух о «сапере» прошел по соседним селам, где тоже были минные поля. Сапер стал принимать подряды, установив норму: пять пудов хлеба за каждый разминированный участок.

Когда связистка рассказала об этом Ковпаку, он позвал к себе Карпенко. Они о чем-то пошептались,

а ночью нарядили разведчиков с задачей выкрасть из села сапера. На рассвете его привели в отряд. Молодой парнишка — на вид ему было лет восемнадцать, курносый, с наивными детскими глазами, любопытно оглядывался по сторонам, впервые видя заросших щетиной лесных людей. Ковпак предложил ему остаться в партизанах, на что парень весело ответил:

— А я, дедушка, раньше вашего партизаном стал. Я есть партизан-одиночка. Пять подорванных немецких машин на своей совести имею.

— Какой ты партизан? — сказал Ковпак. — Ты спекулянт! Ты с мужиков по пять пудов хлеба за минное поле берешь.

— Так это же днем, за то, что разминирую, а когда обратно минирую дорогу, я ж ничего не беру. А ведь за это и голову потерять можно. Это, брат, старичок, бесплатно... А ты говоришь — спекулянт.

Ковпак примирительно ответил:

— Ладно, ты не обижайся, я же тоже не обижаюсь. Вот ты говоришь, что раньше меня стал партизанить, а я, брат, еще с Чапаевым вместе воевал. Как ты думаешь, не обидно мне от такого сопляка, как ты, подобные слова слышать?

Паренек разинул рот от удивления.

— Ну, если с Чапаевым... — смущенно пробормотал он.

— Бери его под свою команду, Карпенко, — засмеялся Ковпак.

Группа Карпенко к этому времени выросла. В нее посылали всех военнослужащих, прибывших в отряд. Новых людей Карпенко шутя перекрещивал, давал им свои прозвища. Они обычно были так метки, что сразу «прирастали» к новичку, и только под этим партизанским прозвищем человека и знали в отряде.

Молодого паренька за его комбинации с минами сразу прозвали «Сапер-водичка». Так в отряде никто и не знал, как зовут курносого русского парня, первого минера-партизана Ковпака, а «Сапера-водичку»

знали на протяжении двух-трех лет тысячи партизан — партизаны Брянских лесов, Черниговщины, Полесья. С его легкой руки взлетали в воздух гитлеровские машины, танки, затем под откос стали сваливаться поезда. А паренек, шмыгая носом, выковыривал мины, стаскивал неразорвавшиеся снаряды, вытапливал из них взрывчатку и устанавливал мины на дорогах.

В третьей роте Карпенко было много колоритных фигур. Кроме «Сапера-водички», рота пестрела яркими прозвищами — «Мудрый», «Князь», «Намалеванный», «Ушлый», «Батько», «Шпингалет» и другие. Один Карпенко в роте был без прозвища, но никто не называл его ни по имени, ни по фамилии. Бойцы звали его просто Карпо. Авторитет этого командира был чрезвычайно велик и в роте и во всем отряде. После Ковпака и Руднева самый уважаемый партизан был командир третьей роты автоматчиков Карпенко.

Карпенко до войны работал трактористом. По пьяному делу один из его товарищей-трактористов в драке убил кого-то. Карпенко ходил в холостяках, а у товарища была жена и двое детей. Убийцу должны были судить, жена убивалась, плакала, а ее муж, в пьяном виде совершивший преступление, совсем упал духом и не знал, что делать. Как-то Карпенко долго говорил с этим трактористом на полевом стане. Потом пришел в суд и заявил судьям, что это он убил человека. Взяв вину товарища на себя, Карпенко добровольно пошел за него в тюрьму, получив десять лет. Он был в исправительном лагере. Через два года за образцовую работу на канале он был освобожден и в армию попал в авиадесантные части.

Таким был Карпенко, странный идеалист, возглавлявший третью роту людей без имен, но с отважными сердцами.

Вот они-то — Мудрый, Князь, Намалеванный, Батько, Шпингалет и другие — были постоянными посетителями нашего партизанского клуба, у костра разведроты, в эти памятные дни сентября 1942 года, когда мы готовились к Сталинскому рейду.

Опять прошли дожди. Дороги расквасились осенней слякотью. Ковпак задумал провести парад.

Сквозь лесную чащу, по бурелому, по колдобинам тащилась пехота, тянулись пушки, проходил обоз. Ковпак выкрикивал приветствия ротам. Тут же с «парадной трибуны» ругал за замеченные неисправности. Ясно было, что завтра — послезавтра мы двинемся в поход.

В эти же осенние дни 1942 года, когда я прибыл к Ковпаку в район Старой Гуты, к лагерю партизан пробилось тридцать шесть военнопленных, бежавших из Конотопа. Я прибыл к Ковпаку с севера, из-под Брянска, проехав весь Брянский партизанский край, они — из степных районов юго-запада.

Ковпак не заходил в глубь Брянских лесов, он расположился на самой южной кромке леса, проломив для этого блокаду партизанского края, который облепили две венгерские дивизии.

Тридцать шесть военнопленных, бежавших из лагеря, напали на след Ковпака еще в Сумской области, под Конотопом, но не успели его догнать и по следу пошли за ним в Брянские леса. Это был преимущественно командный состав, который в дальнейшей деятельности соединения Ковпака сыграл большую роль.

Группу возглавлял артиллерист Анисимов, высокий, стройный рыжий парень, с резким голосом, быстрыми движениями. Он организовал побег из концентрационных лагерей и без карт, без компаса провел своих товарищей через все рогатки немецкого тыла. Они встретились с разведчиками Ковпака в лесу под Конотопом. Группу разведчиков возглавлял Берсенев. Они столкнулись ночью лицом к лицу на дороге и приняли друг друга за противника. Дело кончилось несколькими выстрелами, никто не был ранен. Скоро найдя общий язык, они, предводительствуемые Берсеневым, пришли в Брянские леса.

Выделялся среди них высокий, широкоплечий грузин Давид Бакрадзе. Он был инженером, но в армии служил сержантом артиллерии.

Ковпак, вскоре получивший две полковые пушки, которые доставили ему самолетом с Большой земли, назначил командиром артиллерии майора Анисимова; Бакрадзе первое время был командиром орудия. Он ходил большими медленными шагами, и комиссар Руднев с восхищением смотрел на его широкие плечи, высокую грудную клетку и хлопал его по плечу:

— Ну, как, Давид, познакомился с немцами?

— Да, — отвечал Бакрадзе, — знакомство наше на всю жизнь отмечено, — и раскрывал рот, показывая челюсть, из которой с одной стороны были выбиты все зубы. — Стулом меня немец ударил по зубам.

— За что же? — спросил Руднев.

— Сам не знаю, плохо понимаю я по-ихнему, но, кажется, за то, что я земляк Сталина.

Люди, бежавшие из плена, хлебнувшие немецкой «культуры», были основным костяком партизанского отряда. Их охотно брали партизанские командиры, потому что человек, побывавший в немецком плену, второй раз живым в плен никогда не сдавался. Люди бились до последнего вздоха и до последнего патрона.

Для меня, еще новичка, все предстоящее было подернуто пеленой романтической неизвестности. Бывалый народ все чаще стал вспоминать прошлое и предвосхищать будущие дела, одним словом все с нетерпением ждали сигнала. Поскорее бы вырваться из леса.

X

Наконец мы двинулись. Перед заходом солнца построилась колонна: мы проходили мимо успевших уже сжиться с нами жителей села Старая Гута.

Двинулись на запад. Прошли леса, граничащие с селами, занятыми мадьярами, блокировавшими партизанский край; прошли «ничейную» землю, прошли через мост, который был заминирован мадьярами и разминирован нашими инженерами, и вышли к ху-

тору Веселому. Остановились в ожидании разведки. Сдвинулся обоз, народ на привале сбился в кучки, послышались тихие разговоры, сдержанный смех, затем быстрой тенью прошли обочиной дороги Ковпак и комиссар. Ковпак повертелся возле каждой роты.

— Противник в пятистах метрах слева. Прошу я вас, хлопцы, не шумить. Прошу я вас, хлопцы, его не беспокоить.

Опять двинулась колонна. Еще десять километров прошли в ночной темноте. Голова колонны уперлась в село. Я вошел в хату с разведчиками и склонился с Горкуновым над картой. Вскоре к нам зашел Руднев, веселый и радостный:

— Вот никогда не ожидал, крепко спят мадьяры...

Он подошел ко мне, взял обеими руками за плечи и сказал:

— Ну, академик, вот мы и вышли на оперативный простор. Теперь гуляй душа партизанская!

Вася Войцехович, помощник начальника штаба — «машинистка с усами», вид которого поразил меня впервые по прибытии в отряд Ковпака, — спал верхом, склонившись на шею лошади. Очевидно, Вася вырвался вперед, затем, ожидая командира, заснул: пока пройдет голова колонны до повозки командира, нужно было ждать полчаса. Его фигура выделялась на фоне неба, и мне на миг показалось, что это не 1942 год, не Орловщина. Так должны были выглядеть запорожцы, ворвавшиеся в Крымское царство, либо орды татар, совершающие свои набеги на Приднепровье. Тени Сагайдачного и Батыя вставали в степях Украины.

«Как можно спать в такую ночь?» — думал я.

Первая ночь рейда и несколько последующих были для меня временем сплошных открытий и удивления. Действительность оказалась гораздо проще, чем я ее себе представлял. На основании своего небольшого партизанского опыта в недвижимо стоящих отрядах Брянских лесов и по рассказам старых участников отряда Ковпака, я ожидал, что первые дни рейда

будут насыщены сплошными боями, проявлением массового героизма. На деле оказалось совсем не так: по ночам мы тихо и бесшумно продвигались, а на рассвете располагались на стоянку в лесу. Отдых изредка прерывался мелкими стычками наших застав с полицией или заблудившимися и напоровшимися на нас машинами, повозками или тыловыми немцами-одиночками. Все они исчезали бесследно, вероятно приводя этим в изумление немецкое начальство.

Ночные марши — сначала небольшие, для того чтобы втянулись люди и лошади, — сменяющиеся дневками, разнообразились лишь мелкими происшествиями из походной партизанской жизни.

В первую же ночь я с разведкой, которая должна была занять село, где находились полицейские посты, вырвался вперед в поисках хоть какого-нибудь боевого впечатления. Поста в селе не оказалось, но население жаловалось на издевательства старосты, поставленного немцами. Староста успел сбежать, но зато прекрасный буланый конь, которого я собственноручно вывел из конюшни немецкого служаки, разбив железные путы на его ногах, стал моим спутником в дальнейших походах.

Устраиваясь на стоянку между деревьями, под березой, которая в то время уже сбросила большую часть своих листьев, квартирьер, чтобы подчеркнуть комфортабельность стоянки, шутя выбирал нам «дом с вешалкой». На вешалку обычно вешался автомат, чтобы он не ржавел на сырой земле.

Наша тринадцатая рота на марше всегда ходила вместе с разведкой. На стоянках мы тоже располагались рядом.

Из равномерного ритма похода, — как будто мы шли не по вражескому тылу, а совершали физкультурный кросс, — нас вывело одно событие, из-за которого чрезмерно, как мне тогда показалось, разволновался комиссар Руднев.

На пятый или шестой день похода на одну из наших застав набрел немецкий обоз с новенькими,

блестящими на солнце, оцинкованными бочками, в которых торжествующая застава обнаружила чистый спирт.

Командир заставы с котелком в одной руке и кнутом в другой, погоняя лошадь, с гиком примчался в лагерь. Со всех сторон к бочке прибежали люди с котелками, кружками, черепками, касками, флягами. Бочку обступили, затем нашлись организаторы, которые установили очередь за спиртом. От каждой роты по два представителя.

Комиссара в это время не было. Люди загорланили частушки. Где-то в глубине леса послышалась автоматная очередь. Больше всего меня поразил автоматчик с красными, как огонь, волосами, по прозвищу «Мед». Он стоял, обнявши ствол березы, и плакал горькими слезами.

В это время приехал комиссар Семен Васильевич. Я увидел, что лицо его перекосилось, как будто кто-то нанес ему страшное оскорбление. Он вызвал дежурного, расспросил, в чем дело. Затем подбежал к осоловело улыбающемуся командиру заставы, «виновнику торжества», схватил его за воротник, притянул к себе и закричал, картавя от волнения сильнее обычного, задыхаясь от душившего его гнева:

— Расстрелять тебя мало за это, подлец!

Я еще не понимал смысла всего происходящего. Я знал, что Руднев не такой уж заядлый трезвенник, и была у него, очевидно, какая-то важная причина, заставившая его поступить так.

Он оттолкнул командира заставы, крикнув:

— Начальника штаба, командира части, помощников — ко мне!

Я тоже подошел к нему и заметил, что люди весьма встревожены происходившим.

В ближайших ротах, увидев, как подействовала всеобщая пьянка на комиссара, те, кто еще в силах были что-либо замечать, зашикали друг на друга. Шиканье это было похоже на звериный рык. Через минуту лес снова огласился хором голосов, свистом.

Заиграла гармошка, люди седлали лошадей, рыскали по лесу, размахивая нагайками, некоторые сцеплялись в драке. На этом фоне командование проводило срочное совещание.

Комиссар говорил:

— Из-за одного дурака сейчас придется менять всю тактику рейда. Ну разве сейчас их удержишь?.. — И вдруг он поднялся, посмотрел вокруг, на лагерь, не выдержал и неожиданно улыбнулся: — Это же дети, большие дети! Но сейчас они сорвались, и надо итти напролом. — Потом повернулся к Ковпаку и сказал, снова улыбнувшись: — А мы с тобой ведь думали дойти до Днепра без боя.

Затем они склонились над картами, обсуждали какие-то новые варианты, положение маршрута. Я отошел в сторону — детали меня в этот момент интересовали мало... Мне стало ясно то, о чем я смутно догадывался в последние дни. Это была вольница, порожденная опасностями и рискованными делами войны; здесь все понятия дисциплины, морали нужно решать по-другому, чем в армии или на гражданской работе. А как? Нужно было быть таким умным и знающим свою армию человеком, как Руднев, чтобы понимать, что командир заставы, привезший эти несколько бочонков спирта, мог сорвать не один бой, а весь рейд, который совершался по приказу Сталина.

Превратности партизанской судьбы, случайности, которыми полна всякая война, должны быть учитываемы партизанским командиром больше, чем где бы то ни было. Теперь я понимал, что первые спокойные дни рейда, так разочаровавшие меня, и были самой большой заслугой командования отряда. Настоящий партизанский командир не тот, кто всюду и бестолку лезет в бой, теряет силы, обрастает ранеными в самом начале рейда, по мелочам расстреливает боеприпасы и, по существу, никогда не доходит до поставленной перед ним цели, а тот, кто умеет ужом выползти из партизанского края, всегда и обязательно блокированного противником, пройти с наименьшим

количеством боев к цели, подойти к ней незаметно, внезапно и не с той стороны, с которой его может ожидать противник, и, подойдя, нанести удар.

Только кое-кто из «стариков» знал, что нужно пройти за Днепр, до которого оставалось не меньше трехсот километров, и дальше — далеко на запад.

Тогда я понял, что командир заставы — парень с обалдевшими глазами — по существу, чуть не сорвал Сталинский рейд.

Командиры совещались, совещались, а затем Ковпак сказал, обращаясь к комиссару:

— Сэмэн! А все равно мы их не вдержали б до Днипра. Рано чи пизно цего не мынувать. Напролом так напролом. А раз уж напролом, значит, треба це робыть с шумом, с триском и як можно быстрище, чтобы не дать нимцям насисты на нас.

Это говорил тот самый Ковпак, который всего несколько дней назад обходил повозки во время подготовки и предупреждал:

— Дывиться, хлопци, щоб ничего не триснуло, не брязнуло, щоб тильки шелест пишов по Украини.

«Оказывается, — подумал я, — наш «старик» умеет не только с «шелестом», но и с треском и громом ходить. Ну, что ж, посмотрим...»

И я понял, что скуке, которая начала одолевать меня, пришел конец.

XI

В эту ночь нам нужно было проходить мимо Кролевца, название которого носил один из наших отрядов.

Ковпак вдруг вызвал к себе командира батареи Анисимова и сказал ему:

— Ну, вот слухай! Теперь за тобой слово. Все жалуешься, что у тебя обоза богато, снаряды лишние возишь. Сегодня всей батареей встанешь заслоном на шляху, слева от Кролевца. И как колонна до середины дойдет и будет итти моя повозка, — я свист-

ну, и ты шестьдесят снарядов по Кролевцу ударишь, — и, хитро пощипывая бородку, добавил: — Имей в виду, мои разведчики будут по местечку шастать, шухер немцам робить будут, и куда попадут снаряды, я знать точно буду. Поняв?

Майор Анисимов козырнул и побежал к батарее подготовлять данные для стрельбы.

Не доходя километров десяти до Кролевца, колонна заблудилась. Кто-то из кролевецких партизан, претендовавший на знание местности, сбился с пути и вывел колонну на несколько километров в сторону. Ведший в ту ночь колонну Горкунов всыпал ему нагаек, от чего проводник уже окончательно запутался и сказал:

— Хоть стреляйте, братцы, а где я — зараз не знаю.

Я с разведчиками нащупал невдалеке одинокую хату-хуторок. Обрадовавшись, мы стали стаскивать с печи мужика. Он мялся, мычал что-то. В это время из-за печи вышла бойкая баба, внимательно слушавшая наши разговоры. Мы пробовали по карте ориентироваться в местности. Баба иронически улыбнулась и сказала:

— Мужик нехай дома сыдыть, а я, хлопци, понимаю, куды вам треба, и вас выведу.

— Откуда же вы понимаете, тетенька? — спросил я.

— Ну, сколько я вашего брата вывела, коли от немцев тикали, из окружения выходили!..

Я сердито сказал ей:

— Нам не в ту сторону, мамаша.

Она удивленно взглянула на меня и, улыбнувшись, спросила:

— Не в той бик, а в який же?

— На запад, — ответил кто-то из разведчиков.

— Це ж куда, мабуть, до Кролевца? — допытывалась она. — То я ту дорогу тоже знаю.

— Э-э, не знаешь, тетка, — засмеялся разведчик. — Нам подальше.

— А куда ж? — не унималась бойкая баба.

— Нам дорогу до Берлина надо, — сказал Черемушкин.

Ничуть не смутившись, женщина затараторила:

— Та я ж и кажу, дойдете до Климовцив, а потим завернете вправо, а там буде мист через Дисну, а як вийдете на мист, возьмете влево, а потим шляхом, шляхом, аж до Берлина.

Это было в октябре 1942 года. Поймите это, товарищи!

Мы взяли ее проводником. И она действительно мастерски вела нас по дорогам. Она шла впереди колонны и не видела, сколько народу движется за ней. Но когда проходила мимо заставы повозка Ковпака и послышался его свист, а затем беглым огнем ударила наша батарея по Кролевцу, она вдруг остановилась, посмотрела назад... Пушки били беглым огнем, снаряды рвались в центре города. В свете начинавшихся пожаров женщина увидела длинный хвост колонны, на километры растянувшейся по пересеченной местности, и вдруг опустилась на колени.

— Невже правда? — спросила она меня почему-то шопотом. — Невже фронт прийшов? И звидки ж ви взялися тут, соколики?..

К нам прискакал связной от Ковпака и сказал мне и Горкунову:

— Старик ругается, что колонна стала.

— Шагом марш! — скомандовал Горкунов.

Я поторапливал женщину:

— Веди, тетка, веди поскорее!

Она поднялась и быстро пошла вперед. Потом села верхом и все торопилась и расспрашивала нас. Я не отвечал на ее вопросы и, сидя на буланом, думал. В эту ночь я многое понял. Я понял смысл нашего похода. Он не только в том, что мы убьем сотню-другую фрицев, взорвем мосты, пустим под откос вражеские эшелоны, — смысл похода и в том, что мы вселяем надежду в сердца сотен тысяч советских людей, которые дни и ночи ждут и верят, что вернется Красная Армия и освободит их из неволи. Смысл и в том, чтобы поднять дух наших людей, убить страх

перед фрицами в душах тех, кто заколебался, убить страх перед силой гитлеровцев, перед их мощью. Какая уж тут сила и мощь, если по завоеванной ими земле движется тысячная колонна вооруженных людей и громит их гнезда из пушек.

Шестьдесят снарядов, выпущенных по местечку Кролевец, сыграли свою роль. Ковпак действительно был мастером партизанской борьбы, потому что он учитывал не только конкретные факты войны — бой, диверсию, но также и тот резонанс, который произведет эффектный бой в народе.

С этой ночи наш рейд до Днепра и за Днепр был похож на снежный ком, лавину, катящуюся с гор. Охватившая Кролевец паника, которую подняли рвавшиеся в городе снаряды, по проводам телефонов, по телеграфу покатилась дальше и дальше... Народная молва, усиливая страх обожравшихся трусливых тыловых немцев, гнала их с мест, и они взывали о помощи.

Народная молва превратила нас в прорвавшуюся армию. Нас, по слухам, оказалось уже тридцать и сорок тысяч, с нами шли танки, нас сопровождали самолеты. И толстым гаулейтерам не спалось по ночам, их трясла лихорадка, они срывались с места и мчались на автомашинах в Чернигов, в Киев. А Ковпак, который вначале шел с «шелестом», составлявший маршрут из расчета по пятнадцать — двадцать километров в ночь, теперь, подгоняя штабистов, гнал по шестьдесят километров, набирая темп рейда.

Своим движением мы окрыляли народ, пробуждали его к борьбе. Где-то по сторонам от нашего пути, следом, одновременно с нами, стихийно возникали партизанские группы. Некоторые, догнав, присоединялись к отряду, другие так и оставались неизвестными нам, но уже действовали там, где проходил Ковпак. Они поднимали народ, потому что Ковпак, осуществляя сталинское задание, делал то, «що народ хоче».

Когда наша разведка донесла нам рикошетом отраженные сведения о том, что где-то движется сорока-

тысячная армия с пушками, танками, самолетами, и я, не уловив смысла этого сообщения, доложил Ковпаку, он вдруг весело, по-ребячьи, захохотал и сказал:

— Та це ж — мы. Щоб я вмер, це — мы!

Я, смутившись, возразил:

— А где у нас танки, где самолеты, где пушки?

Старик хитро посмотрел на меня:

— Що ж с того, що их нема. Раз народ хоче, щоб воны булы, значит — воны есть.

XII

Эту часть рейда мы проходили с шумом и треском. Каждый день были бои и мелкие стычки. Чаще всего они велись на заставах, и в этих боях мне приходилось принимать лишь небольшое участие.

Партизанский бой в обороне редко бывает интересным. Суть его заключается в том, чтобы не допустить противника к месту расположения отряда, прикрыть обоз, штаб, раненых, затянуть бой до сумерек, не раскрыв перед противником расположения своих главных сил, количества огнестрельных средств. Их надо приберегать до решительного момента на тот случай, если противник сможет за один день сконцентрировать силы и создать обстановку, которая потребует введения в бой всех боевых ресурсов. Затянув же бой до вечера, надо оторваться от противника и уйти.

Интересным этот вид боя бывает лишь в том случае, если из обороны он переходит в наступление, затем в преследование противника и его уничтожение. Но в первые дни нашего рейда мне пришлось участвовать в одном из характерных партизанских боев, которые всегда бывают поразительны по результатам. Речь идст о засаде.

Отряд Ковпака в то время был уже чем-то вроде партизанской гвардии и заслуженно гордился своим званием.

Наша группа, называемая тринадцатой ротой, состояла из восемнадцати автоматчиков, капитана Бережного, меня и радистки Ани Маленькой. Все мы были в то время еще на положении кандидатов в партизаны. На нас скептически посматривали рядовые партизаны и командиры. Стоило на марше случиться в нашей роте какому-либо казусу — обломалось колесо или отбилась лошадь, завязнув где-то в болоте, — проезжавший мимо Ковпак качал укоризненно головой и, отъехав в сторону, говорил своим хлопцам не громко, но так, чтобы слышали и мы:

— Присылают тут всяких... одним словом — парашютисты...

И уже только для своих добавлял, очевидно какое-то сильное словцо, которое тонуло в гоготе уютно сидевших на повозках партизан.

На второй день после форсирования Десны нам пришлось держать заставу-засаду на магистральной дороге, ведущей в Сосницу на Черниговщине.

Наша рота, усиленная одной бронебойкой, заняла заставу на опушке леса, вдоль которой шла канава, заросшая кустами. Впереди себя мы заминировали мостик через канаву.

Метрах в пятидесяти расположился ротный обоз. Радистка закинула антенну на дерево, связалась с центром и передавала радиограмму. Я подошел к заставе. Ребята, утомленные беспрерывными походами, спали. Задремал и я.

Проснулся я от грохота и шума. Раздвинув ветки кустарника, увидел два больших грузовика и одну легковую машину. Они приближались к заминированному мостику.

— Автомашина! Немцы! — крикнул я.

Бойцы, протирая заспанные глаза, подхватили автоматы. В это время ударила бронебойка, находившаяся на левой стороне дороги... Легковая машина остановилась. По грузовым сразу застрочили восемнадцать автоматов. Но машины остановились далеко — огонь автоматов оказался мало прицельным.

У меня с собой был фотоаппарат. Держась кромки леса, я побежал вправо, откуда лучше были видны машины, с которых прыгали немцы.

Пробежав метров сорок, я увидел, что большая часть автоматчиков бежит за мной. Лес в этом месте кончился, и между ним и дорогой было несколько выкорчеванных пней. Мы бросились во фланг к машинам, но в это время ударил ручной пулемет. Расстояние между нами и машиной было не больше пятидесяти шагов. Семь или восемь автоматчиков, побежавших за мной, залегли в ямы от выкорчеванных пней, пригнув головы под очередью пулемета. Когда стрельба прервалась, мы сразу, как по команде, ударили по машинам. Немцев на них не было видно. Вначале мне показалось, что машины шли пустые, но, внимательно присмотревшись, я увидел, что в неглубокой канаве у грейдерной дороги копошилось и ползало что-то зеленое. Это были немцы, вернее, только зады немцев, прижавшихся к земле. Головы и верхняя часть туловища очень редко и то на секунду появлялись на горизонте, но зады, толстые эсэсовские зады не могла скрыть неглубокая канава грейдера.

Все, что было до этого, — и моя перебежка, и прыжок в канаву, — делалось в состоянии аффекта, и я плохо помню, как это делалось. Но зеленые толстые зады эсэсовцев рассмешили меня, и я крикнул:

— Хлопцы, бей их в ж...

И мы стали стрелять. Вдруг, очевидно под влиянием попаданий, отнюдь не смертельных, из канав стали показываться головы. Кое-кто из немцев, очевидно поняв, что канава не спасет, попытались делать перебежки.

Огонь с нашей стороны все усиливался. Ответного огня почти не было. Меня охватил какой-то приступ озорства. Я вытащил фотоаппарат, выполз из ямы и направил его на одного из фрицев, который метался по поляне. Сначала он бегал пригнувшись, потом, очевидно подбитый автоматной очередью в ногу, полз на руках, — все это я видел в визир ФЭДа. В это время сильный толчок сзади и удар по шее сбил меня с ног, и я упал на дно ямы. Я поднял-

ся и увидел Володю Лапина, который, тщательно целясь, выпустил длинную очередь по одной из автомашин. Затем он обернулся ко мне и сунул кулак под самый нос, бешено и виртуозно ругаясь.

Володя Лапин, молодой разведчик, перед самой войной кончивший школу, страстный любитель кино, узнав о моей работе и довоенной профессии, боготворил меня и разговаривал со мной с благоговейным уважением и чуть ли не шопотом.

Но тут он принялся отчаянно ругать меня и, наверное, избил бы, если бы в это время хлопцы не сорвались в атаку, добивая последних фрицев. За ними бросились и мы.

Как после рассказывал мне Володя, в тот момент, когда я хотел сфотографировать фрица, из-под машины, тщательно целясь, один из немцев навел на меня свой карабин. Он выстрелил через мгновение после того, как Володя Лапин сбил меня с ног на дно канавы.

Я узнал об этом только когда кончился бой, который навсегда закрепил нашу дружбу. С Володей Лапиным мы после этого провели десятки боев и прошли много тысяч километров.

...Вырвавшись вперед к машинам, возле которых, уже не отстреливаясь, лежали мертвые и раненые фрицы, я подбежал к легковой и крикнул, вернее, проревел шоферу, державшему руку на баранке, одну фразу из справочника-разговорника:

— Хальт! Хенде хох!

Шофер равнодушно сидел, не моргнув глазом.

Я крикнул еще раз. Володя Лапин подбежал и рванул дверцу. Шофер, качнув головой, склонился грудью на руль, а затем упал к моим ногам.

Оказывается, он был убит выстрелом из бронебойки (пуля угодила ему прямо в лоб) и остался сидеть за рулем.

Под машиной лежали убитые немцы, а между ними металась, оскалив на меня зубы, немецкая овчарка.

Народ наш дорвался до немцев, и тут меня снова

охватил боевой экстаз. В стороне от машины лежал тот самый фриц, которого я хотел сфотографировать. Сам не зная, зачем мне это нужно, я подбежал к нему, стащил с него сапоги и стал стаскивать амуницию. Одежда у немцев была новенькая, — очевидно, только перед выездом в экспедицию против партизан полученное обмундирование. Новые дождевые плащи с пелеринами, хорошие брюки голубого цвета, еще со складочками, новенькая форма с эсэсовскими петлицами, у каждого кобура с парабеллумом, ракетница и множество всяких побрякушек, которые так любят немцы.

Когда я заканчивал эту «операцию», я услышал, что немец хрипит. Очередь прошила ему грудь у самой шеи. Он хрипел, будто что-то хотел сказать.

Володя Лапин закончил подобную операцию гораздо быстрее и лучше меня. Из собранных документов мы узнали, что в этой группе немцев, состоявшей из тридцати двух человек, находились жандармы, вахмистр и капитан.

Легковая машина была исправна. С пулеметчиком Остроуховым, который умел управлять машиной, я вскочил в нее, он дал газ, и мы помчались. Не доезжая до своего обоза, я заметил крадущуюся за деревьями Аню Маленькую: она прилаживала автомат между раздвоенными стволами деревьев и целилась прямо в нас. Вот-вот грянет очередь. Единственное, что могло нас спасти, — громкая ругань, которую я во все горло прокричал этой нежной семнадцатилетней девочке. Это остановило ее пальцы на спусковом крючке. Затем мы повернули машину обратно и с размаху налетели на пень, разбив радиатор.

От заставы шли партизаны, размахивая трофейным оружием, ракетницами диковинного вида. Все кричали, галдели, смеялись... С другой стороны, от штаба, к нам подошел Базыма и спросил:

— Ну, как, хлопцы?

Мы рассказали ему.

— А что же такой короткий бой? Командир волнуется, — сказал Базыма.

На многих из нас было навешено только что захваченное в бою немецкое снаряжение и оружие.

Вернувшись в лагерь, я увидел, что все смотрят на нас с маленькой долей зависти.

Веселые возгласы из-под повозок, где устроились матерые ветераны, их одобрительные взгляды говорили о том, что кандидатский стаж наш кончился и мы приняты в действительные члены прославленной корпорации.

XIII

После памятной ночи под Кролевцем мы все больше и больше набирали темп движения на запад.

Проходя по районам, еще не тронутым войной, можно было часто менять лошадей, и марши становились все длиннее, насколько хватало долгих осенних ночей и сил у людей, да еще, пожалуй, характера у командира.

Осень 1942 года выдалась сухая, только заморозки вытягивали из земли влагу, а дневное солнце отогревало ее, и дороги покрывались неглубокой грязцой.

В несколько ночей мы прошли Черниговскую область с востока на запад.

После нашей засады у Десны гитлеровское начальство в Чернигове, очевидно, встревожилось и стало подтягивать силы, но темп нашего рейда был настолько стремительным, что мероприятия немцев, как правило, запаздывали. Разведка, которую мы вели не только вперед и по сторонам, но и назад по пройденному пути, докладывала, что большие разведывательные отряды противника и авангардные части, которыми он хотел нащупать нас, стремясь затем навязать нам бой с его крупными силами, приходили к местам нашей стоянки с опозданием на один-два дня.

Несколько дней прошло без боев, но впереди был ряд крупных препятствий. Отряд шел буйной массой веселых от удачи и веры в своих командиров бойцов, но штаб во главе с командиром и комиссаром был

очень насторожен и собран. Верхушка отряда — Ковпак, Руднев, Базыма, Войцехович, Горкунов — напоминала туго свернутую пружину, таящую в себе какую-то неиспользованную силу и готовую в нужный момент развернуться для удара.

На моих плечах в то время еще не было того тяжелого бремени ответственности, которое всегда присуще способным и честным командирам, понимающим свое дело.

Я спокойно, уверенно, а иногда и бесшабашно шел с товарищами в засаду со своим завоеванным трофейным чешским пулеметом, много снимал ФЭДом, записывал свои впечатления в блокнот и знакомился с народом. После засады с нами подружились лучшие бойцы знаменитой третьей роты. У нас на стоянках всегда «околачивались» Мудрый, Князь, Батько. Они делились с нами трофеями, которыми была богата походная жизнь.

Мудрый подружился с нами и все свободное время проводил у нас. Как только мы останавливались на дневку и, раскинув палатки, ложились отдыхать после ночного марша, в расположение нашей тринадцатой роты обязательно приходил Мудрый. Он был как бы офицером связи третьей роты Карпенко с нами.

Прозвище «Мудрый» дал этому молодому парню Карпенко, очевидно за его смекалку и за умение схватывать основное, а может быть, и за пристрастие анализировать все, что происходило вокруг. Мудрый не мог пройти мимо фактов и явлений жизни, чтобы не попытаться своим гибким и острым умом обобщить их и сделать из них какие-то свои выводы, часто очень оригинальные и стройные, иногда гиперболичные и ошибочные, но всегда остроумные и меткие. Истории его жизни я не знаю, фамилии тоже не помню, и только после его смерти в бою под Кодрой я узнал о том, что самый лихой автоматчик третьей роты, с которым мы просиживали часами на привалах во время Сталинского рейда Ковпака, Колька Мудрый был еврей.

Мудрый до самозабвения любил комиссара Руднева. Если комиссару нужно было что-нибудь, Мудрый стремительно бросался исполнять его просьбу или поручение. Вначале я не понимал причины этого, но однажды он рассказал мне, что был в Красной Армии в одной из дивизий Юго-Западного фронта. С дивизией, после неудачных боев в первые дни войны, он попал в окружение. Много скитался по немецким тылам, несколько раз попадал в лагерь военнопленных, бежал, снова попадал в плен, рискуя быть расстрелянным. Словом, немало хлебнул он горя в немецком тылу, прежде чем прибиться к Ковпаку.

Как-то, вспоминая первые дни войны, горькие дни поражений и отступлений, Мудрый, задумчиво пожевывая опавший багровый березовый лист, говорил, как бы не замечая меня. Казалось, что он разговаривает сам с собой.

— Вот, думаю, как это могло быть, что эти же самые люди, которые с Ковпаком воюют, — да как воюют — тогда задавали драпа? А всему виной командиры, которые пороху не нюхали! Ну, как ему можно довериться, коли он, сопляк, знает не больше моего. А я ему жизнь свою доверять должен. А жизнь моя, может, в Госплане на счетах запланирована и во все входящие-исходящие записана, занумерована, запечатана... Это же не шутка! Это ж не пальто отдать, а всетаки жизнь! А жизнь, товарищ подполковник, всего-навсего — одна...

И он, опираясь на ствол березы, задумчиво смотрел вдоль просеки, по которой сновали партизаны.

— Вот тут дело другое, — продолжал он. — Иду я, скажем, в бой, убьют меня там или не убьют, но я знаю, что сзади меня сидят дед Ковпак и комиссар, сидят и маракуют о моей жизни. О всех нас. Второй год мы партизаним, и ни разу не было, чтобы Ковпак с комиссаром промах в своих мыслях дали. Вот оно и понятно теперь, откуда у меня, у Кольки Мудрого, смелость берется...

Сухая осенняя погода сменилась дождями, и в один из таких дней, когда на стоянке в лесу мы

мокли под проливным дождем, радисты, работавшие в любую погоду, приняли приветственную телеграмму маршала Ворошилова.

У меня хранится фотография митинга, необычайного по своей обстановке. Где-то недалеко от Днепра, в лесу, под деревьями с размокшей от дождя корой, стоят сотни людей, закутавшихся в разнообразные плащ-палатки — мадьярские, румынские, немецкие, — бережно спрятав под палатки пулеметы и винтовки.

Ковпак произносит речь:

— Товарищи партизаны и партизанки! Маршал Ворошилов прислал мне радиограмму. Ось я вам зараз прочитаю.

Ковпак вынул очки, и, пока он надевал их, застыла в ожидании толпа партизан. Лил дождь, по усам стекала вода. Никто не замечал этого. Ковпак прочел приветствие маршала. Люди стояли не шелохнувшись.

— Мы вышли к Днепру, старому, седому Днепру. Но нам надо форсировать его. Товарищи! Я знаю, что вы устали. Двадцать бессонных ночей и двадцать дней боев как начался наш рейд. Знаю, что труден людыни такой подвиг. Знаю, что трудно раненым, нелегко и здоровым. Но згадайте, комсомольцы и коммунисты, колхозники и интеллигенция! Чкалов, колы летив через Северный полюс, тоже хотив спать. Та не заснув. Так невже заснемо мы? Каждый партизанин и партизанка должны знать, что свой подвиг они совершают во славу родины по приказу товарища Сталина.

Это было в канун 25-летия Великой Октябрьской революции.

Митинг состоялся накануне решительного прыжка вперед. Требовалось перерезать крупнейшую шоссейную и железную дороги, идущие из Киева через Чернигов — Гомель на Москву, с ходу подойти к Днепру и сразу же форсировать его.

К железной дороге мы подошли днем и под вечер вытянулись вперед. Тринадцатая рота оказалась на-

против переезда, но в это время справа от него, с полустанка, не обозначенного на карте, ударил пулемет. Нас было всего несколько человек. Мы с Володей Лапиным и еще несколькими автоматчиками, не имея на то никакого приказа, просто оценив выгодность своих позиций, ударили во фланг переезда и смяли находившихся там мадьяр. Лапин выскочил первым на железнодорожное полотно, где одиноко торчал брошенный станковый пулемет. Он повернул его, направил вдоль железнодорожного пути и выпустил по убегающим мадьярам всю ленту.

Мы ворвались на полустанок, заняли его и вышли, сокращая путь через болото, наперерез нашей колонне. Спускались сумерки. Через несколько километров начиналось шоссе.

Еще до занятия шоссе нашими заслонами, конноразведчики, во главе с братом комиссара Костей Рудневым, подбили немецкую легковую машину, слетевшую с высокой насыпи в болото. В машине ехали два офицера. Они сбежали в камыши. Шофер был взят в плен.

Колонна прошла по шоссе около двух километров, а затем, не доходя метров двадцати до большого моста, свернула влево. У самого моста стояли заслоны. Я был в заслоне, и когда больше половины колонны прошло, вдали показались огоньки грузовой машины. Она шла медленно. Мы подготовились и напряженно ждали ее. Мост был деревянный и, жалея тол, мы решили его сжечь, для чего разложили на мосту костер, но, когда увидели машину, костер разбросали. Все же шофер перед самым мостом замедлил ход, очевидно заметив огоньки, вспыхивавшие на мосту.

Ждать больше было нельзя. Я скомандовал:

— Огонь!

Когда я подбежал к машине, немцы были уже перебиты, а из машины партизаны волокли громадную бочку масла.

Мы уже стали поджигать машину, когда Володя

Лапин, тщательно исследовавший кузов, вдруг закричал:

— Хенде хох!

Послышалось щелканье затвора, и из-под машины показался наш бравый автоматчик, подталкивающий впереди себя немца. Его хотели прикончить, но я воспротивился этому и оттащил немца в сторону, чтобы допросить, использовав в качестве «языка».

При свете горевшей машины я увидел испуганные голубые глаза и мальчишески круглое лицо. Поднятые руки его дрожали. На мои упорные вопросы по-немецки он не отвечал. Он силился, но не мог вымолвить ни слова, так как у него стучали зубы и не слушался язык. Я был зол на себя за то, что мог проговорить ему только несколько стандартных фраз на немецком языке, которые заучил по вопроснику. Злость моя усиливалась.

— Вохин? — тыча пальцем ему в грудь, указывая вдоль дороги, спрашивал я у немца.

— Не умию я по-нимецькому... — наконец выдавил он из себя.

Партизаны загоготали. Я усадил пленного к себе на повозку и, догоняя колонну, стал допрашивать. Вот что рассказал он мне. Родился в украинском селе недалеко от Львова. Брат перед войной кончал военную школу в Одессе. Его самого немцы угнали на работу в Германию, а по дороге партию из двухсот украинцев одели в немецкие шинели и назвали немецким батальоном. Батальон этот за два дня до случая на шоссе спешно перебросили под Чернигов, из Киева он прошел по нашим следам больше ста километров, нигде не обнаруживая нас.

Наутро мы подошли к левому берегу Днепра, вблизи местечка Лоев, расположенного в устье реки Сож, впадающей в Днепр. Ночью нужно было перебросить несколько рот для захвата Лоева с тыла, но, когда партизаны подошли к городишку, оказалось, что разведчики уже хозяйничают в городе. Во главе с Черемушкиным, которому была поставлена задача только разведать противника, они

перебили весь лоевский гарнизон, состоявший из нескольких десятков полицейских.

Моста через Днепр в этих местах нигде не было. Переправу пришлось организовать на паромах и лодках.

Сюда же подошло соединение Сабурова, шедшее параллельным с нами маршрутом. Часть людей уже была на другом берегу, повозки переправлялись на паромах и лодках. Лошадей переправляли вплавь, а затем гнали по полю вскачь, боясь, чтобы они не простудились после купанья в холодной воде.

Во второй половине дня на окраинах города начался бой. Из Мозыря и Речицы противник подбросил войска, две бронемашины и несколько грузовых машин с пехотой. Они пытались выбить нас из Лоева. Наши роты, которые стояли там, — небольшой заслон на окраине города, — с трудом выдерживали их натиск. Ковпак приказал тринадцатой роте выдвинуться на помощь Сабурову. Бой был кратким и сильным. Бронемашины мы сразу подбили из бронебоек и пулеметов. Немцы бросились наутек, но мало кто из них ушел живым. Это было в ноябре 1942 года. Седьмого и восьмого ноября мы стояли в Лоеве и праздновали XXV годовщину Октябрьской революции. Вечером мы вспомнили о нашем пленном. Ковпак вызвал его, вытащил из кармана блокнот и начал допрос. Но так ничего и не успел записать — грянула гармонь. Дед Мороз, любитель танцев, пошел плясать казачка, за ним выскочил Ковпак и на ходу кинул мне:

— Разберись с ним, как знаешь... — и пустился в пляс.

Деды танцовали несколько минут. Потом стали беседовать. Баян все убыстрял темп украинского гопака. И вдруг мой пленный, важно подбоченившись, ударил гопачка, да так ловко пошел вприсядку, что я пожалел, что он пленный.

Я зашел в тринадцатую роту. Там тоже шло праздничное веселье. Бережной, изрядно выпивший, упорно твердил мне: раз пленного зовут Ярослав,

значит он обязательно поляк, а раз поляк, значит брат-славянин. И полез с ним целоваться. Пленный отвечал на все вопросы типичным языком Ивана Франко. Я подумал, подумал и решил: «Живи, чорт с тобой!..»

Этот Ярослав страшно напоминал мне теленка, пяти-, шестидневного теленка, который стоит, широко расставив ноги; они еще подрагивают от непривычки ходить, но иногда у него появляется желание брыкнуть ими, задравши хвост. И, уставившись в тебя глупыми глазами, теленок тычется мордой в колени и лижет их. Мы поручили Ярославу уход за лошадьми нашей радистки Ани Маленькой, и в этой должности он пробыл больше года.

Последние роты и батальоны пробивались уже по «салу», сковавшему воды Днепра. Мороз начал крепчать, и, задержись мы здесь два-три лишних дня, пришлось бы нам туго на переправе. Немцы этот момент тоже прозевали. Вот записи из моего дневника.

«*10.XI*. Пробыли два дня в Лоеве. Сегодня двинулись в леса. Немцы, наконец, направили против нас свою технику, летели пятью самолетами и разбомбили в пух и прах мельницу, помольцев и дом полицейского. Есть жертвы среди местного населения.

11.XI. Первая крупная стычка с полицией в селе Новый Барсук. Результаты: взяли две машины и вымели полицию, как метлой, на полсотни километров. Взяли четырех врачей. Дед сидит и вычисляет, сколько лет потребуется для достижения довоенного уровня состояния крупного рогатого скота, овец и свиней. Имеет самые точные сведения по курам и гусям.

Вспоминается первая встреча с Ковпаком: «Хороший урожай на Украине, а придется жечь, взрывать, пускать под откос поезда, чтобы не досталось врагу».

И печаль, жесткая печаль большого, мудрого, видавшего виды человека, пробежала по лицу.

И еще: «Заняли Путивль несколькими конниками, а там на площади я сам Ленину памятник поставил, а вокруг бульвар и садик посадил. Памятник разру-

шили, садик вырубили, сволочи!..» — и скрипнул некрепкими старческими зубами.

Недаром, когда проходили Ямполь, а затем Путивль, по врагу, засевшему в Кролевце, дали беглым огнем шестьдесят снарядов. Это была потеха, но в то же время и демонстрация уверенности и силы. И воевали уверенно, как могут воевать лишь сильные духом и правотой своего дела люди.

12.XI. Отдыхали, мылись и потрошили полицию.

16.XI. Две ночи подряд на операции. Взорвали завод, вывели из строя железнодорожную станцию. Мост взять не удалось. Его защищали крупные вражеские силы. Учусь в партизанской академии я неплохо. В бою пока везет, жаль, если жизнь оборвется раньше нашей победы, а она будет, это знают и наши враги.

В селе Избынь бабка, провожая нас, сказала: «Помогай вам бог победить». Многие так говорят. Население за нас, народ с нами, мы должны, мы обязаны победить!

18.XI. Сегодня форсировали Припять. Третья река по счету в этом походе. Все зависит от того, кто держит в своих руках инициативу. В партизанской войне инициатива всегда в наших руках. Противник не знает и не может знать, куда мы пойдем, где ему нас ждать, не знает до тех пор по крайней мере, пока не завелись предатели. Сегодня, кажется, он пытался их нам подбросить. Надо разобраться. Ночью снова долго беседовал с мудрым стариком Ковпаком. Светлая, умная голова.

19.XI. Позади Припять. Ночь не спал. Люди из Мозыря, люди из Курска, люди нашей родины! Сколько их проникает через фронт в стан врага, и делают они свое незаметное, но опасное для немцев дело. Медленно, но верно подтачивают они его военную машину, и настанет день, — враг упадет, захрипит и забьется в предсмертной конвульсии. Советские разведчики — имя им. Но пусть помолчит пока бумага, пусть помолчит. Будем помнить лишь эту ночь, тихую, морозную и таинственную, освещен-

ную багрянцем пожаров, и тихие звуки замерзающей Припяти. Мы поэтому не спим ночами и ждем, чтобы вскрылись воды Днепра и Припяти и смыли с берегов последние следы немецкой падали. Весна придет, наша весна.

Предвестники нашей весны след в след за Ковпаком и Рудневым протаптывают партизанские тропы по первому снегу Полесья.

Нина, милый семнадцатилетний автоматчик, и Аня, дорогая незнакомая мне москвичка, Аня, погибшая в бою на станции Демехи. Погиб светлый человек, смертью своей бросивший вызов врагу и своей преждевременной гибелью доказавший бессмертие нашего дела. Не знал, не видел я ее живой, но предсмертный возглас, вырвавшийся из ее груди, не забуду никогда. Много ночей впереди, боевых и мирных ночей, и, может, каждую такую ночь под звездами будет звучать «А-а-х...» и мягкое падение тела на мерзлую землю. А вечером выпал первый снег, он покрыл саваном землю и тело девушки, отдавшей свою жизнь за родину. И автоматчица Нина, смелая и озорная, всегда с засунутыми по-мальчишески глубоко в карманы руками, воюющая так же по-мальчишески озорно. Когда ей не дали автомат, она заревела и выплакала-таки себе оружие. Сегодня разговорились на ходу в колонне. Отец погиб в плену в Хуторе Михайловском: его сожгли немцы, а дочь пошла мстить за отца. Училась при немцах в школе. Дважды вызывали в полицию и жандармерию. Усатый бош с глазами барана через переводчика объяснял ей прелести кухонной перспективы, обещанной ей фюрером, а девушка, придя к партизанам, выплакала себе автомат и пошла в бой. Трудно в семнадцать лет убивать людей... Глаза первого немца, убитого собственной рукой, снились ей две недели. Но надо убивать врагов, и она это делает.

Слава вам, наши девчата!

21. XI. Буйновичи. Ночь. Горит жандармское гнездо. Три дома, дзоты, весь их муравейник обнесен колючей проволокой. Вот он — символ нового поряд-

ка в Европе. А вокруг пожарища, поджав хвост, бегает ученый пес — немецкая овчарка. Жалобно смотрит умными глазами и не понимает: ее учили гоняться за этими людьми с русским запахом, учили преследовать их, слушаться господ в голубых шинелях. И вдруг господа «голубые шинели» бежали без оглядки и даже забыли своего верного пса. А русский запах ворвался в крепость, поджег дома, разметал проволоку, доты и хозяйничает всюду. Ничего не понимает бедняга своим песьим умом. Сколько впереди еще таких недоуменных, вопрошающих собачьих глаз! Не один предатель родины в Белоруссии и на Украине, во Франции и Норвегии завоет от удивления, увидев нас с новенькими автоматами, когда мы будем рушить и ломать устои «нового порядка».

Хлеб, зерно — вот что берегла жандармерия. Жрать, жрать — и властвовать во всем мире — вот за что борются твои «голубые шинели», бедная немецкая овчарка. А ты думала о верности и дружбе!

А хлеб в два-три часа с нашего разрешения был разобран населением.

XIV

Еще во время стоянки в Брянских лесах возле «партизанской столицы» Ковпака — Старой Гуты, я познакомился с семейным бытом этого своеобразного отряда.

Привлекало внимание большое количество детворы в лагере. Как-то не вязалось это с легендами о непобедимости отряда и с вещественными доказательствами о боях. Трофейные немецкие и мадьярские минометы, пулеметы и автоматы, румынские баклажки и плащ-палатки, сигары и браслетки с часами, раненые бойцы с окровавленными повязками, и вдруг — дети: сосущие, ползающие, шныряющие и гарцующие на конях...

В дни моего прибытия в отряд началась эвакуация партизанских семей на Большую землю. Первая эвакуация. До этого большинство из этих потомственных

партизан провели в отряде более полугода. А некоторые и родились в нем. Позже я узнал их судьбы.

А понял только в рейде.

Осенью — зимой 1941 года партизаны Ковпака шли в отряд без семей. Кто был в состоянии эвакуировать своих родных, — зная, на что он идет, — сразу сделал это. Но у большинства партизан родные оставались в оккупированных селах.

Первые активные действия отряда всполошили гитлеровцев. Стала работать немецкая контрразведка. Бесилось гестапо. И если вначале еще удавалось скрыть от врага наиболее активных участников отряда, его командиров, то уже зимой 1941—1942 года они стали ему известны. Отряд беспрерывно рейдировал. На стоянки становились в селах и скрываться от населения уже не было смысла. Наоборот. Отряд окреп, окрепли его связи с народом. Но в семье не без урода. Подчас найдется человек болтливый, а то и злой. Бывало, что имена партизан пытками, угрозами, хитростью выуживались врагом. Особенно подличали и старались полицаи.

Немало невинных жен партизанских, отцов и матерей погибли в эти дни на виселицах, в оврагах, в тюрьмах. Ох, как мстили врагу за свои семьи партизаны. Как мстили! Борьба ожесточала их. Они первые бросались в атаку и последними уходили из боя. По настоянию партизан, у которых погибли родные, были взяты в отряд семьи, еще не захваченные врагом. В их числе и семья комиссара Руднева: жена — Доминикия Даниловна, и девятилетний сынишка — Юрка. Старший, Радий, — или Радик, как его звали в отряде, — ушел в партизаны вместе с отцом. Радика знали и любили все в отряде, но особенная, трогательная и суровая, простая и нежная дружба была у него с Ковпаком.

Немцы должны были в эту ночь схватить его мать и братишку. Семнадцатилетний Радик с двумя друзьями-разведчиками проскочил через вражеские пикеты и вывез их в отряд.

С завистью смотрел Юрка на брата в ту зимнюю ночь.

Радик на рысях гнал по полю санки. Дулом назад глядел самый настоящий пулемет. Пулеметчик просил сесть на его широко расставленные ноги, чтобы не выпасть из саней. Сани скользили тихо, лишь фыркали кони. В окрестных деревнях в небо взлетали ракеты, да изредка прорезали поле трассы пулеметных очередей. После трассы проходило несколько секунд и затем доносилось татаканье пулемета. Юрка считал. Он знал: каждый счет до четырех означает километр расстояния. Радик вез быстро и ловко. Счет был восемь, шесть и ни разу не было меньше четырех... Юрка, важно усевшись верхом на сапог пулеметчика, ободрял мать.

— Проскочим. Как пить дать — проскочим!

И они проскочили.

Так Юрка прибыл в отряд уже обстрелянным партизаном. В одном не повезло. Его отец — Семен Васильевич, комиссар грозного Ковпака — лежал раненый. Рана была опасной. Мать не отходила от отца. Вместе с нею сидел и черномазый Юрка, не сводя смышленых маслинок с черноусого лица, забинтованного марлей. Иногда отец брал в руки карандаш и что-то быстро писал-писал. Нет, разобрать косой неровный почерк, да еще так быстро, Юрке было не под силу. Вот тогда-то он дал клятву, пионерскую нерушимую учиться только на отлично. А сейчас нужно было по громким ответам матери понимать смысл их разговора. Однажды мать прочла записку и передала ее Юрке.

— Это тебе.

— Мне?..

— Тебе. Ну, бери же...

Юрка схватил бумажку и прочел, волнуясь, по складам:

«Расскажи, как ты стал партизаном».

«Партизаном? Значит, он и на самом деле партизан?» А почему бы и нет... Ведь проскочили они тогда под пулеметным огнем. И он, Юрка, даже сидел на ноге у пулеметчика, чтобы он не упал... Правда, стрелять из пулемета не пришлось... Но ведь могло быть так... что и пришлось бы... Ясно — могло быть!..

И вдруг пулеметчика убивают. Тогда за пулемет ложится Юрка и ведет огонь по фрицам... Нет, он еще не знал тогда пулемета... Пускай лучше — пулеметчика ранило... И он закрыл ему рану своей шапкой, пока мама...

— Чего же ты молчишь? Отец спрашивает... — шепнула мать.

Юрка даже вздрогнул от ее шопота, затем стал рассказывать... Из-под забинтованной головы на него поблескивали черные глаза... Они иногда веселели. И Руднев делал движение, сдерживая смех, и сразу хватался рукой за простреленную шею...

— Ну, хватит, Юрка, хватит. Разошелся, — прервала недовольно мать. — Отцу больно...

Рука комиссара опустилась на черную головку сына...

Затем он взял карандаш.

«Кем хочешь быть?» — прочел Юрка. И, не задумываясь, звонко ответил:

— Хочу быть комиссаром!

Отец закашлялся. Мать зашикала и выставила девятилетнего «комиссара» за дверь. Но на этом дело не кончилось. Юрка не забывал этого дня...

Радик и Юрик были большие друзья. Но все же девять лет возраста разделяли их. Старший — бывалый вояка, подрывник-диверсант, участвовавший во многих делах разведчик, а меньший всего только — пионер.

Вскоре наступила весна. Рейдирующий отряд Ковпака остановился на дневку в лесу. В семьях партизан было до трех десятков мальчиков такого же возраста. Из них и был организован новый «отряд». Вначале ребята несмело играли в партизаны. Затем начитанный Радик рассказал Юрке о лозунге Макаренко в колонии: «Не пищать». А пищать до этого ребятишкам приходилось часто... Обоз бомбили немецкие самолеты. Во время боев они хотя и отводились «в тыл» — в густой лес или надежно обороняемое село, но все же шальные пули, мины и снаряды от мадьярских автоматических мелкокалиберных пушек-«шпокалок» зале-

тали частенько. Ребята залезали под повозки и, уткнувшись в материны подолы, ревели со страху. После организации юркиного партизанского отряда во время боев категорически запрещалось плакать. За редкие исключения виновный наказывался «грушами», «орехами», «сливами», а то и изгонялся из отряда.

Научившись не пищать, ребятишки приобрели воинственный вид. В свободное от боев и маршей время «отряд» проводил всяческие боевые упражнения, с каждым разом все более сложные и шумные. С громким «ура» ходили в атаку на подорванный в Спащанском лесу немецкий танк, забирали в плен заблудившуюся в лесу бабу вместе с коровой, а однажды приволокли неразорвавшийся немецкий снаряд и стали в нем ковыряться. Только случайно проходивший мимо сапер Водичка спас ребят от неминуемой смерти или увечья.

С юркиным отрядом не было сладу. Отцы виновато качали головой, когда Ковпак, обижаясь на шум, приказывал им приструнить ребят. Коллективная дисциплина отряда была, видимо, сильнее их отцовской. А «комиссар» выдумывал все новые и новые военные похождения. В этом исподтишка помогал ему Радик и разведчики Хапка, Черемушкин, Усач. Со скуки на стоянках они были непрочь позабавиться и науськать ребятишек на мелкие проказы.

Пришлось за это дело взяться самому Ковпаку. Он как-то вызвал через связного Юрку. Вместе с сыном пришла обеспокоенная мать.

— Что-нибудь опять натворил, Сидор Артемьевич?

— Ничего не натворыв. Я его одного вызывал, Доминикия Даниловна.

Руднева, удивленно пожав плечами, отошла в сторону.

— Почему не рапортуешь?

Юрка, склонив голову набок, недоверчиво заглянул под нахмуренные брови Ковпака. «Разыгрывает или серьезно»... Глаза под бровями не смеялись... Храбрость Юрки мигом исчезла, и он едва слышно пролепетал:

— Явился по вашему приказанию, товарищ командир.

— Так... Не бойкий комиссар... А ну, еще раз по всей форме...

Юрка откашлялся и гаркнул во все горло.

— Теперь подходяще... Ну, що. Доложи про свой отряд...

— А чего докладывать?

— Как воюете? Какие с вас партизаны?

Мальчишка молчал...

Откуда-то узнав о происходящем, из-за кустов выглядывали юркины «партизаны».

Ковпак, делая вид, что не замечает их, начал учить «комиссара».

— Ты что думаешь, партизаны одним шумом против немца воюют. Ага?.. Совсем даже наоборот. Если б по-такому ваши батьки воевали, уже давно тю-тю — отряд немцы разбили бы.

Тут уже Юрка не вытерпел.

— Не разобьет он отряд никогда, не разобьет...

— А ты помолчи. Почему не разобьет? А потому что правильная тактика. Тихо и осторожно к нему подходим, а вже потом бьем крепко... Поняв?

— Ага...

— Щоб настоящим партизаном быть... Это, брат, по-первах научиться надо молчать. Это тебе первая тактика. Затем тихо сидеть, глазом не моргнуть, носом не шморгнуть — это будет вторая... А там еще третья... Ну, то вже в следующий раз обучу.

В кустах не выдержали.

— Расскажите вже все три сразу...

— Сидор Артемович, расскажите...

— Мы сразу выучим...

Ковпак, нахмурившись, смотрел то на малышей, то на «комиссара».

Юрка молчал.

— От бачите... Первую тактику только он один и знает, а вы... — що? А если б немец?.. Сразу б из автомата!..

Юрка подал знак, и хлопцы замолчали, широко

вытаращив глаза и прижимая ладошками рот, чтоб не вылетело неосторожное слово. Ковпак еще долго говорил, объясняя им преимущества молчания и тишины в партизанской боевой практике...

Хлопцы упорно не отзывались на ковпаковское «поняв?»

Он хмыкнул себе под нос и долго, с выдержкой скручивал цыгарку. Закурил. С чувством затянулся и блаженно закрыл глаза...

— Так... Ну, на первый раз эти дела вы поняли. Теперь будем объяснять третью... Значит так... Самый сильный, самый лютый зверь на свете — это кто?

Ребятишки упорно молчали...

— Ну, говорите. Вже можно... Кто самый сильный зверь?..

— Вовк, мабуть, — неуверенно произнес Мишка, сын ездового девятой роты.

— Ну да, вовк. А ведмедь?

— Той посильнее.

— Може, ежак?..

— Не, той колючий. А силы в нем меньше, как у кота...

На этом познания о зверях были исчерпаны.

Ковпак смаковал цыгарку.

— Так. Не знаете? Ну, я скажу. — Опять помолчал. Ребята впились глазами в его беззубый рот. — Самый сильный на свете зверь — это, пожалуй, тигра будет...

Ребятишки выдохнули сразу. Юрка, забыв о своем командирском достоинстве, не удержался, чтобы не прихвастнуть.

— Я видел тигра в зверинце... Как большу-у-щий кот...

— А ходит как? — спросил Ковпак.

— Ходит тихо...

— То-то... Сила у него громадная, а ходит тихо... по земле в траве ползет и не услышишь... Лапы у него мягкие... Вот это и будет вам третья партизанська тактика... Чуешь, комиссар? Научить свое войско тихо

«Что скажет сын, единственная утеха и радость, если батько-чапаевец уйдет на восток?!» — Нет, понимала старая Ковпачиха, что не место ее Сидору среди «екуированных». Поэтому и прощание было как будто сухим, скупым и черствым.

«Совсем не так, як тая Ярославна, — подумал про себя Ковпак и усмехнулся. — Мужицька кров, не княжеська». И уже спокойно надел червяка на крючок и закинул удочку. Клев был хороший, и, вытаскивая барахтающихся белесых рыбешек, дед отвлекся от мыслей о пропавшей, неизвестно где, в омуте немецкої оккупации жинке... Не знал, где сейчас воюет приемный сынок Петро... Но наверняка знал, что воюет.

От этих мыслей его отвлек шорох в кустах. Поправив котелок с уловом и нащупав в кармане пистолет, Ковпак, закидывая удочку, быстро взглянул в сторону кустов и усмехнулся. Окружая его со всех сторон, ползли стройной цепью «партизаны» юркиного отряда. От натуги у многих из них поблескивало под носами, но, боясь выдать себя, они даже не шмыгали.

«Тихо повзуть бисенята». А когда они уже совсем окружили старика, он повернулся через плечо и погрозил пальцем.

— Только «уру» не кричать! Рыбу попугаете. Садись, комиссар! Бери удочку.

Через полчаса Руднев и Базыма, подойдя к реке, застали рыбную ловлю в самом разгаре. Только Юрка сидел печальный. Рыба на удку Ковпака шла, как по заказу, а на юркину ничего не попадалось. Сумев отвлечь внимание ребенка, грозный командир зацепил крючком юркиной удочки рыбешку и закинул ее в воду.

— Тяни, комиссар! Тяни, клюет!

Торжествующий Юрка вытащил рыбу и, забыв всю солидность и престиж, закричал на весь лес:

— Мама, мама! Папа, смотри! Я поймал.

— А что же она за спину зацепилась у тебя? — засмеялся отец.

— Ладно. Пускай бавыться, — усмехнулся старик.

Базыма и комиссар понимающе переглянулись. А по лесу раздавался крик Юрки. Он, торжествуя, нес матери свой улов.

Через месяц отряд Ковпака, выполнив задачу, с боями ушел в Брянские леса. Там уже был организован партизанский аэродром. Впервые появилась возможность эвакуировать раненых в советский тыл. После раненых стали отправлять и семьи. Руднев, как-то гладя черноголового Юрку, сказал жене:

— А не отправить ли нам этого маленького человека на Большую землю. Дома? А?

Руднева вздрогнула.

— А как же я?

— И тебя тоже.

— Ни за что, Сеня! Ни за что!..

Но комиссар был настойчив. Через несколько дней Доминикию Даниловну вызвал к себе Ковпак и в форме военного приказа предложил ей отправиться ближайшим самолетом.

Юрка с матерью улетали. С ними улетали и остальные партизанские семьи. Юркин отряд «на крыльях полка Гризодубовой» перекочевывал на Большую землю.

Попрощавшись на аэродроме с отрядом, Юрка прижался щекой к мокрому усу отца.

— Будь здоров. Расти, партизан. Учись...

И тут Юрка впервые за все время пребывания в отряде не выдержал и заплакал.

Он больше никогда не увидел своего отца.

XV

С форсированием Днепра и Припяти мы вышли в леса, которые сплошным массивом покрывают северную часть Житомирской и Ровенской областей и идут дальше на север, к южным областям Белоруссии. Сама природа благоприятствовала созданию здесь партизанского края.

Мы двигались днем. Руднев с каждым маршем становился все веселее. Он выскакивал на своей белой лошади вперед, в голову колонны, к разведчикам, шутил с ними. Иногда останавливал коня, протягивал руку вперед к дремучему синему лесу, на который мягкими хлопьями ложился белый снег, и шутя декламировал:

...Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен,
На зло надменному соседу... —

и весело смеялся.

Южная часть бассейна Припяти — дикая, болотистая страна, сплошь покрытая лесами. По ней не проходят шоссейные дороги, и здесь почти нет крупных городов. Далеко на западе, прислонившись к этому сплошному массиву, одиноко стоит Ковель. Ближе к востоку — город Сарны. С юго-востока леса — Овруч, — вот и все города этого громадного лесного края, раскинувшегося на сотни километров в бассейне Припяти и ее притоков. Казалось, сама природа выключила его из войны.

Проходя лесными дорогами, мы часто встречали десятки сел, не видавших вражеских войск и только понаслышке знавших, что где-то идет война. Война шла мимо них: по южным дорогам или по асфальту из Львова, через Ровно на Киев; или севернее — из Бреста на Минск. А села жили заброшенной покорной жизнью, ощущая дыхание войны разве только по налогу на собак, введенному каким-то дурашливым немецким комендантом, которому фюрер отдал во владение эти районы.

Война проходила мимо, лишь изредка напоминая о себе гудением самолета, высоко в небе пролетавшего над этими гиблыми местами. Но если для современной армии, ведущей маневренную войну, этот край был явно неподходящ, то лучше места для перенесения партизанской базы из Брянских лесов на запад было не найти. Нашим рейдом с востока Украины партизанское движение сразу переносилось

на все правобережье Украины, на западные ее окраины.

Решалась судьба партизанского края, которому суждено было сыграть основную роль в развитии партизанского движения правобережной Украины. Решалась, но еще не была решена. Все эти гиблые, болотистые места, составлявшие несколько административных районов — Лельчицкий, Ракитянский, Словеченский, Столинский, — по территории равных хорошей области, были объединены немецкими властями в один округ, или по-ихнему «гебит». Голова округа — гебитс-комиссар — выбрал себе резиденцией районный городишко Лельчицы и находился там под охраной крупной комендатуры жандармерии и батальона полиции. До тех пор пока мы не разгромим Лельчицкий гебитс-комиссариат, не может быть и речи о создании партизанского края. Не эти же леса, густые и дикие, посылал нас завоевывать Сталин с востока Украины! Они были нужны нам только как база, как место, где мы будем снабжаться и откуда будут совершать лихие набеги партизаны, которых еще надо было организовать и поднять на борьбу. Тогда нам и в голову не приходило, что Лельчицами мы решали судьбу карпатского рейда Ковпака, судьбу целого ряда соединений, возникших через полгода — год в Житомирской, Ровенской, Каменец-Подольской областях Украины, пока еще зловеще притихших под сапогом оккупанта.

Если бы немцы остались в Лельчицах или Словечном, укрепились бы там, сделали их своим опорным пунктом, не было бы там партизанского края, а значит, и базы партизан. Бои в Лельчицах и Словечном решали судьбу партизанского движения Украины на год вперед.

Стоянки наши в этих дебрях были спокойны. Мы двигались днем, давая по ночам отдыхать людям. Марши делали небольшие. Иногда останавливались на целые сутки в полесских деревнях. Осваивание нового района начиналось с подробного изучения его.

Я часто и подолгу стал бывать в штабе. Ковпак в это время поручил мне руководство разведыватель-

ной работой. Особенно сблизился я с начальником штаба Григорием Яковлевичем Базымой и с Паниным, секретарем партбюро. Оба старые ветераны партизанского движения, они часто вспоминали первые дни становления отряда.

Чувствуя, что с этими людьми меня надолго связала военная судьба, я и сам интересовался первыми днями партизанской борьбы, уже как бы овеянными славой истории. Я кое-что записывал, и это очень нравилось Базыме.

Часто после часов, проведенных за работой в штабе, он крепко потягивался до хруста в костях, подымал очки на лоб и говорил, как бы ни к кому не обращаясь и продолжая какую-то свою мысль, прерванную то ли боем, то ли составлением плана или отчета.

— А то, понимаешь, был еще такой случай... Приходим мы с Семеном Васильевичем в третью роту, а у них постов нет, все вповалку спят. Кое-кто, видно, хлебнул крепко... Ох и публика!..

Темой разговора чаще всего была третья рота, лучшая рота отряда, и ее командир Карпенко. Много раз такие разговоры велись в присутствии Руднева, и он, слушая Базыму или Панина, только улыбался, задумчиво покручивая ус. Говорил он о людях Карпенко с любовью, а по существу из рассказов явствовало, что эта компания бесшабашных молодцов во главе с упрямым и недисциплинированным Карпенко доставляла и Рудневу и Базыме одни только неприятности и хлопоты. Неприятности с «третьеротцами» начались у командования уже очень давно, чуть ли не с того дня, как группа Карпенко влилась в отряд. Люди Карпенко «признали» Ковпака командиром, но все же держали себя обособленно. Мы, мол, военные, а это все «штатская» публика, да еще все старики, из которых «песок сыплется». Партизанская жизнь на первых порах им понравилась, особенно когда Дед Мороз показал, где заложены базы с продуктами. На базах были бочки с вареньем, которое очень пришлось по вкусу молодым ребятам группы Карпенко и Цымбала. По всему было видно, что хлопцы быстро усваивали

именно отрицательные стороны партизанской жизни — вольницу, отсутствие дисциплины. Все это видел и понимал Ковпак, прошедший суровую школу Красной Армии, — ведь на глазах Ковпака и при его участии рождались партизанские отряды, Красная гвардия и армия молодой Советской республики. Видел, понимал, но пока молчал, присматривался. Да и трудно было ему сразу прибрать к рукам весь этот народ, который прибило к нему ветром окружения.

Разные люди бродили тогда по тылам только что прошедшей здесь немецкой армии. Все было неясно, скоротечно, быстро менялись настроения, порядки.

В это время из соседних лесов к Ковпаку пришла подмога — Семен Васильевич Руднев со своим маленьким отрядом в двадцать с лишним человек.

Первые недели оккупации отряды Ковпака и Руднева каждый действовали самостоятельно и связи между собой не имели. К началу осени Руднев по первым диверсиям Ковпака напал на его след. Крепко обрадовались они друг другу. Трудно приходилось обоим. Разные по возрасту, характеру и образованию, люди эти в одном были совершенно одинаковы: в преданности своему партийному долгу, в желании порученное им дело — организацию партизанского движения — выполнить во что бы то ни стало.

То были тяжелые дни. Немец был силен, силен не только своей техникой и военным престижем, но силен еще и нашим незнанием, нашей необученностью. У некоторых новоиспеченных партизан тряслись поджилки: люди боялись, многие просто не знали, с чего начать. Первое время в разведку ходили сами командиры отрядов — Ковпак и Руднев.

Ковпак по опыту понимал, что нужно обязательно выиграть первый бой, пусть маленький, нанести хотя незначительный урон врагу. Это было необходимо для сплочения отряда. Понимал это и Руднев.

При первой встрече командиры обсудили положение, поделились опытом первых дней борьбы, и Руднев предложил Ковпаку слить оба отряда.

Руднев энергично начал работать по сколачива-

нию отряда, по внедрению дисциплины. Он сам во всем показывал пример. Внешний вид бойца, распорядок дня, несение службы, подчинение начальникам, организованность питания, по старой армейской привычке, он считал обязательными для себя и требовал того же от подчиненных.

Так было в армии.

— В партизанах это все нужно еще больше, — внушал он бойцам. — Еще больше во сто крат потому, что борьба наша опаснее, силы наши меньше, а бить врага мы должны не хуже армии.

Многие соглашались, никто не возражал, но в роте Карпенко угрюмо поглядывали на нового комиссара. Не понравился крепко он им своими речами, а еще больше — делами. Но братва пока помалкивала. Взрыв произошел, как это ни странно, из-за варенья.

Наведя порядок в несении разведывательной и караульной службы, поработав над внутренним устройством землянок, комиссар взялся за питание. Учтя все имеющиеся продукты, он составил рацион, — по двести граммов сала на человека, сухари, а когда есть возможность, свежий хлеб, овощи (осенью их можно было не нормировать) и по кружке варенья в сутки на двух человек.

Хлопцы из роты Карпенко первую часть «реформ» комиссара приняли с холодом, но все же, понимая, что без разведки, без караулов обойтись нельзя, молча соглашались. А вот варенье...

Тут уже посягательства на их «партизанские» права. Молодежь эта, буйная, зеленая и бесшабашная, пышущая здоровьем и удалью, молодежь, которой в двадцать два года пришлось с глазу на глаз встретиться со смертью, да не раз и не два, а вот уже четвертый месяц встречаться ежедневно, на каждом шагу! Лязгает безносая по шоссейкам, громыхает по трактам, пылит по проселкам, завывает протяжными голосами моторов в небе. — Молодежь эта не желала отказать себе в удовольствии, в единственном оставшемся удовольствии покушать сладкого вдоволь — «сколько хочу», «от пуза».

— Комиссар говорит — рассчитывать надо, чтобы до зимы хватило... Меня, может, завтра ухайдакают, а я на зиму буду рассчитывать.

Забузила братва:

— Карпо, или пускай выдает варенье, или давай отделяться своим отрядом. Ну его к чертям собачьим с его «армейской дисциплиной».

— И варенье поделить поровну. На чорта оно им, старым хрычам. Последние зубы повыпадают!.. — кричал Мудрый.

Ребята заржали.

Не смеялся лишь Карпенко; он был угрюм и молчалив.

— Давай делегацию к нему пошлем, — предложил Шпингалет.

— Ша, молчите, хлопцы!.. Говори, командир! — крикнул Мудрый, заметив, что Карпенко поднял голову.

— Не надо делегаций, — сказал Карпенко. — Вы пока бузу не поднимайте, а этого комиссарика я сам ухлопаю.

Братва замолчала. Такого поворота дела даже и они не ожидали.

Карпенко отвернулся. Задумались и хлопцы. Постояли, постояли и тихо разбрелись.

На следующий день Базыма и Панин узнали об угрозе Карпенко. Они предупредили комиссара, затем пошли к Ковпаку. Тот сначала не поверил. Затем вызвал к себе Цымбала.

— Был ли такой разговор?

— Был, — отвечал тот.

Дело принимало серьезный оборот. Крепко задумались командиры. Им было ясно, что решается судьба этого первого боя, к которому так тщательно готовился Ковпак, а может, и судьба всего отряда, их детища, уже жившего, существовавшего, в которое они вложили все свои силы.

Было ясно, если смолчать, не ответить на эту выходку, отряд, может быть, и будет существовать, но не как большевистский, идейный, а просто как

банда вооруженных людей, любящих «сладкую» жизнь...

Ковпак рассвирепел:

— Комиссара, моего комиссара стрелять грозиться? Це що, восемнадцатый год ему? Партизанщина, туды его... — и он схватил с крючка автомат. — Зараз выстрою роту и собственной рукой, перед строем... Як у Чапаева того... самого...

Руднев стоял и думал тяжелую думу.

— Не надо, Сидор Артемович! Я сам разберусь. Так будет лучше.

Ковпак остыл немного.

— Ладно. Тильки ты гляди, осторожно с ними. Воны у нас недавно, кто его знает, що за народ.

Руднев долго говорил с Базымой и Паниным. Когда начало смеркаться, он оставил автомат и пистолет у Панина, вышел из штабной землянки и пошел в третью роту.

Землянка эта была в полукилометре от штабной.

Прошло полчаса, час...

Панин и Базыма часто выходили из землянки. Прислушивались... Они волновались все больше и больше. Но итти за ним Руднев категорически запретил.

Руднев вошел в землянку третьей роты, когда люди ужинали. Часть из них при виде комиссара встала, многие продолжали сидеть, посматривая на своего командира. Руднев остановился у порога и молча смотрел на Карпенко. Пауза затягивалась.

Карпенко поднял голову. Руднев стоял у двери, каблуки вместе, руки по швам, и спокойно смотрел на сержанта Карпенко. Тот не выдержал взгляда и как бы нехотя встал. За командиром вскочили остальные партизаны.

— Ну, вот теперь здравствуйте! — облегченно вздохнув, сказал комиссар.

— Здравия желаю! — ответил Карпенко.

— Здравствуйте, товарищ комиссар! — весело загалдели кругом. Руднев подошел к чугунку и сел на чурбак, заменявший табуретку. Хлопцы потеснились, уступая место комиссару. Он пододвинул чур-

бачок поближе к огню. Карпенко поковырял железкой в чугунке. Он сидел босой — сушил у огня промокшие выше колен ватные брюки. Пламя вспыхнуло ярче, осветив фигуру комиссара и сидящих вокруг партизан. Хлопцы молчали, поглядывая на своего командира.

— А что же это вы, товарищ комиссар, без оружия? — спросил Намалеванный, стараясь разрядить неловкое молчание.

— Зачем оно мне сейчас?

— Ну, все-таки далеко отлучились.

— Сейчас оно мне ни к чему, — подчеркивая первое слово, сказал комиссар.

— Немец все-таки кругом.

— А что мне немец? Я пришел, чтобы вы меня убили...

Карпенко вскочил.

— Кто убил? Где?

— Здесь, в третьей роте.

— Кто посмеет!.. Да, я...

— Ты, вот именно ты посмел...

Карпенко стоял прямо, глядя на комиссара. Вскочив, он толкнул казанок, и несколько раскаленных угольков скатилось ему под ноги. В руках он держал железную штабу, заменявшую кочергу. Небольшая головешка свалилась ему на ногу и жгла ее. Брюки дымились.

— Смотри, обжечься можешь так, — тихо проговорил Руднев, нагибаясь и сбрасывая жар с ноги Карпенко. Затем он откинулся назад и обвел взглядом присмиревших бузотеров. Железная штаба со звоном упала на пол. Семен Васильевич поднял ее и сунул в жар. Искры брызнули вверх. Вспыхнуло пламя.

— Так-то, ребятки.

— Товарищ комиссар, — хрипло сказал Карпенко. — Вы это напрасно всерьез подумали. Напрасно! Вы понимать должны: все-таки я невыдержанный человек. Все-таки я не один год в заключении был... На канале работал...

— Нервный мы народ, товарищ комиссар, Семен Васильевич, — пытался объяснить Мудрый.

— Нервы виноваты? В тюрьме сидели?

— Вот именно. Вы уж не серчайте... — загалдели кругом.

— Расскажу я вам, хлопцы, как я в тюрьму попал.

Все затихли, удивленно разинув рты.

— В партии я с девятнадцатого года. Вся жизнь моя в армии прошла. И вот в тридцать седьмом году меня посадили. Ну, думаю, посижу, разберутся, а тут год проходит, — и все разбираются. Еще восемь месяцев прошло... Затем вызывают, партийный билет обратно вручают и говорят: ошибка. Что бы ты на моем месте сделал, Карпенко?

— Не знаю!

— Ну, вот видишь! А говоришь, нервы! Вот и у меня нервы не выдержали. Партийный билет я взял, а в армии — нет, хватит, говорю. Довольно! Крепко обиделся я... И поехал к себе домой. Пожил пару лет. А тут война. Я в Москву: принимайте обратно... Ну, а там не до меня. Подумал я, подумал... Вот как оно бывает вредно с родиной ссориться! А ведь мы люди свои, — поссоримся и подеремся, все может быть. Но когда немец на нас идет, тут другое дело, ребятки! Тут нервы и амбицию надо оставить... Вот и мне пришлось за партизанское дело взяться... А ведь я кадровый командир, хлопцы!.. Мои ученики сейчас дивизиями командуют. Вот и все... Ну, что ж, Карпенко!

— Простите, товарищ полковой комиссар. Сгоряча, необдуманно...

Руднев молча протянул руку. Долго еще сидел он в этой землянке. Не выдержав гнетущего чувства неизвестности, Панин и Базыма пришли за ним. Они вошли в землянку и увидели: Руднев сидел в кругу ребят и чистил печеную картошку. Федор Карпенко, Иван Намалеванный проворно переворачивали картофелины в золе и лучшие передавали комиссару. Руднев брал картофелину, клал ее на ладонь и, обжигаясь, перебрасывал с руки на руку. Когда Руднев ушел, Мудрый восхищенно сказал:

— Свой парень в доску! Вот как можно в человеке ошибиться.

— Ну, глядите мне сейчас. Кто дисциплину поломает — хребет перешибу, — неизвестно кому пригрозил Карпенко.

В землянке третьей роты до рассвета горел огонь...

После этого вечера Карпенко делал чудеса. Рота его беспрерывно ходила на минирование, в разведку люди напрашивались сами, и начштаба Базыме не было отбою от охотников получить какое-нибудь боевое задание. Рота и сам Карпенко принимали участие во всех первых боях отряда. После боя Руднев и Ковпак всегда отмечали их храбрые дела.

Но не прошло и двух месяцев, как Карпенко опять сорвался. Произошло это, когда отряд уже шел рейдом по Сумской области. Стояла зима. Снегами замело леса, намело сугробы в полях и перелесках. Отряд, выросший до пятисот человек, выходил после тяжелых боев на северо-восток, поближе к Брянским лесам. Полки мадьяр шли наперехват отряду. Они жаждали отомстить партизанам за разгром нескольких своих батальонов.

Отряд пробивался на север, стараясь обходить гарнизоны противника. Иногда при этом приходилось делать большой крюк.

Однажды штаб наметил такой обходный путь. Начштаба Григорий Яковлевич вызвал командиров в штаб. Объявил маршрут, порядок движения и начал давать указания по ночному маршруту.

Карпенко был не в духе.

— А чего это мы лишних километров тридцать будем топтать? — спросил он.

— Командир и комиссар приказали, — начал было Базыма.

— Приказали, приказали! — раздраженно перебил Карпенко. — Они себе пускай приказывают, а я пойду напрямик...

— Федя, не горячись... Ты послушай... Разведчики в пути на колонну мадьяр наскочили. Нам в бой с ними сейчас...

— А, бросьте! Все вам бой мерещится! Никак воевать не научитесь, а мы должны за это своими ногами расплачиваться...

Базыма, обидевшись, замолчал.

— Передайте, что я пошел напрямки. Пока вы будете за сто верст десяток мадьяр обходить, мы уже выспимся на месте стоянки.

И Карпенко, посвистывая, вышел.

Руднев уже давно был в хате и из-за перегородки прислушивался к речам Карпенко. Когда тот вышел, он подошел к Базыме.

— Сорвался Карпенко.

— Надо что-то с ним делать, Семен Васильевич! — сказал Базыма.

— Я слышал, но останавливать его сейчас поздно. Ни за что не послушает. И еще больше о себе возомнит, если уговаривать и просить начнем. Пускай идет куда и когда хочет.

На новой стоянке — длилась она три-четыре дня — Карпенко был объявлен бойкот. На таких стоянках обычно штаб работал очень активно. Подводились итоги прошедшим боям, запрашивались сведения, отчеты рот и батальонов суммировались в штабе.

Приказаний, рассылавшихся по всем ротам по распоряжению Руднева, Карпенко не получил. Он заметил это. Узнав у соседей, какие сведения требовались, сам принес их в штаб и молча положил перед начштаба. Базыма посмотрел на бумагу, затем поверх очков бросил взгляд на Федора.

— Оставь это у себя.

— Как у себя? Все сведения сдают. Потом опять будете меня шпынять — порядка не признает, дисциплину подрывает, такой сякой... Знаю я!

— Нет уж, не будем! Оставь у себя! — твердо сказал Базыма.

— Это зачем же?

— Ты же работаешь самостоятельно... Вот у себя и держи...

— Ага... Ну, так я к командиру и к комиссару пойду.

— Не советую. Это я по их приказу делаю.

— Вы что же, снимаете меня с роты? Охота своих, путивлян ставить, так бы и говорили!

— Никто тебя не снимает. Ты же сам отделился. Ну вот и действуй сам, как хочешь. Сам себе и отчитывайся.

Карпенко повернулся и вышел, хлопнув дверью. Руднев знал, что ему нелегко. В самовольном марше третья рота не избежала боя и потеряла ранеными шесть человек и убитыми двух. Никто Федора не попрекал, но все видели, что переживает и мучится он сильно.

Вечером того же дня отряд двигался дальше. Приказ на движение был разослан в секретном порядке за полчаса до выхода. Карпенко его не получил. Колонна уже строилась, когда он выбежал из хаты.

— Почему мне не присылаете приказа? — вызывающе спросил он Базыму.

Старый педагог знал, что в таких случаях нужно держать взятую линию твердо.

— Ты же своим путем пойдешь.

— Баста! Довольно! — крикнул Карпенко.

— Шагом марш! — скомандовал впереди колонны Руднев, издали наблюдавший за ними.

Люди тронулись. Заскрипели полозья саней, вскинув винтовки на плечи, зашагали роты. Карпенко стоял молча, провожая взглядом людей и обоз. Когда прошли последние сани, вокруг него собралась вся его рота.

— Становись! — скомандовал он хрипло. — Шагом марш! — И пошел по гладкой санной дороге, выбитой сотнями ног, отшлифованной полозьями саней.

На горизонте всходила огромная багровая луна.

Повесив немецкий автомат на грудь и положив на него руки, Карпенко молча шагал впереди роты. Люди, тихо переругиваясь, побрякивая оружием, брели за своим командиром.

На рассвете нагнали хвост колонны. Она медленно втягивалась в село, так как передние задерживались квартирьерами, сновавшими верхами по переулкам. Указывая место заставам, проехал вдоль стоявшего обоза Базыма.

— Мне где остановиться? — спросил подошедший Карпенко.

— А где хочешь, — ответил Базыма.

Карпенко осел, и вдруг лицо у него сделалось жалобным, глаза заморгали. Базыма, никогда не видевший на лице Карпенко такого выражения, не выдержал и улыбнулся:

— Твое дело вольное, казацкое... Что, мол, хочу, то и делаю, — и начштаба перетянул коня нагайкой. Конь с места взял галоп.

Третья рота разместилась на окраине. Хаты были скверные, их нехватало. Теснота страшная. Привилегированным третьеротцам это казалось вдвойне нестерпимым.

— Во, братцы, камуфлет! — рассуждал Мудрый. — Чего же нам делать!..

— Карпо придумает что-нибудь, — убежденно говорил Шпингалет.

— Придумает, смотрите, позеленел весь. Не ест, не пьет, — рассуждал Намалеванный.

— Пойду в разведку, — собрался Мудрый. — Погляжу, что там дед Ковпак с комиссаром маракуют насчет нашей дальнейшей жизни.

— Верно, давай сходи, — согласились ребята.

Когда ушел Мудрый, все немного приободрились. Все-таки была надежда на какой-нибудь выход. Неизвестность — самое тяжелое наказание для людей действия и сильной души.

Мудрый действовал осторожно. Остановился возле часового, закурил и завел дальний разговор о том, о сем. Угостил часового мадьярской пахитоской, которую тот спрятал в карман.

Базыма подмигнул комиссару, указывая кивком головы на окно.

— Разведка, — усмехнулся Руднев.

— Боевая?..

— Нет, пожалуй, им не до боя теперь!

— Не говори. Могут еще в наступление пойти. Народ молодой, горячий.

— Ну что ж, отобьемся.

Мудрый вошел и лихо, с вывертом, козырнул.

— Ну-с, вольные казаки, как живете? — спросил Руднев.

— Ничего-о, товарищ комиссар, Семен Васильевич.

— Так-таки и ничего?

— Не так, чтобы ничего себе, а все ж таки...

— Одним словом, ничего себе, — засмеялся Базыма.

— Ага, вот именно, — смутился Мудрый.

— Какие планы на дальше?..

— Какие уж тут планы!.. — вздохнул Николай.

— Что ж так? — уже без насмешки, а просто и задушевно спросил его Руднев.

Мудрый недоверчиво взглянул комиссару в глаза. Руднев смотрел серьезно, но участливо. Мудрый всем телом подался вперед...

— Ох, и не говорите! Я вам одно скажу, товарищ комиссар, Семен Васильевич. Страшная штука танк...

— Страшная... — задумчиво, покручивая ус, сказал Руднев.

— Но еще страшнее душа человеческая...

— Особенно, если душа эта, как дикий конь, и разум ею не управляет...

— Ага, понял... Мозги человеку вроде уздечки... Вот нашего брата надо крепко зануздать, да шенкелями, шенкелями...

— Ну пошел, накрутил, замолол! — вздохнул Базыма. — Ох, и горазд ты, парень, языком молоть, в душе ковыряться... Ни дать ни взять Колька Шопенгауэр.

— Ага!.. А кто же такой с немецкой фамилией?

— Был такой философ...

— А, философ, понятно...

— А как командир ваш?

— Убивается...

— Плохо, — сказал Руднев.

— Вот и мы все думаем, что плохо, — оживился Мудрый. — А нельзя нам, товарищ комиссар, Семен Васильевич, об этом инциденте забыть? Вроде ничего не было...

— Забыть нельзя... — Руднев помедлил. — Исправить можно.

— Можно?! — обрадовался Мудрый.

— Нет ничего невозможного на свете, особенно для большевиков.

— Ну, какие мы большевики... Так, шпана беспартейная...

— Неверно. Повторяю, — ничего невозможного для человека нет.

— Это что же, так можно и Карпу передать?

— Можно передать, — внушительно ответил Руднев.

Мудрый, как пробка, вылетел из хаты.

— Я же говорил, разведка... — засмеялся Базыма.

Вскоре появился Карпенко. Он шел широким походным шагом, проходя мимо часового, козырнул ему по-армейски и, не останавливаясь, вошел в штаб.

— Разрешите обратиться, товарищ полковой комиссар, — отчеканивая каждое слово, сказал он.

— Обращайтесь, — Руднев встал. За ним поднялся и Базыма.

— Прошу третью роту принять обратно в отряд как боевую роту и назначить другого командира.

— А если мы прикажем вам командовать, товарищ старший сержант?

Карпенко колебался. Сдать роту другому, отличиться в боях рядовым бойцом, погибнуть в бою, — это ему казалось более выгодным. Это была победа. То же, что ему сейчас предлагали, было поражение. Он молчал.

— Приказываю принять роту... Партия тебе приказывает.

— Подчиняюсь военной дисциплине. Разрешите итти?

— Идите.

Щелк каблуками, лихой поворот и резкий стук левым каблуком, первый шаг.

Руднев с восхищением смотрел ему вслед.

Базыма протер стекла очков и задумчиво проговорил:

— Педагогическая работа, одним словом.
— Вот только к партии их поближе надо...
— В партию? Кого, Карпенко? Ну, это уж слишком, Семен Васильевич.
— А чего ж... Подумать надо...
— Подумаем, — согласился Панин.

Прямо поставить вопрос, зная нрав Карпенко, не хотели. Он мог заподозрить тут умысел, желание «связать» его самостоятельность, которой очень дорожил этот ежедневно рисковавший жизнью за других человек. Руднев знал, что скажи он Карпенко «умри за меня», тот, не колеблясь ни минуты, пойдет на смерть, но знал также, что в лоб ему ставить вопрос о партийности нельзя. В особенности сейчас, когда отношения вновь обострились.

Как-то в штабе было много народу. Мудрый, долго молчавший, что было для него необычайно, прокашлялся.

— Товарищ комиссар, Семен Васильевич! А нельзя ли мне как-нибудь в партию пролезть? — спросил вдруг Мудрый комиссара.

— То есть, как это — пролезть? — удивился Семен Васильевич. — Ты что, с ума сошел? Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Товарищ комиссар! — торжественно заявил Мудрый. — Вы для меня есть сама партия. А обманывать вас я не хочу. Я знаю, что так не годится говорить, но иначе я не могу. Ну, знаю, говорят в таких случаях: заявление подать, вступить в партию. Так это же про людей говорят. А про меня так не скажешь. Кто есть Колька Мудрый? — немного рисуясь, продолжал он. — Спекулянт, барахольщик, из милиции до войны не вылезал, по мелким всяким делам, купля-продажа, одним словом... Бывали и крупные... А теперь, как я честный защитник родины, — не могу я в стороне от партии... Но прошлого ведь не выбросишь, товарищ комиссар, Семен Васильевич, товарищ Ковпак, командир-отец. Эх, не знаю и сказать как... Может, я и не так говорю, или нет таким, как я, ходу, так это несправедливо будет... Вы, товарищ командир,

с самим Сталиным дела решали, — если что не так, вы ему запрос по радио... а?

Руднев обнял Мудрого за плечи.

— Эх, ты, чудак человек. Понимаю я твой честный поступок. Ну, ладно, — засмеялся он. — Рекомендации имеешь?

— Подзапас маленько, товарищ комиссар, Семен Васильевич.

— А мне и пролезть нельзя, — тихо и печально сказал Карпенко.

— Почему? — насторожившись, повернулся к нему Руднев.

— Ну кто же за меня, такого, поручительство даст?

Ковпак и Базыма переглянулись. Руднев молча порылся в кармане гимнастерки и протянул Федору вчетверо сложенный лист бумаги. Карпенко встал. Он смотрел в глаза Рудневу и не брал листа. Так же молча протянули их Ковпак и Базыма.

— Бери! — серьезно сказал Ковпак. — Только гляди, за двадцать пять лет в партии ни я себя, ни меня перед партией никто не опозорил.

Карпенко молча взял рекомендации и тихо вышел.

Прошло с полчаса и боком в хату втиснулся Мудрый.

— Заявление пишет, — заявил он по секрету. — Четвертую тетрадку исписал. Напишет, порвет и снова пишет. Ох, и прикрутили вы его, товарищ комиссар. Просто удивительно даже, до чего силу имеет эта партейность над человеческой душой!..

— Ну, пошел Мудрый философствовать... — сказал Базыма, задумчиво перебирая какие-то бумаги. — Одним словом — Колька Шопенгауэр.

У меня есть сын. Ёму сейчас всего четыре года. Я желаю ему лучшей судьбы и жизни, чем у Федора Карпенко. Но если ему придется в жизни ошибиться и затем выправлять свой промах, вину или ошибку, пусть он делает это, как Карпенко. Лучшего я ему не желаю.

XVI

24 ноября 1942 года мы заняли большое село Столичи. Село напоминало новостройку. Оно делилось на две половины: старая его часть — типичное полесское село с несколькими кривыми улицами; чуть подалее, на бугорке, по обеим сторонам хорошей улицы расположились новые стандартные дома, построенные за несколько лет до войны.

Село стояло в двенадцати километрах от окружного центра Лельчицы. До войны здесь было электричество и паровая мельница. Колхоз имел автотранспорт и славился своим животноводством.

В ночь на 27 ноября по хорошей санной дороге мы двинулись в направлении Лельчиц. Операция была разработана на полное окружение и уничтожение противника, который из Лельчиц своими щупальцами опутал весь этот большой район, населенный полещуками.

Руднев шутя говорил командирам:

— Ну, держись, хлопцы! Знайте, что Лельчицы — это наши партизанские «Канны»!

В двенадцать часов ночи роты вышли на исходное положение и начался бой. Продвижение по окраинам шло успешно. Большая часть городишка была занята быстро, но затем наступление стало захлебываться. Центральная улица Лельчиц, на которой помещались учреждения, частично была занята нами, но затем противник стал оказывать все большее сопротивление. Большой двухэтажный дом жандармерии, опутанный проволокой, каменный дом гебитс-комиссариата, парк на пригорке в центре города со сходившимися к нему со всех сторон улицами, здание тюрьмы и другие каменные дома были сильными оборонительными пунктами немцев. Ковпак, расположившийся на командном пункте в крайних домах, решил бросить в бой артиллерию.

Прикрывать батарею пошла наша тринадцатая рота.

Первой нашей заботой было выбить противника из большого двухэтажного дома жандармерии — и десяток снарядов из 76-миллиметровой пушки сделали это. Мы ворвались в здание, битком набитое винтовками, лыжами, мешками с сахаром, бельем. Внутри помещение напоминало универсальный магазин. Вслед за первыми смельчаками в здание ворвались еще человек сто — полтораста.

Я из углового окна выглянул на улицу. На другой стороне ее, немного наискосок, стоял красивый особняк гебитс-комиссара. Здесь улица кончалась, и за нею на холмике был расположен небольшой парк, со всех сторон обнесенный забором; вокруг были вырыты окопы. Около парка высилась кубической формы каменная громада с бойницами, откуда торчали дула пулеметов, и недалеко от нее — противотанковая пушка, обстреливавшая улицу. Батальоны, наступавшие по окраинным улицам, уже сомкнули кольцо окружения, и противнику некуда было бежать. Поэтому он ожесточенно отстреливался.

В моем подчинении имелось лишь восемнадцать человек из тринадцатой роты. Я крикнул Бережному: «Давай обходи справа и атакуй парк во фланг». Затем вскочил в коридор дома гебитс-комиссара и крикнул своим:

— Выходи, все выходи на улицу и вперед!

Атака началась снова.

Выскакивая из окон здания гебитс-комиссара, на штурм парка шли пятая и шестая роты, тринадцатая заходила по огородам, я с третьей шел прямо на каменную глыбу. В несколько минут все было кончено, около пушки валялись убитые немцы, а из окопов наши хлопцы вытаскивали живых, спрятавшихся среди трупов, гитлеровцев.

Как мы узнали после, каменная глыба кубической формы была пьедесталом памятника Ленину. Памятник немцы сняли, а пьедестал превратили в импровизированный дот, выдолбив по углам его пулеметные гнезда. Спустя несколько минут после того как мы закончили атаку и добили последних немцев, над

нашими головами закружились два немецких самолета-истребителя. Они сделали по три круга и снизились. Когда их обстреляли, они быстро ушли на юг. Скоро со стороны Житомира подошло вражеское подкрепление: две бронемашины и около трехсот человек пехоты на автомашинах. Подкрепление мы разгромили, а бронемашины сожгли.

Это было 27 ноября 1942 года.

В те дни Красная Армия, прорвав фронт под Калачом и Клетской, начала окружение 6-й армии Паулюса под Сталинградом.

Вот записи из дневника за этот день.

«С боем взят гебитс-центр Лельчицы. Убито более трехсот немцев, две немки и полицейские, бургомистр, староста, много других «иже с ними» также переселилось в мир иной. Интересный бой для меня.

Снова прямая наводка, уже много раз проверенная мной за эту войну. Интересен бой еще и тем, что я на практике ощутил, что может сделать воля командира, когда наступление захлебнется. И снова везет — два раза смерть ходила локоть в локоть со мной и прошла мимо. Первый раз из противотанковой пушки бронебойным снарядом снесло голову пулеметчику, стоявшему рядом, второй раз пулька, маленькая пулька, попала в переносицу соседа, пролетев мимо моего уха.

Ранена Нина Созина. Хотя бы дожила она до известия о награде.

30.XI. Сегодня умерла от раны санитарка Маруся в плюшевой курточке. Много их, девушек, уже пало на своем посту.

1.XII. Милашкевичи, Глушкевичи и Прибыловичи. Озеро и площадка. Много работы. Интересные наблюдения и песни народа о войне.

А там старый батько
Окопы копав,
Він здалеку бачив,
Як стрілець упав,
Підійшов він ближче
Тай сина впізнав.

Танцы «полещуков» и девчата-«полещучки» в мягких лапотках...»

Разгромив Лельчицы, мы расчистили почву для создания партизанского края в районе среднего бассейна Припяти. В это же время Сабуров разгромил Словечно, расширив этим намечавшийся партизанский край к югу. Таким образом, громадная территория южнее Мозыря и Пинска оказалась свободной от немецких гарнизонов. Пока еще только пунктирно намечавшийся партизанский край обещал быть в несколько раз больше Брянского по территории и более важным в смысле охвата вражеских коммуникаций.

Вначале немцы, очевидно, не придавали этому большого значения. И только через месяц, когда вновь образованный партизанский край дал себя чувствовать, гитлеровцы опомнились и стали принимать меры. Но было уже поздно.

Почти два года спустя, когда войска Красной Армии, заняв Житомир, захватили архивы житомирского гестапо, я в них разыскал материалы суда над лельчицкими властями. Судили гебитс-комиссара, известного мне начальника жандармерии и многих других. Некоторых из них присудили к смертной казни, других вообще судили посмертно. Но, как говорит народ, «не помогли мертвому припарки».

Партизанский край, о котором мечтал Руднев, был уже создан.

XVII

Расправившись с немцами в Лельчицах, мы разместились юго-западнее — в селах Глушкевичи, Прибыловичи, Копище.

В Глушкевичах стал штаб и первый батальон, в Копищах — второй и третий, в Прибыловичах — четвертый батальон.

Мы стояли там около месяца. Здесь впервые я познакомился с народом, о котором знал только по-

наслышке. Это о них, о «полещуках», создавала свои чудесные произведения Леся Украинка. Разговаривая со стариками, глядя на танцы молодых девчат, я рисовал себе образы Левка, Килины из ее пьесы «Лісова пісня», и если бы немцы немного больше интересовались поэзией народа, который они задумали поработить, им бы чудилось по ночам: из Пинских болот Полесья на них подымается леший в мадьярской длинной шубе до пят, с козлиной бородкой, с автоматом в руках, и имя ему — Ковпак. Не берут его ни пули, ни железо, а он хватает немцев костистыми руками за горло, и они в ужасе испускают дух.

Руднев на стоянке ежедневно посещал раненых, следил за их лечением, ободрял участливым словом. Он регулярно читал им сводки Совинформбюро, принимаемые ежедневно нашими радистами.

Как-то мы вместе зашли к тяжело раненной в бою за Лельчицы Нине Созиной. Семнадцатилетняя автоматчица лежала бледная, стараясь стоном не выдать боли.

Я живо вспомнил наш разговор на марше, когда она рассказывала, как пришла в отряд мстить немцам за зверски убитого отца.

Руднев осторожно присел на край кровати и взял девушку за руку. Она открыла глаза.

— Товарищ комиссар... — тихо прошептали ее губы.

Семен Васильевич вынул из бокового кармана гимнастерки радиограмму и прочел ее вслух. Это было поздравление. Правительство наградило Нину орденом Красного Знамени.

Девочка закрыла глаза, длинные ресницы тенью упали на щеки. Затем снова открыла их и улыбнулась комиссару.

— Спасибо, товарищ комиссар!

— На здоровье, — тихо проговорил Руднев.

— И еще раз спасибо, — прошептала Нина. — Теперь я обязательно поправлюсь.

— Обязательно, — ответили мы.

В селе Глушкевичи, находившемся в самом центре Пинских болот, мы задумали рискованное дело.

Отдохнув несколько дней после лельчицкого разгрома, выпив трофейные водку, ром и коньяки из погребов гебитс-комиссара, мы снова взялись за дело.

На карте, лежащей на столе у Руднева, был нарисован небольшой паучок с четырьмя черными лапками железных дорог и синими усиками рек, а сбоку надпись: «Сарны». Несколько вечеров просидели мы — Руднев, Ковпак, Базыма, Войцехович и я, — думая, как раздавить нам «паучка». Повторить лельчицкие «партизанские Канны», как шутя прозвал Руднев тот бой, здесь было невозможно. Город имел значительно больший гарнизон, подступы к нему были не в пользу наступающих, а кроме того, к городу вело много коммуникаций, — здесь-то и была главная для нас опасность. Но это и привлекало нас больше всего.

Мы загоняли разведку. Она натаскала нам «языков». Я, назначенный заместителем Ковпака по разведке, дал полные и исчерпывающие данные о гарнизоне, и все понимали, что ни в лоб, ни путем окружения взять город не удастся. Сил у нас было мало, снаряды на исходе, патронов — тоже не густо. А разведка доносила, что «паучок» живет жадной паучьей жизнью. Черные щупальцы дорог лихорадочно гонят на фронт боеприпасы и войска. В обратную сторону — на запад — идет награбленный хлеб, высококачественный авиационный лес. И еще, что болью отзывалось в наших сердцах, — по рельсам катятся запломбированные вагоны, везут в Германию согнанных со всей Украины невольников, наших советских людей.

Жирные щупальцы «паучка» пульсировали все возрастающим количеством поездов, и Семен Васильевич, мучительно вглядываясь в карту, яростно стучал кулаком по столу:

— Его нужно во что бы то ни стало раздавить. Но раздавить мы не в силах...

И тут возник план. Я не помню сейчас, кому первому пришла в голову эта мысль, но она сразу стала общей мыслью командного коллектива. Крест! Поставить крест над Сарнами! И Руднев, подхватив мысль, уже детализировал ее:

— Обрезать концы, обрубить щупальцы со всех сторон в одно время, в один час, чтобы сразу застопорить движение с запада на восток, с востока на запад. Не дать немцам обходного пути на юг и север. Полностью вывести узел из строя на подступах к нему!

Еще не родившаяся в деталях и исполнении, операция сразу получила название: «Сарнский крест».

Дело в том, что железные дороги в Сарнах перекрещиваются: с севера на юг — из Барановичей в Ровно, и с запада на восток — из Ковеля в Киев. В Сарнах они встречаются и расходятся на все четыре стороны. А в нескольких десятках километров от узла дороги пересекают большое количество рек. Одновременным взрывом четырех-пяти мостов на подступах к Сарнам решалась судьба узла, хотя он сам оставался нетронутым.

В одну ночь должны были взлететь на воздух мосты, и злой «паучок» должен был надолго прекратить свое существование. Так родилась в наших умах операция и так же точно она должна была быть выполнена нашими ротами и батальонами. Снег, густо покрывший землю, позволил проводить операцию бесшумно и быстро. Мы выбрасывали роты с далекого расстояния, оставляя основную массу обоза и всю громоздкую махину отряда на сотню километров в стороне от места диверсий. Это давало нам возможность сохранить элемент внезапности нападения. Лошади, отдохнувшие после походов, по хорошей санной дороге за сутки могли вывезти наши боевые группы на исходное положение. Операция была экзаменом на зрелость мысли нашего командного состава, на его организаторские способности. В то же время она была экзаменом на зрелость и среднего звена партизанских офицеров.

Вся сложность нашего задания заключалась в том, что мосты должны были взлететь на воздух в один и тот же час, а находились они на расстоянии тридцати — пятидесяти километров один от другого.

Каждый из пяти командиров, решавших общую

задачу, в выполнении ее был предоставлен самому себе. Связь конными или ракетами исключалась, так как между «соседями», выражаясь фронтовым языком, находился разрыв в несколько десятков километров территории, занятой противником. Да и трудно было определить, кто кому сосед, так же как трудно было понять, где правая и левая стороны. Война без фронта и без флангов — так в двух словах можно определить тактическую сущность этого дела. Операция проходила не фронтом, а крестом, и каждый, повернувшись лицом к Сарнам, то есть к гарнизону противника, имел двух соседей справа, одного — слева и одного — в центре. А находившийся в центре со всех сторон был окружен врагами и в то же время имел четырех соседей сразу. Операция была рассчитана на три дня: выход на исходные позиции, взрыв мостов и возвращение к нашим главным силам.

Связи между командирами, как я сказал, не было. Каждый из нас мог знать обстановку только на одном из пяти участков. Поэтому понятно, как волновались мы, ожидая возвращения рот. На вторую ночь, когда, по нашим расчетам, роты должны были выйти на исходные позиции, я поздно задержался в штабе. Возвращаясь, я заметил фигуру человека в высокой черной шапке и кожухе. Это был Руднев. Он ходил взад и вперед, нервно потирая руки и поглядывая на часы. В это время на юге раздался взрыв, приглушенный расстоянием и мягким ковром лесных массивов. В иную погоду мы, может быть, и не услышали бы его. Но ночь была ясная, безветреная, морозная. Скрипел под ногами снег, светящееся кольцо вокруг луны мерцало на фоне миллионов звезд. Семен Васильевич остановился и замер, прислушиваясь, как будто он хотел услышать и эхо еле слышного взрыва. И после паузы сказал:

— Молодец Цымбал!

Затем прошелся, опять остановился, прислушался и тихо ругнулся сквозь зубы:

— Чорт!.. Что же Кульбаки не слышно. Вечно они запаздывают, эти кооператоры.

Сделав еще несколько шагов, скрипя сапогами по снегу, Руднев вдруг поднял руку и замер. Казалось, мы не услышали, а лишь инстинктивно почувствовали, как где-то севернее дрогнула земля, передающая детонацию шестисот килограммов тола.

Руднев с удовольствием потер руки и хлопнул меня по плечу.

— Ну, учись, академик! Чистая работа! — сказал он картавя.

А через несколько минут прямо на западе, растворяясь в ярком свете луны, вспыхнуло зарево.

— Бережной, Бережной работает! — проговорил Руднев. — Но почему же взрывов нет? Чего они там жгут, хулиганы?!.

Зарево подымалось вспышками, похожими на взрывы, их было много, но сам звук до нас не доходил.

Мы еще долго ходили с Рудневым, прислушиваясь, что же принесет нам единственный связной в этой странной операции — тихий морозный воздух Полесья.

Это было в ночь с 4 на 5 декабря 1942 года. В эту ночь, за полторы тысячи километров на восток от нас, войска Красной Армии под Сталинградом завершали окружение армии Паулюса.

На следующий день вернулись роты, и мы из их рапортов окончательно убедились в том, что дело удалось полностью. Черные щупальцы железных дорог были обрублены со всех сторон, а одно — даже дважды. Ясно было, что жирный «паучок» надолго захиреет.

Вечером Ковпак созвал командиров, выслушал их доклады и положил на карту правую руку с покалеченными еще в первой мировой войне двумя пальцами. Загребая рукой по карте, он как бы захватывал в горсть города, мосты и дороги, сжимая кулак над картой, словно в нем был кусок творога. Казалось, что сейчас из немцев сыворотка потечет.

— Заждить ще трохи, хлопци. Дочекаются гитлеровцы в этих лесах та болотах, пока им жаба цыцьки даст!

Экзамен на зрелость партизанские офицеры вы-

держали. Кто же были они, эти люди, осуществившие по частям столь сложную операцию?

Цымбал — сержант родимцевской дивизии, которая в эти дни дралась в Сталинграде, а он за тысячу с лишним километров от нее перерезал важный нерв врага.

Кульбака — кооператор, председатель потребительской кооперации города Глухова, Сумской области, участник финской кампании. Он организовал партизанский отряд и вначале действовал самостоятельно, а затем объединился с Ковпаком, став командиром второго батальона.

Бережной — разведчик Красной Армии. Парашютист. Молодой чернобровый украинец, веселый и жизнерадостный. Он прекрасно ориентировался на местности. Его полюбили ковпаковцы за веселый нрав. Особенно его любили разведчики.

Из этих людей, как и из многих других, выковались в дальнейшем прекрасные командиры полков, батальонов ковпаковской дивизии.

Гитлеровцы забесновались. Разведка донесла, что на местах разрушенных мостов они организовали перегрузку вагонов. Чтобы помешать им и в этом, мы сразу выслали засады, которые обстреливали места перегрузок, пускали под откосы поезда с материалом для ремонта мостов. Разведка доносила, что это успешно начатое нами дело под корень подсекло представление западноукраинских, довольно отсталых крестьян о том, что немцы непобедимы. Мужики охотно принимали наших разведчиков, сообщали им последние данные о противнике, ходили по заданию нашей разведки в Сарны и другие городишки, узнавая все, что нам было нужно.

Там же на большом двухсотметровом деревянном мосту у Домбровицы, сожженном Бережным, произошел комический эпизод, который очень насмешил нас.

Когда Бережной шел на мост под Домбровицей, он взял в ближайшем селе проводниками двух стариков, которые, поняв, что это за люди, куда и зачем их ведут, особенно рьяно взялись показывать партизанам

дорогу. Они многозначительно подталкивали друг друга в бок и всю дорогу закатывались тихим смехом, в лицах представляя, какие удивленные рожи будут у немцев, когда они наутро увидят, что случилось с мостом. Один из стариков сбегал за топором и пилой и стал пилить телеграфные столбы и рубить проволоку связи. Мост наши партизаны подорвали, а потом зажгли. Старички восхищались их работой и долго провожали диверсантов. Разведка, прибывшая через несколько дней проверить результаты диверсии, рассказала, что произошло там на следующий день.

Из Сарн на место диверсии выехала немецкая техническая комиссия и, подъехав к тому месту, где раньше был мост, увидела только торчавшие над водой его обгоревшие ребра.

Комиссии уже знакома была диверсионная партизанская работа, и это зрелище не особенно ее поразило. Но что это за большие круглые шары, почти касаясь воды, свешиваются на длинных веревках с обгоревших ребер моста? Кто-то из членов комиссии хотел подойти поближе, но его остановили.

— Не трогайте, может произойти несчастье.

На следующий день приехала другая комиссия и установила, что мост можно было бы восстановить за две недели, если бы не эти странные круглые желтые предметы, угрожающе повисшие над водой. Решили запросить высшее начальство, и только в третий раз сопровождавший комиссию местный полицай, понявший, наконец, что так затруднило немцев, пошел по обломкам моста, подтянул на канате загадочные предметы, оказавшиеся обыкновенными тыквами, снял их и положил к ногам недоумевающей комиссии. На ломаном немецком языке он объяснил им, что это за вещи, и, не выдержав, громко рассмеялся. Начальник комиссии, типичный толстый немец, не мог простить ему этого смеха и мудро решил:

— Если бы он не был связан с партизанами, он никогда не полез бы так смело на мост доставать эти... штучки.

И «бедного» полицая арестовали.

До немцев так и не дошел смысл странной затеи. Я же уверен, что тыквы были повешены двумя стариками-украинцами, больше нас торжествовавшими по случаю удачной диверсии. Это сама Украина, верная старинному обычаю, преподносила немцам «гарбуза»[1].

Наш партизанский край корнями врастал в народ.

XVIII

«Сарнский крест» не мог пройти нам даром. Дней через десять разведка стала подавать тревожные сигналы. В Коростене, Олевском, Ракитном начали концентрироваться немецкие войска. Подбрасывалась артиллерия.

Ни с того ни с сего колонна немцев, выехавшая со стороны Столина в Старое Село по узкой лесной дороге, окружила село, порубила большую часть населения, а село сожгла. В этом селе никогда не было наших партизан. Его не посещала даже разведка. Видно было, что фрицы нервничают.

Желая затянуть ремонт и восстановление мостов, мы разослали диверсионные группы и, ожидая возвращения их из далеких рейдов, долго задерживались на одном месте. Этим мы давали противнику возможность разведать нашу стоянку.

Внезапно наступившая оттепель согнала первый снег. Нам пришлось снова перейти на повозки. Ковпак затягивал решение на марш, ожидая морозов.

18 декабря немцы заняли все близлежащие с юга и запада села. Силы у них были солидные, но все же наше командование решило дать бой, чтобы отвлечь внимание противника от мелких групп, возвращавшихся с диверсий. Тут случился со мной казус, который надолго остался у меня в памяти. Днем противник вы-

---

[1] По украинскому обычаю, невеста, не желающая выходить замуж за немилого, во время сватовства вместо платка и рушника подает ему «гарбуз», то есть тыкву.

бил нашу заставу из села Хочин. На ночь мы разработали план боя на уничтожение хочинского гарнизона. Я с четырьмя ротами должен был нанести немцам основной удар с севера. Другая группа во главе с Ковпаком пошла в обход с востока. Сабуров обещал бросить один отряд с юга. Мы вышли из села, перешли вброд ручей, прошли большую половину лесной поляны. В это время у Цымбала, командира второй роты, сломалась повозка под боеприпасами. Народ столпился вокруг нее и стал перегружать боеприпасы на другую. Я бросил на повозку мешавшие мне полевую сумку и автомат, взял четырех местных крестьян, бывших у нас проводниками, и пошел с ними в лес, начинавшийся у дороги. Пройдя метров двести, услышал по шуму, что колонна двинулась, и вышел на другую, меньшую полянку, прилегавшую слева к дороге. Оглянувшись, увидел в свете луны голову колонны, показавшуюся на другом конце полянки. Что-то спросил у проводника и вошел в лес. В этот миг слева и сзади ударили сразу два ручных пулемета. Трассирующие пули, осветившие меня и ближайшие кусты, указывали, что противник находился шагах в десяти от меня. Инстинктивно схватившись за плечо, я вспомнил, что автомата со мной нет. Голова колонны шарахнулась вправо. Затрещали елки. Это мои проводники улепетывали со всех ног в лес.

Я шагнул в сторону и, спрятавшись за небольшой елью, соображал, что же делать дальше.

Мы только что выступили из своего села и шли, не соблюдая мер предосторожности. Немцы же, выслав против нас свой авангард, уже приближались к нам и поэтому шли тихо и осторожно, — вот почему они и обнаружили нас на несколько секунд раньше. Их авангард столкнулся с нами и первым открыл огонь, предрешая этим свой перевес на первом этапе ночного встречного боя. Я стоял почти рядом с немецкими пулеметами и ничего не мог поделать. В мою сторону никто не стрелял, и я, уныло повернувшись тихо побрел лесом, проклиная себя за оплошность.

Я думал о том, что командиру в таком положении полагается пустить себе пулю в лоб. Но пули мои остались на повозке, а повозка чорт знает где...

Так я добрел до первой группы бойцов, которые под деревом перевязывали ногу Нине Созиной. Она только что успела оправиться после лельчицкого ранения, и ее ранило снова. Здесь же стояла злополучная повозка, а в ней лежали два ручных пулемета и мой автомат. Быстро выяснив положение, мы немного отошли назад и заняли оборону. Бой вели целые сутки. Затем, по приказу Руднева и Ковпака, отошли из Глушкевичей на север.

Это было 18 декабря 1942 года. Провоевав в тылу у противника еще около двух лет, я никогда нигде не оставлял своего оружия, зная, что такое счастье, как случай на поляне под Хочином, выпадает человеку только раз в жизни. Может быть, я крепко запомнил этот казус еще и потому, что Руднев долго меня «воспитывал», ехидно напоминая об автомате, оставленном на повозке перед боем.

XIX

В первую ночь после боя в Глушкевичах, перейдя село Прибыловичи, мы оставили то озеро, на котором Ковпак пытался организовать самолетную посадочную площадку для вывоза раненых. За время рейда из Брянских лесов на правый берег Днепра и Припяти раненых у нас накопилось порядочно, к тому же надо было получить боеприпасы, которых тоже оставалось маловато.

В середине ночи мы подошли головной колонной к большому селу Бухча. Здесь находились лесничество и лесной комбинат. На окраине Бухчи был небольшой поселок с каменными зданиями и солидными деревянными строениями: школа-десятилетка, лесничество, много больших сараев и главная улица — мощеная и с тротуарами. Эта часть деревни выросла в производственный поселок.

Разведка, которую мы выслали накануне по предполагаемому пути следования, вернувшись вечером, доложила, что Бухча свободна, и поэтому наш ночной маршрут был проложен через нее. Но когда вторая маршрутная разведка, идущая впереди колонны, вошла в село, она доложила, что Бухча занята противником. Вечером же, после нашего разведывания, в село въехала немецкая колонна. Крестьяне крайних хат точно не знали количества прибывших немцев, но говорили, что подводы ехали по улице довольно долго, и смельчаки насчитали их не менее сотни. Немцы расположились в школе и в каменных и деревянных зданиях вокруг нее.

Горкунов, помощник начальника штаба по разведке, сам побывал на краю села и, возбужденный, вернувшись вместе с разведчиками, доложил командиру и комиссару обстановку. Он лихо козырнул и попросил командира поручить ему дело по разгрому вражеского бухчинского гарнизона. Я лежал в это время на лафете нашей пушки, и меня сильно клонило ко сну, так как в предыдущих боях в течение трех суток я не спал. Кроме того, настроение у меня было неважное, потому что именно в этот вечер Руднев все время издевался надо мной за то, что я в хочинском бою участвовал без автомата, оставив его на повозке.

Горкунов был любимцем Руднева. Его биография и приход в отряд очень интересны.

Зимой 1941/42 года Ковпак и Руднев совершали свой первый рейд по Сумской области. Стояли жестокие морозы. Тогда еще небольшая — в несколько сот человек — партизанская группа, руководимая Ковпаком, еще только нащупывавшая рейдовый метод партизанской борьбы, однажды с ходу заняла село в степи. На перекрестках дорог были выставлены заставы. На одну из таких застав и напоролся бывший лейтенант Красной Армии Горкунов. Он был ранен на правобережье Украины, попал в окружение и в плен. Затем ему удалось бежать, достать липовые немецкие документы и штатскую одежду. С ними он пробирался на восток, стремясь, перейти фронт.

Фронт был уже далеко от Сумской области, и немцы устанавливали здесь свой «новый порядок». Во многих селах они организовали полицию. Правда, среди крестьян ходили слухи о партизанах, но никто толком о них ничего не знал. Для того чтобы проходить через все полицейские заставы, караулы и посты, установленные гитлеровцами в каждом селе, Горкунов придумал себе вымышленную биографию, подкрепив ее соответствующими документами. Он выдавал себя за купца, доставал какой-то товар, а в удостоверении было сказано, что он направляется на восток по своим коммерческим делам. Так от села к селу Горкунов пробирался к фронту, пока его не задержала наша застава.

Командир заставы посмотрел документы и, ничего не расспрашивая, сказал бойцу:

— Ладно, чего с ним разбираться, веди его в штаб.

В штабе сидела группа партизан. Горкунов зашел, скинул шапку и громко отрапортовал:

— Здравия желаю, господа полицейские!

— Здравствуй, — не поднимая головы, ответил черноусый человек, склонившись над бумагой. Рядом с ним сидел другой и печатал на машинке. Отложив бумагу в сторону, черноусый стал задавать приведенному вопросы. Горкунов хорошо затвердил свою уже не раз рассказанную «биографию», он затараторил ее быстро, весело, с уверенностью и убедительностью. Он рассказывал, как хороший актер. В этом рассказе, как в заправском драматическом монологе, было все рассчитано и проверено. Вначале он должен был разжалобить слушателя, говоря о тех переживаниях, которые он, как сын кулака, испытал за последние годы жизни при советской власти. Затем рассказал о том, как он был на Соловках, как бежал оттуда. Нужно было еще вызвать у слушателей-полицейских набранных немцами из уголовников и всяких сомнительных элементов, ненависть к большевикам, затем отпустить пару шуточек, чтобы показать, как он «водил за нос» командиров Красной Армии, своими действиями помогая немцам.

Человек, сидевший за машинкой, перестал печатать и стал с интересом прислушиваться. Из соседней комнаты тоже показались какие-то лица. Горкунов почувствовал себя в зените своего актерского успеха. «Ну вот, кажется, и этих провел», — подумал он и поставил точку.

— Все? — спросил черноусый, поднимаясь из-за стола.

Горкунов утвердительно мотнул головой и вынул из кармана объемистый кисет, доверху набитый махоркой.

На плечи черноусого поверх защитной гимнастерки, подпоясанной военным ремнем, была накинута шуба. Горкунов заметил, что такие ремни носили и полицейские, но у черноусого была пряжка со звездой. Он еще во время рассказа обратил на это внимание, но решил, что, видно, тот не успел ее сбить. Вдруг от резкого движения черноусого шуба сползла у него с одного плеча и на гимнастерке блеснул орден Красной Звезды. Горкунов от неожиданности даже присел на лавку. «Влип, ох, влип!..» — подумал он. Черноусый вышел из-за стола и подошел к «купцу» вплотную. Горкунов встал и вытянулся.

— Все? — спросил черноусый.

Горкунов молчал. Да и что он мог говорить в такой момент? Партизаны за столом загалдели. Послышались слова: «Товарищ комиссар!»

Горкунову стало ясно, куда он попал.

Черноусый стоял и смотрел на него.

— Ну, что еще можешь рассказать?.. — спросил он, пристально глядя ему в глаза, и добавил: — Сукин сын...

— Братцы, господа, то есть товарищи... — начал Горкунов.

— Ладно, знаем, — оборвал его Руднев, — это был он, — и крикнул в соседнюю комнату: — Дежурный, уведи этого типа в караульное помещение!

Горкунов вошел в караулку, лег на нары, закинул руки под голову и, безразлично глядя в потолок, мучительно гадал: «Расстреляют или не расстреляют?»

Он не успел в штабе никого угостить табаком. Сейчас к нему заходили партизаны и, закурив, выходили снова. А двое задержались в караульном помещении и уселись на лавку напротив Горкунова. Один из них, парнишка лет семнадцати, с черными густыми бровями, болтая ногами, в упор, с мальчишеской наглостью смотрел на белые чесанки Горкунова и, явно издеваясь над ним, говорил:

— Хорошие валенки у «купца». — И, подмигнув товарищу, усатому человеку, которого он называл Сашкой, продолжал: — Подойдут, а? Как думаешь? — и хлопал себя по икрам.

— Можно примерить, Радик, — ласково посоветовал усатый Саша.

— Ну, ладно, — издевался мальчишка, — примерим, когда будем его... — и он выразительно щелкнул языком.

«Расстреляют», — с тоской подумал Горкунов. Он порывисто встал и подошел к ним. Усатый расстегнул кобуру.

— Ну-ну, ты потише! — угрожающе сказал он.

Мальчишка продолжал болтать ногами, не отрывая любопытных глаз от Горкунова.

— А ведь военный человек, — заметил он Сашке. — Ишь, вытягивается как: руки по швам держит. Вот только у немцев в плену не был. Немцы пленных совсем другую стойку «смирно» учат делать.

Горкунов ухватился за это замечание и, присев рядом с мальчиком, стал торопливо и горячо, боясь, что ему не дадут договорить, рассказывать о себе всю правду. Рассказал о том, что он лейтенант Красной Армии, о том, как трудно ему приходилось во вражеском окружении, что он переживал. Мальчик с увлечением слушал. Казалось, он уже готов был поверить рассказу, но потом, спохватившись, иронически, недоверчиво улыбался и небрежно цедил:

— Валяй, валяй!

В это время на улице неожиданно затрещала пулеметная очередь, за ней — другая. Послышалось характерное кваканье немецкого миномета. Затем

наступило маленькое затишье, и опять вспыхнула перестрелка. Партизаны стремглав высыпали на улицу. Через минуту Горкунов вышел за ними. Часового у крыльца не было. По улице бегали люди, во дворах запрягали лошадей. Бой разгорался.

Горкунов посмотрел на огород... за ним чистое поле и дальше кусты. «Самый подходящий момент удрать», — подумал он и медленно пошел по огороду. Затем остановился. Ему было ясно, что он попал к партизанам, и к партизанам необычным. Вблизи больших лесов не было, а эти партизаны стояли в селе.

«Видно, отчаянная публика собралась. Да, неладно я к ним попал», — рассуждал он, шагая по огороду. Потом остановился и стал завертывать цыгарку. «Эх, была не была, — решил он. — Расстреляют так расстреляют! Лучше уж от своих погибнуть...» — и повернул обратно.

Горкунов подошел к обозу, который выстроился вдоль улицы. На одних санях, покрытых брезентом, лежало оружие: несколько ручных пулеметов, винтовки. Он подбежал к ездовому:

— Слушай, парень, дай винтовку.

Тот поглядел на него и спросил:

— Что, небось, убежал из боя? Винтовку потерял, а теперь я тебе давай. А ты ее завоевал, шляпа? — но, заметив в зубах Горкунова цыгарку, глотнул слюну и уже милостиво добавил: — А «сорок» дашь?

Горкунов с готовностью вынул кисет и высыпал в пригоршню ездовому почти весь табак.

— Ладно, выбирай, какая понравится, — предложил удивленный ездовой и гостеприимно распахнул брезент.

— А патроны у тебя есть? — спросил он. Горкунов пожал плечами. — Ну, что ж, бери немецкую, — говорил ездовой, смачно затягиваясь. — Для начала я тебе обойму патронов дам, а остальное уж от тебя зависит... горе-вояка.

Горкунов схватил обойму, зарядил винтовку и побежал на выстрелы. Он выбежал на окраину села, залег и стал стрелять на выбор. В Красной Армии

он считался отличным стрелком, но первые два патрона промазал, так как сильно волновался, да и винтовка для него была непривычная. Немцы в это время поднялись в атаку. Позади партизан раздалась команда:

— Не стрелять! Подпускать ближе! Бить только в упор!

Подпустив немцев шагов на двадцать, партизаны ударили сразу, залпами и очередями, а затем пошли в контратаку. С ними бросился и Горкунов.

В этом бою он добыл себе гранаты, патроны и, удовлетворенный, возвращался с боя прямо к штабу, закинув за плечи немецкий карабин. А возле штаба в это время Руднев распекал дежурного за то, что он упустил арестованного, пытаясь добиться, когда именно тот убежал: во время боя или до него. У комиссара было подозрение, что Горкунов, удрав, привел немцев на место стоянки партизан. Арестованный с карабином за плечами в это время весело подошел к Рудневу, встал по команде «смирно» и спросил:

— Что прикажете делать дальше?

Мимо проходила, возвращаясь из боя, группа партизан. Один из них сказал, обращаясь к товарищу:

— А ничего новичок воюет. Смело. Немного зарывается вперед, но воюет хорошо, стреляет метко...

Услышав это, комиссар подозвал бойца, отвел его в сторону и стал расспрашивать. Тот рассказал, что видел нового партизана в бою. Комиссар подошел к Горкунову и приказал ему следовать за собой в штаб. Там сидел и молодой парнишка, называвший черноусого комиссара отцом. Это был Радик, сын Руднева.

Горкунов, торопясь и очень волнуясь, быстро повторил свой, уже настоящий, рассказ комиссару. Тот сидел, задумчиво теребя ус. А потом вызвал командира шестой роты:

— Получай нового партизана.

Командир с Горкуновым вышли. Комиссар походил по хате, подумал и сказал сыну:

— Радик, займись Горкуновым. Похоже, правду говорит человек, но, может быть, и врет.

Радик часто заходил в шестую роту к новому партизану. Иногда во время движения колонны подсаживал его к себе на санки. Горкунов был хорошим разведчиком. Он десятки раз отличался в боях, показал прекрасное знание военного дела и постепенно стал командиром разведки. В рейде из Брянских лесов на правобережье Украины его уже назначили помощником начальника штаба по разведке.

Итак, Горкунов стоял теперь перед комиссаром и просил поручить ему руководство боем по разгрому немецкого гарнизона в Бухче. В нескольких словах наметив план операции, комиссар вызвал командиров рот, которые подчинялись в этом бою Горкунову, и поставил перед ними задачу. Командиры отошли в сторону, обсуждая с Горкуновым детали. Я уснул, лежа на лафете.

Бой начался. Начался он не так, как хотелось комиссару и Горкунову. Переборщили разведчики. Трое из них, самые отчаянные — Федя Мычко, Митя Черемушкин и Гомозов, вырвались раньше времени вперед, незамеченными подошли к самой школе, но снять часового без шума не сумели. Часовой успел выстрелить, но тут же свалился под автоматной очередью. Разведчики залегли в канаву прямо против дверей школы. Из школы стали выбегать немцы, и разведчики в упор били их. Уложили несколько десятков. Но вскоре патроны кончились, и разведчикам пришлось отползти. Пока к месту стрельбы подошли роты, которые должны были завязать бой и с ходу разгромить вражеский гарнизон, немцы успели занять оборону. Она у них, видимо, была продумана заранее. На всех каменных зданиях по углам были поставлены пулеметы, в школьном дворе — миномет. Нужно было брать дом за домом. Бой затянулся до утра.

Бои, как и люди, бывают разные. Есть бои светлые, есть хмурые. Бывают бои нудные и тяжелые, как жизнь старика-вдовца, отягощенная застарелым ревматизмом. Бывают бои-пятиминутки, как быстрая летняя гроза. Каждый бой имеет свое лицо, свои

особенности, свои неповторимые подробности, которые запоминаешь на всю жизнь, если ты воин и в бою думал о победе над врагом, а не лежал, уткнувшись рылом в землю, дрожа за свою шкуру.

На рассвете Ковпак приказал выдвинуть пушки и прямой наводкой разбивать здания. Включился в бой и я с Павловским.

Павловский — старый черниговский партизан гражданской войны, комиссар полка времен Щорса, еще в девятнадцатом году получивший боевой орден Красного Знамени, — остался в тылу у немцев и был у Ковпака помощником по хозяйственной части. Как хозяйственник отличался чудовищной скупостью, но в боях был исключительно смел и проявлял боевой опыт и командирский талант.

Павловский пошел на один фланг, я — на другой, где и встретился с Горкуновым. Быстро узнав и оценив обстановку, мы прямой наводкой из пушки стали разбивать здания. Нам удалось зажечь школу. Немцы страшно кричали, но горящее здание все-таки не дало нам возможности прорваться вперед. За школой был еще каменный дом, откуда били немцы, оставшиеся в укрытиях. В одном из больших дворов стоял немецкий обоз, состоявший из сотни повозок и лошадей. Истошно выли догоравшие в школе немцы. Бой все затягивался. Немцы бросали сигнальные ракеты, вызывая помощь со стороны Сарн через Дзержинск, откуда с минуту на минуту могли подойти подкрепления.

Ковпак выдвинул туда четвертый батальон с задачей перекрыть дорогу на Дзержинск и дать бой подкреплению противника.

Между тем сражение становилось все ожесточеннее. Немцы несли большие потери, но потери были и у нас. Во второй половине дня, увлекшись, мы столпились в одном дворе, у которого стояла наша пушка, стрелявшая прямой наводкой. Там были Горкунов, Павловский, командир конной разведки Миша Федоренко, несколько конных разведчиков и я — всего человек около пятнадцати. В этот момент прямо в

гущу людей попала немецкая мина. Ею сразу были выведены из строя восемь человек, в том числе Горкунов и Федоренко. Все были ранены в ноги, так как мина разорвалась очень близко. Минометчик пристрелял это место и не давал нам подойти близко. Похоже было на то, что противник пытается контратаковать нас. Впереди не было пехоты. Пушка стояла только со своим расчетом. Она могла остаться в руках у немцев.

Я подполз к Горкунову и старался перевязать ему рану. В это время из-за угла сарая мне крикнул Павловский:

— Вершигора, надо пушку выволакивать. Если пушку немцам отдадим, знаешь, что нам от Ковпака будет?

— Гони расчет сюда! — крикнул я в ответ, а сам, прежде чем немецкий пулеметчик успел открыть огонь, перебежал через дорогу и, обогнув огород, выбежал к ездовым пушки, стоявшим под прикрытием сарая. Разобрав забор, мы галопом подкатили во двор, подцепили пушку и вдвоем с Павловским, не обращая внимания на стоны и крики Горкунова, положили его на лафет. Туда же положили и Мишу и так же на галопе выскочили из угрожаемого места.

В это время с другого конца села, с нагайкой в руках, бежал Ковпак. Полы его шубы развевались. За ним, еле поспевая, бежал Карпенко с третьей ротой. Карпенко, догнав Ковпака, схватил его за воротник и зашептал ему так, чтобы не слышали бойцы:

— Куда ты лезешь, старый хрен? И без тебя воевать есть кому.

Ковпак что-то ответил. Карпенко, пропустив мимо себя роту, строго бросил ему: «Смотри, чтобы такие штучки больше не повторялись. Береги себя!» — И бросился догонять роту. Рота быстро восстановила положение, но все-таки выбить немцев из каменных зданий мы не могли. Две наши полковые пушки не пробивали толстых каменных стен, и хотя немцев осталось там, может быть, и очень мало, но взять их было невозможно. Потери наши все возрастали. Ясно

было, что вести людей по открытой местности на пулеметы, укрытые за каменными стенами, бессмысленно.

В это время слева, на лесной дороге разгорался бой. В сражение включился наш четвертый батальон. Со стороны немцев заработала артиллерия, били минометы, рвались ручные гранаты, огневым шквалом отвечали партизанские автоматы, и опытное ухо улавливало, что бой там идет ожесточенный.

Вечерело. Командование собралось на опушке леса. Разведчики, посланные во все стороны, доложили, что нашли дорогу через болото, в обход Бухчи. Ясно было, что к следующему дню немцы подтянут сюда резервы и бить в лоб на Бухчу не стоило.

Проведя обоз через болото, мы к рассвету добрались до местечка Тонеж и заняли его двумя батальонами. Штаб разместился в двух километрах восточнее Тонежа, в селе Иванова Слобода.

Подсчитав свои потери, мы установили, что одних раненых у нас сорок семь человек. Среди них: помощник начальника штаба соединения по разведке Горкунов, командир отряда Кудрявский, начальник конной разведки Миша Федоренко и многие другие боевые друзья. Немцам это стоило, по предварительным данным, не менее двухсот человек убитыми, но, как мы узнали, вернувшись в эти места через год, после Карпат, потери их были значительно больше. Все-таки по нашим потерям этот бой мы считали крупной неудачей.

Кстати, о потерях: как правило, потери противника, указываемые штабом Ковпака непосредственно после боя, при последующей проверке подтверждались и оказывались почти всегда уменьшенными. Установить потери в открытом бою можно только путем опроса бойцов, участвовавших в нем, командиров, путем донесений и рапортов и донесений снизу вверх: командир отделения докладывал командиру взвода, командир взвода — командиру роты, командир роты — командиру батальона, а тот — штабу соединения. Ковпак всегда боролся против дутых цифр. Он всегда, если только представлялась возможность, проверял эти

данные разведкой. Он знал, за кем из командиров водится скверная страстишка преувеличивать. Поэтому часто в рапортах, не имея точных данных, он делал скидку на увлекающуюся натуру командира. Кроме того, он лично опрашивал бойцов, проверяя таким образом сообщенные ему цифры.

Зайдет к бойцам, поговорит с ними, а потом вызовет, допустим, Кульбаку, командира Глуховского партизанского отряда, считавшегося у нас командиром второго стрелкового батальона, и тихонько ему скажет:

— Вот ты тут рапорт написал. Забери его назад. И никогда больше так не пиши.

Если командир начнет доказывать, дед свирепеет и орет:

— Вот не люблю брехни! Бойцы только что мне рассказывали. Вот там у тебя было трое убитых, там вы взяли пулемет, там столько-то винтовок. Чего же ты пишешь? Чего же ты брешешь? Кого ты обманываешь?

Пристыженный командир уходит и переписывает рапорт заново.

XX

В местечке Тонеж мы стояли последние несколько дней 1942 года. Бои в Глушкевичах 16—20 декабря и в Бухче — 21 декабря показали командованию немецкой группировки, что в нашем лице оно имеет серьезного, настойчивого и злого противника. Мы отходили на север, прикрываясь все время сильными арьергардами. Мы думали, что противник попытается нас преследовать, но, к нашему удивлению, этого не случилось. Очевидно, противник считал наш маневр попыткой затянуть его в глубь лесных районов. А может быть, потери немцев в Глушкевичах и Бухче не дали им возможности сразу перейти к преследованию. Похоже было, что немецкое командование отвязалось от нас, и возмездие за Лельчицы, «Сарнский крест»

и другие «пакости», которые партизаны причинили немцам, ограничилось только боями в Глушкевичах и Бухче. Партизаны отдохнули после боев, начали поправляться и раненые. О них особенно беспокоился Руднев.

В рейдовом отряде проблема раненых всегда является, пожалуй, самой сложной и трудной проблемой. Отряд вынужден все время двигаться. Оставлять раненых другим отрядам не совсем честно, да и не всегда есть эти отряды поблизости. Мы, как правило, ходили по местам, еще не освоенным партизанами, по «краям непуганых фрицев», как мы шутя называли эти места. Бросать раненых нам казалось недопустимым. Это могло повредить самой организации и повышению боевой дисциплины. В истории соединения Ковпака только однажды мы были вынуждены оставить раненых. Дело было в Карпатах, когда в двухмесячных беспрерывных сражениях мы потеряли весь обоз. Там каждый новый раненый, по существу, выводил из строя до десятка здоровых бойцов, которые должны были нести его на руках. Сами раненые просили пристрелить их, так как они видели, какой обузой они являются для товарищей. Но мы понимали, что на такую крайнюю меру, даже в нашем безвыходном положении, все-таки нельзя итти не только ради самих раненых, а еще больше ради живых и здоровых. Но все же мы были вынуждены оставлять раненых у населения. Это — законное явление, и мне кажется, что комиссар Руднев в этом вопросе, как и во многих других, проявил себя очень умным партизанским комиссаром. Половину своего времени он отдавал раненым бойцам. За время партизанской войны он приобрел опыт врача. Он знал течение и ход многих болезней, умел определить ранение, его характер, опасность его для жизни.

Помню, еще в начале Сталинского рейда, осенью 1942 года, на подходах к Днепру мое внимание привлек один смертельно раненный пожилой партизан. Он лежал на телеге лицом вверх и, не шевелясь, смотрел туда, где сквозь верхушки сосен синело

осеннее небо. Он был ранен в мозг навылет. Дни его были сочтены. Простреленный аппарат мысли создавал причудливые кружева из ругани и нежных слов. Он бредил иногда глупо и бессвязно, а часто остроумно и весело. На марше, обессиленный тряской, терял сознание, затем, очнувшись, хватался за горевшую жаром голову и громко звал комиссара, нежно матюкаясь.

Передышка, которую мы получили в Тонеже и Ивановой Слободе, дала нам возможность восстановить наши силы. Она особенно была необходима раненым, для которых тряская перевозка по лесам, по кочковатым дорогам была очень мучительна и опасна. Раненых у нас в то время насчитывалось уже около двухсот. Те из них, которых мы привезли с собой из-под Брянска, с боев на Днепре и в Лельчицах, постепенно выздоравливали. Но больше пятидесяти партизан было ранено в двух последних боях — в Глушкевичах и Бухче.

В Тонеже и Ивановой Слободе к нам пришло пополнение. Пришли в партизаны многие местные жители; пристали в пути застрявшие в этих лесах бойцы и командиры Красной Армии.

В Тонеже произошел один комический боевой эпизод. Ожидая противника с юго-востока и с запада, мы почему-то забыли о севере. Из Тонежа идет широкий тракт на Туров, городок, расположенный на Припяти. В Турове моста через Припять не было, и нашему штабу казалось, что оттуда противник не может вести против нас наступление. Кроме того, имелись сведения о том, что противник потерял нас из виду и точно не знает, где мы находимся. Шли пятые или шестые сутки нашей стоянки — это было под вечер 30 декабря 1942 года. Новый год мы предполагали встретить на марше, поэтому решили на скорую руку по-походному отметить его за день раньше в Ивановой Слободе. Мы сидели в этот момент в штабной столовой, и Ковпак только собирался выпить чарку, но остановился, услыхав пулеметные очереди.

— Це що таке? — спросил Ковпак. — Кто мешает

праздник встречать? Нимци, щоб я вмер, нимци поздравлять прийшлы. Ну що ж, — чокнемось.

Старик выпил чарку, крякнул и сказал:

— Пишлы колядныкив калачами угощать!..

В этот момент примчался галопом обратно в Иванову Слободу связной одного из батальонов, стоящих в Тонеже, отвозивший приказание штаба, и доложил командиру и начальнику штаба о том, что между Ивановой Слободой и Тонежем движется большой обоз. По всему было видно, что это немцы. Они заметили связного, когда он уже скакал обратно, и выпустили по нему несколько очередей. В Тонеже уже шел бой. Ковпак выдвинул одну роту из Ивановой Слободы, а другую послал наперерез на тракт Туров — Тонеж для того, чтобы перехватить немцев или не дать подойти новым силам. Откуда здесь взялись немцы, казалось непонятным, но факт был налицо. Оказалось, что батальон немцев въехал головной колонной прямо в расположение наших двух батальонов в Тонеже. Десятая рота, которую выслал Ковпак, подошла к этой части Тонежа как раз в то время, когда на улицах разгорался бой, а обоз остановился в лесу и разворачивался, чтобы ехать обратно. Рота ударила в хвост по обозу. У немцев поднялась паника, но уже вечерело, и немцы, воспользовавшись сумерками, разбежались по лесу, оставив большое число убитых и много повозок. Целую ночь шла перестрелка, но боясь в темноте постреллять своих, Ковпак не бросил роты в бой. Действовали только отдельные засады и разведчики.

На рассвете рота Карпенко пошла в сторону от дороги, в лес, по многочисленным следам. Лес представлял собою как бы своеобразную запись, протокол боя. Всюду валялись убитые, раненые, вокруг были разбросаны немецкие ранцы, эрзац-валенки, котелки, бегали разнузданные верховые кони со сбившимися под пузо седлами. В кустах густо стояли пароконные телеги, и лошади, запутавшиеся сбруей в кустах, испуганно храпели. Там же мы нашли одно орудие и два миномета — почти все тяжелое оружие немец-

кого батальона. Позже была найдена полевая сумка командира батальона, майора Штиффеля. В ней мы обнаружили приказ, раскрывавший нам неясную до того картину: «Майору Штиффелю. Вам к 23.00 30.XII—42 г. выйти на северную окраину с. Бухчи, в 00 часов 00 минут 31 декабря внезапным ударом разгромить банду партизан. Затем прочесать лес вокруг Тонежа. При выполнении задачи учитывать, что с запада, юга и востока партизаны окружены батальонами 417, 231, 232, 233, 105».

Писавший приказ явно не разбирался, с каким противником он имеет дело, и батальон, вместо того чтобы захватить нас, сам попал к нам в руки, но из-за ночного времени мы не могли использовать это преимущество полностью. Паника у немцев была страшная. Потеряли они около половины своего состава, но разгромить и уничтожить батальон целиком нам не удалось, так как немцы разбежались быстрее, чем мы успели нанести им окончательный удар и организовать погоню.

Через несколько дней, выйдя под Туров и Давид-Городок, мы увидели, что удиравший батальон не был боеспособным, так как остатки его солдат только сейчас стали собираться в Турове. Вид у них был сильно потрепанный: кто без пилотки, кто в одном сапоге, кто без винтовки. Добравшись до села, немцы плакали, просили крестьян дать им хоть кусочек хлеба. Батальон, очевидно, был совершенно не приспособлен для борьбы с партизанами, а тот, кто ставил им боевую задачу, тоже ничего не понимал в этом деле.

Когда в штабе переводчик читал нам захваченный приказ и дошел до того места, где майору Штиффелю приказывалось разгромить партизан в Бухче, Ковпак сидел, хмурился, пощипывал бородку и шепотком ругался. Но когда переводчик дошел до параграфа, который гласил: «после уничтожения банды майору Штиффелю прочесать леса вокруг указанного района», Ковпак откинулся на спинку стула и засмеялся. Переводчик остановился, недоуменно глядя на командира.

Ковпак, захлебываясь от смеха, долго ничего не мог произнести. Наконец он выдавил:

— Оце прочесав, ох, и прочесав же...

Действительно, уже вторые сутки наши бойцы вытаскивали немцев, застрявших при «прочесывании» тонежского леса, и их барахло, разбросанное по лесу. Шутка Ковпака быстро разнеслась по отряду, и ребята долго вспоминали майора Штиффеля, «прочесавшего» тонежские леса.

XXI

Мы вышли из Тонежа с намерением пройти на север в поисках площадки для посадки самолетов, в которой мы остро нуждались. В районе Пинских болот и громадных лесных массивов ледяное поле озера было единственным ровным местом, способным принять огромные машины, летящие к нам прямо из Москвы. В ночь на 1 января 1943 года мы остановились на трактовой дороге Туров — Давид-Городок, в селе Ольшаны и других селах.

У Ковпака была мысль пощупать Давид-Городок, так как у нас, долго просидевших после Лельчиц в лесных районах, кончился табак, соль, сахар и другие необходимые продукты. В Давид-Городке у немцев, по предварительным данным, все это имелось в изобилии. Дело испортил Михаил Кузьмич Семенистый, тот самый четырнадцатилетний разведчик, который босиком пришел к Ковпаку еще в Сумской области. К этому времени мальчик стал опытным воякой, лихим разведчиком, пронырливым и смелым. Он безустали шнырял по колонне и впереди нее, состоя связным конной разведки при самом командире. Обычно он первым заскакивал в село и к моменту подхода головы колонны успевал доложить командиру, комиссару или мне, где можно разместиться, что слышно о противнике, как живут люди, есть ли в селе больные тифом и другие нужные нам сведения.

В Ольшаны Михаил Кузьмич тоже ворвался раньше всех. Староста успел спрятаться. Привязав лошадь у ворот сельской управы, Кузьмич вошел в контору. На стене висел телефон. Паренек заинтересовался несуразно большой коробкой сельского телефона. Покрутил ручку, снял трубку. Ему ответил голос телефонистки:

— Давид-Городок. Кого вам надо?

Кузьмич на секунду задумался, а затем сказал задорно:

— А ну-ка, барышня, дай мне гестапо.

Гестапо ответило, и Семенистый с переводчиком гестапо затеял «милый» разговор». Семенистый напомнил гестаповцам, что сегодня канун нового, 1943, года, и обещал им, что придет сам лично с теплой компанией выпить чарку водки. Лихой разведчик просил приготовить соответствующую закуску. И когда гестаповец спросил, с кем он разговаривает, мальчик, важно подбоченясь и подражая Ковпаку, ответил:

— С кем говоришь, интересуешься? — и, откашлявшись, брякнул в трубку: — Сам хозяин здешних лесов с тобой говорит, Ковпак. Слышал про такого? Ну, то-то! — и важно повесил трубку.

Я вошел в хату как раз в тот момент, когда он произносил последние слова.

Колонна уже втянулась в село, работали квартирьеры, шла расстановка подразделений. Штаб, разместившись в сельской управе, начал свою работу. Зашли Ковпак и Семен Васильевич. Вместе с Базымой и со мной стали обсуждать, стоит ли ночью итти в боевую операцию на Давид-Городок, или нет. Комиссар склонялся к тому, чтобы двигаться без остановки на север и скорее оборудовать аэродром для приема самолетов. Ковпак хотел «пощупать» Давид-Городок. Я не обратил раньше особого внимания на разговор Семенистого по телефону, но тут вспомнил о нем и рассказал Ковпаку. Дед рассвирепел и приказал вызвать разведчика. Он долго расспрашивал его и ругал, а затем обрушился на меня. Дейст-

вительно, этот разговор срывал все планы командира. А, видимо, Ковпаку сильно хотелось выпить новогоднюю чарку из погребов Давид-Городка. По существу, немцы были предупреждены о нашей близости, и сам того не понимая, мальчишка разболтал наши планы. От замысла пришлось отказаться, и новогоднюю ночь мы провели на марше. На рассвете мы вышли на Припять, а затем, перейдя железную дорогу Калинковичи — Лунинец, очутились в районе Князь-озера.

Однако, как мы узнали через месяц, гестаповцы так перепугались телефонного разговора с Семенистым, а может быть, и дополнительных данных о наших силах, полученных к тому времени от бежавшего старосты, что действительно в новогоднюю ночь они оставили большую часть Давид-Городка, перебравшись на другой берег реки Горынь. Гитлеровцы были уверены, что мы приведем свою угрозу в исполнение и займем Давид-Городок. Мост через Горынь в Давид-Городке был ими заминирован, и новогоднюю ночь они провели в обороне. Очевидно, мы не всегда в должной мере оценивали свои силы и тот страх, который внушали противнику. Многие возможности так и оставались не использованными нами.

1 января 1943 года мы форсировали Припять. Отягощенные ранеными, вышли на север к большому озеру Червонному, или Князь-озеру, как называли его местные жители.

На льду этого озера мы решили принимать самолеты.

Здесь закончился большой рейд, названный партизанами Ковпака Сталинским, — по имени человека, вдохновившего их на этот славный боевой подвиг.

За три с лишним месяца наш отряд прошел тысячу шестьсот километров, от Брянских лесов к северу Украины, Киевскую и Житомирскую области и на Полесье.

В эти дни далеко на востоке, на берегах Волги, предрешалась судьба войны. Но и здесь, в глубоком тылу врага, за тысячу километров от Волги, мы ощу-

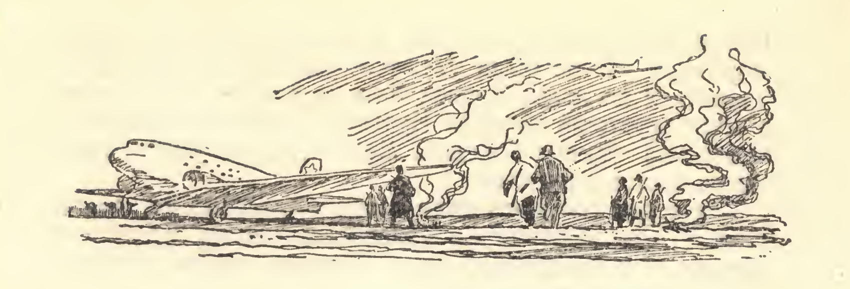
щали горячее дыхание Сталинграда. Впереди была неизвестность. Мы не предполагали, что предстоят еще два года войны и четыре рейда: на Украину, на Карпаты, в Польшу, Белоруссию и еще долгий и славный, богатый приключениями путь в десять тысяч километров по тылам врага.

Но об этих рейдах разговор впереди.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ





I

1 января 1943 года соединение партизанских отрядов под командованием Ковпака вышло к Припяти. Теперь мы подошли к ней с юга. Несколько немецких батальонов было брошено на нас в отместку за «Сарнский крест» — одновременный взрыв пяти мостов на железных дорогах, ведущих к крупному узлу Сарны, — и за другие мелкие «ремонтные» работы на коммуникационных путях противника.

Вся вторая половина декабря прошла в боях с карательными батальонами, а к исходу декабря мы отступили, огрызаясь, в глубь лесов и подошли к этому болотистому и многоводному притоку Днепра.

Новогоднюю ночь отряды провели в селах, расположенных по тракту между городишками Туров и Давид-Городок, ожидая возвращения разведывательных групп, высланных мною на Припять для поисков переправы. Штаб расположился в селе Озданичи.

После декабрьской оттепели лишь два-три дня стояли морозы, и мы не были уверены, удастся ли нам переправиться по льду. Ковпак был не в духе, так как не в мѐру шустрый Михаил Кузьмич Семенистый сорвал набег на Давид-Городок. Дед ходил по ротам, проверял посты и ругался.

Разведку мы проводили особо тщательно не только потому, что двигались в неизвестный край, но еще и потому, что капризная река Припять могла сыграть с нами неприятную штуку.

Местные старожилы утверждали, что характер у Припяти своенравный и упрямый и что лишь первому осеннему морозцу капризная река поддается охотно, и он сразу сковывает ее в своих ледяных объятиях. Но стоит только ей раз оттаять, — а оттепели среди зимы тут обычное явление, — то и в самые сильные морозы она стоит незамерзшая. Если же и замерзает вторично, то не везде, и таит в себе полыньи, быстрины, покрытые тонким льдом и припорошенные снежком «обманы» — своеобразные водяные волчьи ямы. Что-то в этих стариковских приметах было похоже на правду. Действительно, еще в середине ноября, всего через семь дней после лоевской переправы на Днепре, мы подходили к финишу Сталинского рейда. Тогда мы форсировали Припять при первом морозе. По полосе льда в двести — триста метров шириной двигалась вся пехота и легкий обоз отрядов. Лед был тонкий и упругий, он прогибался, как рессорная сталь, но не ломался и даже не трещал, а удерживал на себе тяжесть пружинисто и эластично. На полкилометра ниже река еще была свободна от ледяного покрова, и работавший там паром хотя и был весь в сосульках, как святочный дед-мороз, но все же перевозил тяжести — пушки и повозки с боеприпасами.

Эту первую переправу через Припять мы прозвали «Ледовый чортов мост».

Сейчас предстояла вторая переправа через Припять, и хотя уже стоял январь, найти удобное место было нелегко. Старые полещуки из прибрежных сел,

знавшие хорошо свою реку, когда разведчики брали их проводниками, отрицательно мотали головами:

— Трудно дело. Сей год Припять дюже норовиста буде. Як дивчина у богатого хозяина.

И правда. Первая разведывательная группа лейтенанта Гапоненко в поисках переправы вышла на толстый и крепкий лед. Разведчики благополучно прошли через реку на северный берег, уверенные, что выполнили задание, а когда возвращались, — напоролись на «обман» и провалились под лед. Сам Гапоненко и лучший разведчик его группы, бывший фельдшер Землянко, или, как его все звали в тринадцатой роте, Антон Петрович, чуть не потонули. Их выручил Володя Лапин. Он догадался взять длинную жердину, бросил ее на лед и, удержавшись на ней сам, помог затем выбраться уже совсем выбившимся из сил товарищам.

Хлопцы приехали в задубевшей от мороза одежде и крепко ругались.

— Ведь вот какая река — всего на два метра в сторону от своего же следа взяли и еле живы остались. Выручили полицаи — встретили мы их под Давид-Городком. Полицаев побили, нашли у них на возу бутыль самогона и немного погрелись, — оживленно рассказывал Володя Лапин.

Я погнал связного разведчика в роту принести хлопцам запасную одежду, а сам сел побыстрее записать и отметить на карте результаты их разведки. Хлопцы сидели полуголые, полупьяные, жмурились на свет и тепло, шедшее от печки, и пока я отмечал на карте и в блокноте один пункт, успевали клюнуть носом. Затем просыпались и докладывали дальше. Обычно за нетрезвый вид при выполнении задания мы взыскивали очень строго, но тут я не мог сдержать улыбки, да и обстоятельства разрешали им это несоблюдение партизанской субординации.

Часам к десяти вечера собрались и остальные разведчики. Оказалось, что и им пришлось поплавать в ледяной воде. Решение на марш было принято: форсировать Припять возле хутора, где разведывал Га-

поненко. В полночь мы двинулись к норовистой реке. На ходу к основной колонне пристраивались батальоны и роты, стоявшие в заставах в окружных деревнях.

Марш предстоял очень длительный.

Я задержался в Озданичах, пропустив всю колонну, и догонял ее по следу, черневшему на фоне свежевыпавшего снега. Через полчаса догнал меня связной восьмой роты, мальчишка лет пятнадцати, Володя Шишов.

Хлопец этот давно привлекал мое внимание, но ближе с ним познакомиться я не успел. Одет он был всегда в красноармейскую шинель, сидевшую на нем ладно, но без мальчишеского форса; за плечами болтался мадьярский карабин, у пояса — наган в кобуре, им самим смастеренный из невыделанной свиной кожи. Особенного пристрастия к оружию — естественного в его возрасте — я за ним не замечал. Ездил он на небольшой лошади хорошо, но без той особой лихости, которая была присуща Семенистому, Ваньке Черняку, Вальке Николаеву и другим представителям юных партизан, исполнявших преимущественно обязанности связных.

Володя Шишов выделялся среди них сдержанностью и тихостью нрава. Белокурый, с неправильными крупными чертами некрасивого лица, с большим носом, он был тих и молчалив в обычное время. Одни лишь глаза, светлосерые, с едва заметной в ясные солнечные дни голубинкой, то задорные, то понимающе-печальные и часто суровые — много видевшие глаза взрослого, поражали, когда я ближе присматривался и узнавал этого человечину. На маршах, в походе голоса его не было слышно; при размещении отряда по квартирам, когда сновали по селу, как угорелые, Семенистый и Ванька Черняк, рьяно, шумно и гордо выполнявшие свои обязанности квартирьеров, Володя тихо проезжал по улице, встретив свою роту, разворачивал лошадь впереди и, тихо промолвив: «За мной», — шагом ехал к расположению, нагайкой указывая ездовым, кому где становиться.

Оживал он лишь в бою. Летал, как птица, от комроты к штабу и обратно с донесениями. Голос его звенел. Устные его доклады поражали меня своей ясностью, пониманием тактической обстановки, лаконичностью. В то время это был уже старый, заслуженный партизан, на груди блестел орден Красной Звезды.

Володя догнал меня и, не обгоняя, поехал рядом.

— Далеко колонна ушла, товарищ подполковник?

— Не знаю, хвоста пока не видно.

Володя подхлестнул свою лошадку, а затем, стараясь, чтобы я не заметил, подхлестывал под пузо моего конька. Мы проехали немного рысью. Володя, видимо, проверял мои кавалерийские способности. Лошадь моя, потерявшая подкову на передней ноге, часто спотыкалась на гладко укатанной обозом дороге, и я перевел ее на шаг.

Мне показалось при лунном свете, что парень хитро улыбался.

— Ты что же, дружище, не опасаешься по ночам один ездить?

— Почему один? Колонна впереди.

— А вдруг заблудишься?

— Ну, сейчас заблудиться невозможно. По следу хоть сто километров можно ехать... Вот летом хуже, сразу след не различишь по пыльной дороге.

— А не страшно одному?

— Чего же тут страшного? Страшно впереди, в разведке, когда неизвестно, что перед тобой делается. А там, где наш отряд прошел, уже ничего страшного не остается.

— А в бою?

— Чего в бою? — не поняв, спросил меня связной восьмой роты.

— В бою неужели не боишься? Говорят, ты под пулями лучше старых партизан ходишь.

— Нет, я под всякую пулю не лезу, но и не бегаю. Привычка. Это вроде как верхом ездить. Вот вы, то-

варищ подполковник, тоже привыкнете и на лошади верхом ездить будете не хуже других. — Он помолчал, но в отсветах снега мне показалось, что он улыбался. — А вы, видать, в пехоте все служили?

— В пехоте, — ответил я, добавив мысленно: «Милый ты мой! Хорошо, что ты еще молод и не читал Хэмингуэя... «...стреляют купцы, музыканты и дантисты...» и не знаешь, что по специальности кинорежиссера вольтажировка на жеребцах отнюдь не обязательна...

Володя продолжал:

— Оно и видно. А к боям привыкнуть легко. Легче, чем без отца и матери.

Дальше мы ехали молча. Этот разговор сблизил нас, и мы уже чувствовали себя друзьями. Так часто бывает в солдатской жизни, в особенности если одному из солдат пятнадцать лет и он сирота. Теперь уже мне казалось, что десяток ничего не значащих слов свели нас, как узкая дорога сводила наших коней, — они шли, задевая друг друга боками, изредка позвякивая стременами.

Вскоре впереди замельтешили подводы и отдельные бойцы. Пристроившись к хвосту колонны, мы проехали шагом минут десять. Затем крупной рысью стали обгонять колонну по обочине дороги и через полчаса очутились в центре ее — возле штаба. Володя пристроился к группе в десять — двадцать конников, следовавших за повозкой командира. Это были связные батальонов и рот. Я поскакал дальше. Отъехав от Озданич километров пятнадцать, мы сделали привал в небольшом селе. До реки оставалось километра полтора. Руднев и Базыма верхом выскочили в голову колонны и, посоветовавшись со мной и Горкуновым, решили форсировать Припять на рассвете. Когда рассвело, мы подъехали к коварной реке. Лед был крепкий, но, после того как по нему прошло несколько повозок, он стал обламываться у берега. Пришлось на скорую руку сделать мостки. По льду шли не напрямик, а изгибами, но все же кое-кто, свернув в сторону, проваливался. Выручали жерди

и канаты, которые, по приказу Ковпака, припасли и разбросали по льду. Благодаря этому небольшие аварии кончались весело, так как провалившегося со смехом сразу вытаскивали из полыньи и поили спиртом. Спирт после долгого препирательства с помначхозом Павловским, по приказу Ковпака, был выдан дежурному по части для согревания попавших в воду.

Павловский, старый партизан, краснознаменец еще гражданской войны, был первый год у Ковпака командиром восьмой роты. В знаменитом Веселовском бою он с небольшой горстью бойцов уничтожил до батальона мадьяр, но сам чуть не погиб. Пулеметной очередью ему перебило обе ноги. В лубках кости срослись неправильно, и он ходил, широко расставив ноги, кавалерийской поступью, опираясь на палку. Ходить ему было трудно, и Ковпак назначил его своим помощником по хозяйству. Старика это повышение обидело, но все же он согласился, с непременным условием, что ему будут поручать и боевые дела. На новом своем посту Павловский обнаружил чудовищное скопидомство, воз его был набит всякой всячиной, и Руднев беспрестанно воевал с Павловским, правда без особого успеха, из-за непомерного роста хозяйственного обоза. Павловский всегда защищал свое хозяйство страстно и настойчиво. На приказ Ковпака о выдаче спирта он реагировал чуть не истерикой, и только когда дед повысил голос, Павловский, бурча себе под нос, что ему «вылакают весь медицинский резерв», отошел в сторону.

Ковпак и Руднев стояли на берегу, с тревогой следя за переправой 76-миллиметровых пушек. Рискованный груз уже подходил к середине реки, к самому опасному месту, когда к нам приковылял охрипший от ругани помпохоз. За ним виновато плелись дежурный и здоровенный, весь мокрый, партизан.

— Я ж говорив, товарищ командир?! С такими архаровцами весь медицинский запас...

— Говори толком... — не отрывая глаз от пушек, сказал Ковпак.

— Толком и говорю. Нарошно пид льод розбишака плыгае... Щоб нашармака спирту налызаться...

— Как это нарочно? — спросил Руднев.

— А от так. Иду я з колонной. А он, товарищ комиссар, бронебойку хлопцам отдает и каже: подержите, хлопцы, берданку, я сейчас за здоровье нашего командира магарыч выпью; и боком, боком, до того, як его, ну до ополонки, и бух в воду. А хлопци його зразу назад, а он до дежурного, а тот, понимаете, товарищ комиссар, уже хотив налывать... Щоб не мое присутствие, так и налыв бы...

— Совсем одурел Павловский. Ведь человек из ледяной воды вылез. Ты что?..

— Зажды, Семен Васильевич, — перебил Ковпак. — А ну, подойди сюда. Какой роты?

— Второго батальона, первой роты бронебойщик Медведь, — ступив два шага вперед и оглушительно щелкнув обледеневшими сапогами, отрапортовал мокрый партизан.

— У того Кульбаки вси таки архаровци, — вставил Павловский.

— Мовчи, Павловский. Ты що, в самом деле нарошно в воду полиз?

— Первый раз нечаянно, второй раз нарочно, товарищ командир Герой Советского Союза, — бойко рапортовал Медведь.

Все рассмеялись. Один Павловский был серьезен и зол.

— Так ты один раз уже попробовав? — смеясь, говорил Ковпак.

— Ну да...

— Мало показалось?

— Маловато. Я прошу добавки по моему росту, як я бронебойщик, а воны говорять — норма. Говорять — за одно купанье тильки двисти грамм положено. Хочешь ще, говорыть раздатчик, то й прыгай ище раз...

— Какой раздатчик? — спросил Руднев.

— А от, воны, — указывая на дежурного, говорил безобидно Медведь.

— Ну, и скочив ты ще в воду? — облегченно вздохнул Ковпак: одна пушка уже выбиралась на берег.

— А що ж поделаешь, товарищ командир Герой Советского Союза, як выпить захотилось, ну хоть умры... Одним словом, дальше все було, як товарищ Павловский рассказалы. Все чиста правда.

Снова все засмеялись.

— За другое купанье выдать Медведю двести грамм, а за то, що правду говорыть, дать ище триста... — громко сказал Ковпак.

Павловский ударил руками об полы кожуха.

— ...Дежурного от дежурства освободить! Я з ним зараз сам побалакаю...

— Я ж говорыв — дайте выпить, що положено, а вы до командира тягнете. От тепер давайте полных пол-литра, — миролюбиво укорял Медведь Павловского, отходя в сторону.

К этому времени переправа артиллерии закончилась.

— Поехали, — сказал мне Руднев.

Мы взмахнули плетьми и вскачь понеслись вдоль колонны на свои места. Сзади остались лишь Базыма, назначавший нового дежурного, и Ковпак, чтобы «побалакать» со старым.

Рискованная переправа завершилась успешно. Впереди изредка потрескивали автоматные очереди — это разведки и ГПЗ [1] разгоняли в прибрежных селах полицию, спокойно чувствовавшую себя под прикрытием реки.

Весь день 1 января двигались на север и северо-восток. По ходу движения форсировали реки Случь-северную, довольно большой приток Припяти, и железную дорогу Гомель — Лунинец — Пинск. Реку — без приключений, дорогу — тоже, если не считать того, что мне влетело от Руднева за излишнюю осто-

---

[1] Головная походная застава — передовое подразделение, обеспечивающее движение колонны.

рожность. Подойдя к железке, я, сменив Горкунова, ведшего колонну, послал разведку на переезд, а через полчаса только выставил заслоны. Пока мы копались, со стороны Пинска прошел поезд как раз перед носом наших рот, выходивших занимать полотно. Поезд обстреляли, но он ушел. Руднев вырвался верхом вперед и, узнав, что заслоны высланы мною лишь после разведки, страшно ругался.

Ковпак, напротив, отнесся к происшествию спокойно.

— Сэмэн, що з воза упало, то пропало. Чого жалить? Ще вси наши поизда впереди. От бы швыдче нам аэродром наладыть, як полагаеться. А поизда дило наживное... будуть поизда, будуть и нимци, щоб у их духу не було до скончания вику. Я так думаю, що нимцив ще на нас хватить.

— И то правда... — согласился Руднев. — Поехали!

И колонна стала форсировать железку.

Пройдя километров двенадцать, мы остановились на ночевку. Люди устали после суточного марша. Лошади тоже.

Села мы занимали ночью, выставив только заставы. Разведка до того замоталась в последние дни, что, с разрешения Ковпака, я решил дать разведчикам одну ночь отдыха. Всю ночь падал лохматый снег, покрывая талую торфяную, болотистую землю Полесья белым ковром.

II

На рассвете наша застава задержала четырех вооруженных людей в штатском. Они пытались бежать. Было раннее утро. Я вышел во двор и умывался снегом, когда на улице показался эскорт. Впереди верхом ехали два наших пацана — Ванька Черняк и Семенистый, за ними на двух дровнях, спустив ноги на снег, сидели неизвестные люди. Сзади их провожали санки заставы с охраной.

Конвоируемых доставили ко мне. Вели они себя

довольно странно. На вопрос, кто они такие, не отвечали, все переглядывались. Допотопное их оружие хлопцы у них не отбирали и вообще отнеслись к ним довольно добродушно, но все же у одного под глазом я заметил небольшой синяк, к которому он изредка прикладывал снег, сгребая его с забора.

Я повел их с собой в штаб, и, лишь окончательно убедившись, с кем они имеют дело, необычные гости признались, что они местные партизаны, но тем не менее отвечать на вопрос, где находится их отряд, отказались наотрез. В штаб пришли Ковпак и Руднев, и нам сообща удалось выудить у партизан, что они приняли нас за «казачков», которых противник поставил на охрану коммуникаций в этих местах. Это, пожалуй, и не удивительно, так как многие наши бойцы ходили в немецком обмундировании. Оружия у нас тоже было много немецкого, мадьярского, чешского и даже французского. Я знал подобные местные отряды еще в Брянских лесах и на Черниговщине и не удивлялся. Они были вооружены дробовиками и винтовками с самодельными прикладами и заржавленными стволами, указывавшими на то, что это грозное оружие не один месяц пролежало в земле. У немногих имелись хорошие полуавтоматические винтовки — это уже являлось признаком командира, автомат был еще более редким явлением.

Убедившись, наконец, что мы партизаны, «делегаты» рассказали нам, что они из соединения «Бати».

Руднев и Ковпак, посоветовавшись, решили послать меня для связи с этим партизанским отрядом. Нужно было получить подробные данные о районе, еще мало известном нам, и, во избежание всяких недоразумений, которые легко могли случиться в этих местах, договориться о пароле.

Это была моя первая дипломатическая командировка. В дальнейшем мне десятки раз приходилось выступать в подобной роли, налаживая связь с со-

ветскими партизанскими отрядами и разными вооруженными группировками в Западной Украине и Польше.

В тот же день я уехал с партизанами Бати, взяв с собой Володю Лапина, Васю Демина, Володю Зеболова и недавно бежавшего из плена донского казака Сашу Коженкова.

Дорога шла по старому дремучему сосновому лесу. Мы проехали километров двенадцать. Лошади бежали по мягкому снежку быстро, весело пофыркивая. На развилке лесных дорог Вася Демин на ходу соскочил с саней и, подхватив автомат, скрылся в лесу. Вернувшись, он объяснил нам, что заметил в чаще человека, но пока добежал — человек исчез. Остались только свежие следы лыж.

Минут через двадцать мы выехали из леса. За огородами дымились трубы хат. Впереди была деревушка. Когда мы въехали в нее, она оказалась совершенно пустой, хотя во многих избах топились печи. Мы объехали всю деревушку — нигде ни души. Лишь когда выехали на противоположную околицу, на опушке леса заметили несколько человек. Наши спутники стали подавать им условные знаки.

Старший вышел вперед на несколько шагов, поднял вверх левой рукой винтовку, затем ступил два шага вправо, поднял правую ногу и три раза подрыгал ею. Оказалось, что эти выкрутасы, похожие на какое-то шаманство, были зрительным паролем, сигнализацией. Я с интересом наблюдал эту церемонию.

Люди, стоявшие на опушке, осторожно вышли из лесу и, повторив свое колдовство еще раза два, уже смелее подошли к нам. Поняв, в чем дело, хлопцы мои покатывались со смеху. Из леса стали выползать мужики, бабы и детишки.

Оказалось, что четырнадцатилетний мальчишка, стоявший на посту при лесной развилке дорог, заметил наши сани и на них трех человек в зеленых немецких шинелях, помчался в деревню и поднял там тревогу. Население в этих деревнях всегда было го-

тово по первому сигналу скрыться в леса, где у них имелись землянки, запасы пищи и одежды.

Шедшие впереди мужиков вооруженные люди тоже оказались партизанами. Это была застава отряда, или, по здешней терминологии, комендатура.

Некая строгая личность, назвавшая себя комендантом заставы, долго меня допрашивала, довольно коряво пытаясь выяснить какие-то скрытые мотивы моего появления здесь. Убедившись, наконец, что, кроме желания видеть командование, никаких других целей у меня не было, комендант сообщил мне, что завтра он доложит по команде, а к концу недели, может, командир и приедет. Я потребовал, чтоб это сделали побыстрее, и в ответ услышал, что раньше никак нельзя. Командование, видимо, находилось далеко.

Пришлось прибегнуть к испытанным методам и «нажать». После нескольких громких тирад с упоминанием усопших и на земле сущих ближних и дальних родственников комендантской особы дело завертелось быстрее. Были снаряжены посланцы, но комендант, видимо желая снять с себя ответственность за отступление от общих правил, потребовал от меня «бамагу». Этот его ультиматум я выполнил беспрекословно, что называется «сей секунд», и послы, нахлестывая мышиного цвета и такого же роста коней, унеслись вскачь в лес.

Дальше уже все зависело от провидения, и, натянув кожух на голову, я решил вздремнуть. Дремота моя, видимо, затянулась надолго, потому что когда меня разбудили хлопцы, то в оконца проглядывали серые сумерки.

— Товарищ подполковник, вставайте скорей, — поддавая мне под бока, шептал Володя Лапин.

Я сел на лавке.

— Неладно получилось, — виновато говорил Вася Демин.

— Да в чем дело? Говорите вы толком...

— Да поснули мы все. На коменданта понадеялись. А они, видно, умотали... И вот, глядите...

Я глянул в окно. В сумерках вокруг дома перебегали какие-то люди.

— Комендант, видимо, смылся, нас не предупредив. Прорываться придется, не иначе. Ох, елки-капалки, недаром мне поп в зеленой рясе приснился, — шептал Володя, хватая со стола и распихивая по карманам гранаты.

К счастью, я заметил, как мимо окна промелькнула знакомая фигура коменданта. Я задержал хлопцев, уже занявших оборону возле окон и дверей, распахнул дверь и вышел на крыльцо. Навстречу мне шли два человека в зеленых ватных бушлатах и шапках-ушанках. Немного сбоку, как-то подозрительно обходя меня, жался под стенкой комендант. Из-за плетней выглядывали какие-то фигуры и торчал ручной пулемет. Я понял, что приближавшиеся ко мне довольно храбро двое мужчин и было долгожданное командование, шагнул вперед и назвал свою фамилию. Мы поздоровались и зашли в хату. Воинственный пыл моих хлопцев немного остыл. Пришедшие стояли у порога и держали руки в карманах. «Что за чертовщина такая, — подумал я. — За кого они нас принимают?» Но в это время Вася Демин, приглядевшись к одному из пришельцев, заорал:

— Капитан Б.! — и бросился его обнимать.

Тут все выяснилось сразу. Комендант, оказывается, донес, что к нему прибыли «чорте що за люди, называют себя колпаками... и я пока что держусь». Батя, он же инженер Л., и капитан Черный, он же капитан Б., после такого сообщения выехали в комендатуру со всякими предосторожностями. И кто его знает, сколько бы продолжалась эта комедия хитроумного выпытывания и ловли на словах, если бы мой Вася Демин, выброшенный ко мне с группой Бережного, не оказался бывшим бойцом-автоматчиком батальона капитана Б.

Все недоразумения сразу рассеялись, и мы, рассказав друг другу о своих подозрениях, перешли к делу.

Батя расчувствовался и, пренебрегая законами конспирации, пригласил меня к себе. Ехали мы долго. Несколько раз в самых неожиданных местах делались остановки, и так как была уже ночь и таинство пароля не могло быть различимо простым человеческим глазом, то лес оглашался совиными криками, свистом неведомых мне птиц и завыванием зверей. Хозяева доверительно сообщали мне, где мы проезжаем через минное поле, где через фугасы. Я понимал, что без этой музыки воя, свистов и гугаканий мы обязаны взлететь на воздух по всем законам инженерно-подрывного дела.

Сомневаться в инженерном искусстве Бати у меня не было никаких оснований. Я сидел в санях, натянув ковер до ушей, и предавался печальным размышлениям о бренности человеческой жизни. Думалось мне, что может же какой-нибудь страж из местных полещуков, обученный немудрому делу обращения с подрывной машинкой, спросонку, не расслышав крика ночной птицы, включить искру тока и...

То, что со мной ехали сами «директора» этой адской кухни, меня мало успокаивало, ибо еще от ковпаковцев-минеров я много раз слыхал и усвоил истины, гласившие: «Подрывники своей смертью не умирают», или: «Минер ошибается только один раз в жизни».

Эти мудрые изречения очень мало меня тешили, и я только мычал в ответ на болтовню своих соседей, которые вели себя так, словно мы совершаем экскурсию по Зимнему дворцу, а они в качестве почетных экскурсоводов объясняют мне чудеса искусства.

— Однако это целая крепость в Пинских болотах, — начал я разговор, немного привыкнув к путешествию по минным полям.

— Ого, тут еще не то увидите, — подхватил Батя.

— А что еще? — тревожно спросил я.

Но он, видимо, уже был удовлетворен произведенным на меня впечатлением и таинственно замолчал.

Скоро езда закончилась.

— Приехали, — вздохнул я облегченно.

— Не совсем. Здесь придется ваших хлопцев оставить. За черту нашей просеки еще никто из посторонних не переступал.

«Этого еще нехватало», — подумал я, но, чтобы скорее добраться до места, согласился.

Дальнейшее путешествие показало мне, что самые тяжелые мытарства сегодняшнего дня еще впереди. Меня потащили по болоту. Болото замерзло кочками, а поверх него был навален бурелом. Густой, колючий, скользкий. Я падал, полз на руках и, при каждой попытке пройти по-человечьи, на двух ногах, снова падал.

Впереди шел Батя с фонариком, безуспешно стараясь облегчить этот поистине тернистый путь.

На место прибыли мы около полуночи. В отсветах электрического фонаря я увидел возвышающиеся среди бурелома несколько куполов — землянок. В одной чуть заметно мерцал свет. Мы вошли в землянку. Вид ее приятно разочаровал меня. Просторная, высокая, с деревянным, как в предбаннике, решетчатым полом, с коврами на стенах, с приличными кроватями и полочками для книг, гвоздями для оружия и всего необходимого человеку в оседлой партизанской жизни.

На железной печке поспевал ужин, кипел чай. Поужинали мы плотно и молча, а затем улеглись. От переутомления и треволнений сегодняшнего дня я не мог уснуть. Задал несколько вопросов, и Батя стал рассказывать. Рассказывал он очень много и занимательно.

Уже перед самым рассветом я сказал своему собеседнику:

— Наконец-то я вижу партизан точно такими, как их показывают в кино.

— А разве бывают и другие? — не поняв, удивился он.

— Бывают, — ответил я, натягивая на голову кожух.

III

Утром Батя и капитан Черный решили отдать визит Ковпаку. Пока хозяева наводили порядок и отдавали распоряжения на время своего отсутствия, я присел к самодельному столику записать наши злоключения и историю этого отряда.

Вот что рассказал мне Батя в землянке, затерянной среди Пинских болот, в полночь, в начале января 1943 года.

— По специальности я инженер, занимаюсь строительным и разрушительным делом. Строительным всю жизнь, а разрушительным вот уже второй год. Как мне в голову пришла мысль в тыл противника пробраться, рассказывать не буду, слишком это длинная и путаная история, а окончилась она тем, что в результате многих мытарств попал я на службу в одну чересчур секретную организацию. Сколотили довольно большой боевой коллектив и даже назначили время вылета в тыл врага. Я летел командиром, были, как водится, назначены комиссар и начштаба.

Много раз сроки вылета менялись, отменялись и переменялись, но все же, наконец, выбросили и нас.

Вся моя компания и груз с оружием и прочими медикаментами разместились на семи самолетах.

— И, как всегда бывает в этих случаях, летчики выбросили вас совсем не в то место, куда вам нужно...

— А вы откуда знаете? — удивился Батя. — Совершенно правильно, но если бы только не в то место, это еще полбеды. А то ведь они мне мой отряд в радиусе ста — ста пятидесяти километров разбросали. Он на полградуса в сторону взял, а мы четыре месяца собирались, пока друг друга нашли.

Я засмеялся.

— Вы что?

— Да вот вспомнил Володю Зеболова, безрукого автоматчика-десантника, которого летом прошлого го-

да таким же манером выбрасывали под Бахмач. А вместо Бахмача он попал ко мне, в Брянские леса. Всего-навсего на сто семьдесят пять километров по прямой не «довернул» штурман.

— Вижу я, вы порядки в нашем деле знаете?

— Маленько знаю, — сказал я смеясь.

— Во-во. Вот так и меня, где не «довернули», а где и «перевернули». Так без малого полгода мы собирались, пока собрались, кто в живых остался. Комиссар мой так и погиб, не дошел... Пришли в этот благословенный богом и людьми позабытый край. Пришли и стали здесь обосновываться. Я ведь шел с вами и все слушал, как вы крестили эти болота и о нас, болотных жителях, вероятно, только из вежливости умалчивали. Но ведь земля-то эта завоеванная. Народ в селах наш. А полгода назад, когда мы только появились, в каждом селе были полицейские посты. Строгости страшные, о появлении каждого чужака село обязано было сообщать в район немедленно, под страхом расстрела заложников, а то и все село каратели сжигали. Что ж тут удивительного, что каждого путника в селах не с радостью и не с пирогами встречали. А в открытую мы тогда действовать не могли. Сил мало, да и раскрыть свое появление мелкими делами — это значит никогда крупных дел не совершить.

— Да-а, — протянул я с удивлением, разглядывая коренастую фигуру инженера.

— Вот вам и да-а... Землянку вырыть в этом месте, куда до нас с сотворения мира, может, кроме медведей да залетной птицы никто не ступал, это дело нелегкое, а все-таки пустяки. А вот на месте, где немецкая организация, оккупационная власть, корни пустила и щупальцы протянула, обосноваться и начать работу, — это потруднее будет. Начали мы с подполья. Не может быть, чтобы партийная организация, районная, областная, не оставила людей. Ну, отступали в спешке, следы, может, и потеряны, ниточки там всякие попутаны, порваны, так люди-то есть? Люди-то куда денутся? Не без этого,

конечно, чтобы не погиб кто-нибудь по неопытности или по неосторожности товарищей, но кто-нибудь да остался же? Стали мы искать тех, кто погиб. От могил, значит, решили оттолкнуться. Парадокс? Да-с, дорогой мой. Парадокс, как и война вся в общем и целом. А то, что я, инженер, что равно слову строитель, разрушением занимаюсь, разве это не парадокс? Ну-с, нащупали мы одну могилку. В первые дни девушку тут одну в райцентре повесили. В самом этом факте публичной казни через повешение ничего удивительного нет. Арийских зрелищ тут хватало, и не это примечательно, а примечательно то, что, когда ее похоронили, на могилке ее венки из пинских всяких роз стали появляться. Удивительного тут тоже ничего нет. Может, из родственных чувств или просто из романтических побуждений кто-нибудь это делал. Немцы, даже эсэсовцы, они такое понимают. Все-таки в крови у них всякие там страдания молодого Вертера и прочие слезливые комедии есть... Но мало что появляются цветы, — с цветами записки, а в записках сказано: так, мол, и так, цветы не простые, а вроде с того света, потому что носит их себе на могилу сама безвременно скончавшаяся Нина. Немцы погрозились, что за это загробное хулиганство может кто-нибудь живой... и так далее и тому подобное. У них в их афишках интересно получается: «За неточное выполнение распоряжений — штраф сто марок, а также карается смертью...» Но Нина, как и полагается мертвецам, смерти не испугалась и стала всякие тому подобные записочки жандармам в казармы подбрасывать, на квартиры захаживать, возле немецких постов на заборах расклеивать... Большого вреда от ее загробных путешествий немцам пока что не было, но беспокойство немалое. Слухи об этом провидении до нас сразу дошли, а вот как с ним познакомиться?

— Романтическая девушка...

— Романтическая, ничего не скажешь.

Ходили я и мои хлопцы по следам на кошачьих лапках и, наконец, выходили. Оказалась сия бесплот-

ная Нина здоровенным дядей, верзилой этак пудиков на шесть, а от роду ему было лет под тридцать пять. Добиваться сразу у детинушки — за свой страх и риск он работает или от какого подпольного кооператива, я не стал. Сам знаю, по законам конспирации, а попросту говоря, по обыкновенной житейской логике, он мне правды не скажет. Да и спугнуть этим можно. Веду с ним дело так, как будто на всем белом свете только я да ты, да мы вдвоем. Разговор у нас все больше о том, что все равно немцу тут век не вековать, что мы, мол, русские люди и сидеть сложа руки нам неудобно. Детина и заявляет, что он и не сидит. «У меня даже на всякий случай склад оружия припасен». Ага, думаю, склад оружия есть? Особенно не добиваюсь, а сам думаю: через этот склад он мне еще кого-нибудь из организации покажет, а я им тоже выложу свои карты.

Так вот и ходили мы друг возле друга.

— Да он кто же такой этот детина?

— Да киномеханик. В райцентре. Киношку крутит. Стал я за ним следить, может, думаю, таким образом его компаньонов узнаю. Но, кроме его помощника, ни с кем он вроде не встречается и знакомства не ведет. Помощник этот вечером киношку крутил, а днем на базаре краденым добром спекулировал. А тут начальство мое снова нажимать стало: «Не пора ли, уважаемый, переходить к делу?» А дело, за которым меня посылали, есть диверсионная работа. Чистота в производстве тут нужна очень большая, и тонкость тоже требуется не меньше, чем у часовых дел мастера. Ну вот и решил я, что пора стартовать. Сообщил по начальству, что в своих руках держу нити целой подпольной организации, способной вершить большие дела. Требуется только ваша немедленная помощь «медикаментами». Ну, там сразу поняли и через пару дней мне шлют «Дугласок» и сбрасывают «медикаментов», пока что одну тонну. Одним словом, можно этим самым лекарством не одну сотню людей или машин, а то и домину в небеса поднять.

— А как же с организацией?

— Организации на поверку и не оказалось. Склад оружия у этого самого киномеханика Нина, — такую мы ему кличку дали — «Нин», за то, что свои листовки именем покойницы Нины подписывал, — склад оружия, говорю, у Нина оказался из пяти штук гранат, одного пистолета и десятков четырех патронов. А организации — никакой! Так все это мистификация моего воображения! Он, этот механик Нин, насмотревшись всяких картин из подпольной жизни, знаете, там про Максима и прочее, стал действовать за свой страх и риск. Уже когда мы вошли у него в доверие, он мне раз шопотом признался: «Я, говорит, самого вахмайстра жандармерии из пистолета убить хочу!» И глаза блестят этаким жертвенным огнем. «Ну, убьешь ты вахмайстра, а дальше?» Молчит. «А дальше тебя на веревочку и на перекладину». Опять молчит. Вот, доложу я вам, за мирные эти годы народ у нас совсем какой-то неопытный стал. В школах, не дай бог, чтобы мальчишки друг другу нос расквасили — на собраниях да на бюро замучают до смерти, — и вот когда нужно драться, люди и не умеют этого толком делать. Сноровки нет. Это у русского-то народа, который испокон века хотя и мирного складу мыслей, но в драке всегда первым был.

Вообще выложил я ему все и говорю, что из пистолетиков стрелять теперь не годится. Надо действовать так, чтобы если уж самому погибать, то хотя бы сотни две взамен своей жизни гитлеровцев уложить. «Чем?» — спрашивает. «Подрывным делом, диверсионным методом», — отвечаю. И на затравку предлагаю: «Скажи, Нин, дорогой, заминировать твой кинотеатр можем мы или нет?» А он глазами моргает. «Ну, охрана возле театра есть или нет?» — спрашиваю. «Какая тут охрана? Да что хочешь можно там делать». — «Так чего же ты удивляешься?» — «А как же заминировать, чем?» — «Это уже, брат, моя печаль. Ты нам только условия создать должен». Словом, договорились мы, что к чему, и через недельку в кинотеатре под полом у нас пятьдесят килограммчиков «медикаментов» бы-

ло заложено. Теперь осталось подключить провод и ждать момента, когда в кинотеатре одни немцы смотреть киношку будут. Вывели мы провода и подвели их к будке. Подключили к рубильнику, который граммофонные пластинки в репродуктор включает, адаптер называется. При включении рубильника замыкается цепь под полом, и театр должен взлететь к аллаху на небеса.

— А кто же включить должен? Неужели этот Нин сам решился!

— Вот тут-то и заковыка. Вахмайстра стрелять — это он может, а вот взлететь на воздух вместе с ротой фрицев, вижу, не совсем его устраивает. Сразу я не понял, почему.

— А это не очень романтично. Стрелять — это все-таки действие. Можно застрелить и самому сбежать, отстреливаться. Потом и похвастать можно. Вот я какой!

— Вот именно. А тут же очень верные математические формулы. Если удастся этот выстрел, то уже самому остаться в живых нет никакой надежды.

— Правильно. Это вы правильно поняли. Пожалуй, каждый точно так же чувствовал бы себя на его месте.

— Это как сказать. Но подобными размышлениями мне тогда заниматься некогда было. Полдела сделано, а вторая, самая ответственная половина — впереди. Кто включит рубильник? И когда? Пришлось на жестокую вещь пойти. Я говорил вам, что был у Нина помощник. Коробки подносил, аппарат запустить умел, ленту перемотать. Понятно, что нашей затеи он не знал. Вот и остановились мы на таком варианте, что этот самый рубильник помощник включит.

— А когда?

— Во время сеанса, конечно.

— Но в театре же русские, мирные люди бывают.

— В том-то и дело. Но тут нам подвезло. Правда,

обычно немцы для русских особый сеанс устраивали, а для себя особый. Но на свой арийский сеанс они все же русских девчат приглашают. Но тут подвернулся случай: прибыл в район карательный отряд. Лучшего момента для нашей затеи нечего и желать. Днем мы с Нином все в последний раз спланировали, что к чему. Он свою проводку проверил. Вечером шел фильм с участием знаменитой артистки Марлен Дитрих. И вечером же мой киномеханик всю эту затею чуть не погубил.

— Как же? Неужели открыли ваш замысел?

— Да нет. Немцев привезли на авто, театр полон, надо сеанс начинать, а мой механик вышел на улицу и говорит мне: «Я взрывать не буду, нет моего вахмайстра». — «Какого тебе вахмайстра надо?! Вон их сотни три в твоих руках». — «Нет моего из районной жандармерии. Рыжего. Он мне морду бил. Я без него взрывать не согласен». Да, понимаете, на всю улицу орет. Я на него цыкнул. Ну, вот-вот провалит все дело. Выручил меня сам рыжий вахмайстр. Смотрим — идет. Да не сам, а с девахой. Была в районе одна потаскушка, с немцами гуляла. Все надеялась, что какой-нибудь Ганс ее замуж возьмет, в Берлин повезет. Вот ее-то и ведет рыжий вахмайстр на наш сеанс с участием знаменитой артистки Марлен Дитрих. «Ну, давай, — говорю, — Нин, дорогой, давай им эту самую музыку через адаптер». Побежал мой киномеханик. Через минут пять и ахнуло. Я на углу улицы стоял, и то меня малость оглушило. Толу хотя и немного было, но он у нас под полом заложен. А здание закупоренное. Окна и двери двойными ставнями заделаны, поэтому вроде и взрыв двойной силы получился. Стены остались целы, но зато потолок и крышу сначала наверх подняло, а потом и ахнули все эти балочки да качалочки обратно в зал. Одним словом, из двухсот восьмидесяти фрицев только семь осталось в живых, из-под обломков их вытащили, да и этим я не завидую: меньше чем по полдесятка костей переломанных ни у одного не было. Ну-с, как вам нравится?

— Ничего. Старт подходящий. А как же киномеханик?

— С Нином нашим история приключилась. Он помощнику рубильник показал и говорит: «Я домой должен сбегать... Так ты минуты через три-четыре включи пластинку». А сам из театра вышел и бегом ко мне. А тот, видно, немецкого коньяка насосался и понятие о минутах имел неясное. Не успел Нин шагов тридцать от театра отойти, пластинка-то и заиграла. Нина об землю без чувств ахнуло. Он и сейчас вроде контуженный. Заикаться стал и руки дрожат. Ну-с, вот. После взрыва в кино пошли у нас дела. Да об этом разговор долгий. Мы уже и так заболтались. Спать пора.

Через четверть часа в землянке все спали.

Уснул и я.

IV

К вечеру мы вернулись к себе в отряд.

Один из моих провожатых, Володя Зеболов, с увлечением рассказывал радистке Ане Маленькой о приключениях последних двух дней.

— А помнишь, как ты приземлился в Брянских лесах? — смеясь, сказала Анютка.

Володя Зеболов нахмурился.

Чудной человек с чистой и застенчивой душой, искалеченным молодым телом и психикой, трепетавшей обнаженными войной нервами!

Володя Зеболов, безрукий автоматчик тринадцатой роты, а сейчас лихой разведчик.

Да, да, уважаемые граждане с руками и ногами! Солдат без обеих рук, и не какой-нибудь солдат, а лучший — разведчик. Левая рука у него была отрезана у локтя, правая — у основания ладони. Правая рука от локтя была раздвоена вдоль лучевой и локтевой костей и пучком сухожилий, ткани и кожей обтянута вокруг костей, чем образовала что-то вроде клешни. Только страстной жаждой к жизни и деянию, силой

молодого организма и мастерством хирурга у человека было спасено подобие одной конечности, искалеченной, безобразной, но живучей. Шевеля этими двумя култышками, он питался, писал, мог свернуть папироску и хорошо стрелял из пистолета. Ремень автомата или винтовки обматывал вокруг шеи и, нажимая обезображенным комком мускулов на спусковой курок, стрелял метко и злобно. Все остальное делал той же култышкой, иногда помогая себе зубами. И тихонько, про себя, писал стихи. Странные и не особо талантливые, никому не нужные стихи! А часто, забравшись куда-нибудь на ток в селе или уйдя от колонны на стоянке в гущу леса, громко декламировал мальчишеским грубоватым баском:

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
    в сегодняшнем
            окаменевшем дерьме,
наших дней изучая потемки,
вы,
  возможно,
        спросите и обо мне.

Я так и не добился от него, где он потерял свои руки. Этой темы он не любил касаться, хотя мне и кажется, что я был в его жизни одним из самых близких людей.

— Было дело в молодости... — уклончиво отвечал он. Также избегал он говорить и о своих бесшабашно храбрых делах в отряде. Но о них мы узнавали от товарищей, видели их сами...

По одному разговору с глазу на глаз, неясному и отрывочному, по отдельным ироническим намекам я понял, что беда эта случилась с Володей в финляндскую войну, куда он пошел добровольцем.

Струсил ли он, был ли оставлен товарищами, или сам был виноват в чем-то, но при каких обстоятельствах у него ампутировали отмороженные кисти рук, он умалчивал.

Я понял, что касаться этой темы ему больно и как будто стыдно... Один раз он все же разоткровенничался немного.

— Три месяца лежал я в госпитале весь в бинтах и просил, чтобы меня застрелили. Просил сестер, раненых с руками, врачей. Когда я сказал об этом профессору, он мне ответил: «Стыдитесь, молодой человек. Пока я вам сделал эту сложную операцию, отнявшую у меня время... два часа времени хирурга на фронте! — в приемной, не дождавшись операции, умерло два человека. Понимаете? Стыдитесь...» — «Зачем же вы делали это?» — спросил я. — «Я спас вам руку... вот этот большой палец, этот указательный...» — и он показал мне пальцы на этой култышке. Я задвигал ими, «пальцы» болели, но все же двигались...

Зеболов говорил все это задумчиво, ровным голосом, что с ним бывало очень редко. Он помолчал немного, а потом продолжал:

— Стал я тренировать «пальцы», чтобы суметь взять пистолет и... застрелиться. И когда я уже мог кое-что делать, я достал его, стрелял, но неудачно... и, понимаете, профессор набил мне морду и сказал, что я подлец. Скоро опять началась война... теперь было бы уже смешно стреляться... Как это сказано:

Прекратите,
бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел!
Вы ж
такое загибать умели...

Володя Зеболов перед войной был студентом Московского университета. Говорили, что учился хорошо и талантливо... И вот война.

Я впервые познакомился с ним перед вылетом в тыл врага, когда готовился к выброске и проходил разведывательную «школу». Ее же со мною проходил

и Зеболов. Затем я был выброшен в Брянские леса и позабыл о своем безруком товарище, с которым всего на пару недель свела меня сумасбродная военная судьба.

Пробыв уже месяца полтора в партизанском крае и обжившись в нем, я однажды сладко спал на сеновале где-то километрах в четырнадцати от Брянска, вернувшись после полуночи с явки с брянскими железнодорожниками. Разбудили меня визгливые бабьи голоса, спорившие между собою:

— А я тебе говорю: немец его спустил. Я ж сама парашют бачила. От и шворку себе отрезала. Из нее хорошие нитки...

— Ну, сама подумай, зачем немцу яво спускать... Зачем?..

— Шпионство разводят... А потом он самолетами зажигалки бросать будет, куда твой безрукий вкажет.

— А я тебе говорю: он Красной Армией спущен.

— Ну, и где ты видала в Красной Армии безруких? Где?

— Ну, не видала. А все равно, то не германский самолет. Я же слыхала, как он гудев... Немецкий только угу, угу, угу, а наш жу, жу...

— Ах, много ты понимаешь в самолетах...

Они так и не дали нам спать. Я слез с сеновала. Возле сарая сидели освещенные утренним солнцем две бабы. У обеих — длинные драгунки за плечами с белыми самодельными ложами. Это была самооборона. Старшая держала в руках метров пять парашютной стропы, младшая, почти совсем подросток, из-под ладони, щурясь, смотрела на дорогу.

Я спросил, о чем они спорят.

Перебивая друг друга, они рассказали мне, что километрах в пяти от нас, у партизанского села, ночью приземлились три неизвестных парашютиста. Один из них, молодой парнишка в штатском, опустился в Десну и чуть не утоп. Второй, приземлившийся возле ветряка, оказал вооруженное сопротивление партизанам,

а когда был взят ими, оказался безруким. Третий парашют найден в жите, а парашютист исчез.

— Безрукий? — спросил я. — А как звать его?

— Ион не говорит. Ион только губы кусает. Я ж говорю: их немец спустил, зажигалки вызывать будет.

Я вспомнил о Зеболове, вспомнил, что отрядом, где приземлились таинственные парашютисты, командовал милиционер, возомнивший себя Александром Македонским. Психологии же многих милиционеров мало доступны деликатные чувства, и людей с порывистым сердцем и нервной душой лучше не сбрасывать к ним ночью на парашютах. Я быстро оседлал коня и пустил его в галоп.

Это был действительно безрукий Володя, мой однокашник по разведывательной школе. Он сидел на бревнах возле штабной избы и угрюмо улыбался. Ноги его были связаны, култышки рук, торчавшие из закатанных рукавов полосатой косоворотки, делали его похожим на общипанного селезня. Рядом стоял табун ребятишек, таращивших глаза на невиданного безрукого парашютиста.

Володя бросил на меня безразличный взгляд, а затем, узнав, рванулся ко мне.

— Сиди, — сказал «часовой» — здоровенная бабища, замахиваясь на него винтовкой.

Володя сразу присмирел. Он кинул косой взгляд на часового.

— Майор. Скажи ты ей. Прямо по шее прикладом лупит, сволочь.

Я только сейчас заметил плачевный вид Володи. На теле были ссадины, рубаха разорвана.

Я приказал бабе не превышать прав караульного, а Володе не горячиться.

Разговор с командиром отряда был длинный. Он долго молчал, слушая мои объяснения, а затем вырвал из толстого гросбуха несколько листов и начал что-то писать. «Протокол», — прочитал я заглавие. Далее следовала обычная «шапка». Внизу на всю страницу он долго, пыхтя, выводил: «вопрос — ответ,

вопрос — ответ» и, пронумеровав их по порядку, только тогда обратился ко мне.

— Вопрос, — подняв ко мне красное лицо, с которого градом катился пот, начал командир: — Откуда вам известен этот человек и как давно вы с ним связаны?

Ответ мой, очевидно, был столь выразителен, что так и не был записан. Протокол остался незаконченным.

Словом, я взял Володю на поруки.

История его неудачного приземления проста и рассказана мною ранее в главе о Бате. Летчики просчитались и вместо района Бахмача выбросили его под Брянском. Бросали его под Бахмач потому, что там на разведывательной карте было белое пятно. Никто не знал, что там тоже действуют партизанские отряды. Отряды эти были «дикими», то есть действовавшими на свой собственный риск и страх, не имея ни связи с Большой землей, ни полномочий, ни утвержденных инстанциями директив. Единственной директивой для них была речь товарища Сталина от 3 июля 1941 года. И ее хватило им на всю войну. Как по магнитной стрелке, указывающей путь кораблю, держали они курс на беспощадное истребление врага. Но, выбрасывая Зеболова в этот район, ему говорили, что никаких друзей, а тем более с оружием в руках, он не встретит. Вооруженными могли быть только немцы или полиция.

По ошибке летчика группа выбросилась в самую гущу партизанского края. Не удивительно, что, приземлившись у ветряка и узидев бегущих к нему вооруженных людей, Зеболов решил, что он попал в руки противника. Быстро отстегнув стропы, он отбежал в картофельное поле и залег. Партизаны оцепили белое пятно парашюта. Пока они возились с ним, Зеболов успел отползти дальше. И ушел бы, если бы не те две бабы, что спорили утром. Они заметили его, ползком пробиравшегося к кустарникам. Володю окружили и стали кричать, предлагая сдаться.

Зная, что под «Бахмачем» никаких партизан нет,

и слыша русские окрики, парень решил, что попал в лапы полиции. «Все кончено», — подумал он и бросил гранату себе под ноги. Партизаны кинулись врассыпную, но она не взорвалась. Очевидно, какой-то из «пальцев» на руке Зеболова, смастеренный руками хирурга, все же действовал плохо в таких необычайных условиях. Партизаны лежа ждали взрыва гранаты, но его не последовало. И лишь тут кто-то из них вдумался в смысл фразы, которую выкрикнул парашютист, бросая гранату:

— Знайте, сволочь полицейская, что советский разведчик живым не сдается.

— Товарищ, если ты советский, тут свои, партизаны! — закричали из картофеля.

— Какие партизаны? Обманом хотите взять? Врешь, не возьмешь, — хрипел парашютист, изготовив вторую гранату и зажав ее кольцо в зубах.

— Партизаны, ей-богу, партизаны! Емлютина отряда...

— Не подходи! Еще шаг: себя подорву и вас уложу, — не сдавался разведчик.

Кое-как всякими хитростями и уловками хлопцы уломали Володю и подошли к нему. Все же для большей безопасности они отняли у него гранаты и другое оружие. Совсем сбитый с толку парень решил, что его все-таки ловко обманули, и бросился в драку. Он разбил головой лица двум партизанам, искусал третьего. Ему тоже насовали под микитки, связали и привели в штаб.

Мой приезд намного разрядил обстановку. Коллега Володи — Миша, бесцветный и трусоватый парень, неизвестно зачем завербованный для дела, требующего недюжинных людей, сидел в сарае мокрый и ревел. Его полуживого выудили из реки мальчишки. Но где же третий? Володя, сплевывая кровь с разбитой губы, рассказывал мне, что третьей была радистка Маруся Б., черненькая смуглая девчина, недавно кончившая школу радисток. Она приземлилась недалеко от него, но успела убежать в рожь. Девушка слыхала звуки «полицейской» облавы на ее командира и, вероятно

в испуге, забежала далеко. «Может быть, даже к немцам в руки», — подумал я.

— Как вы условились о сборе? — спросил я Зеболова.

— Если приземлимся «с компотом», во что бы то ни стало перед вечером быть на месте посадки.

— Значит, Маруся сегодня к вечеру должна быть у мельницы?

— Да, в этом районе. Если не сдрейфит.

— Какие условные сигналы?

— Крик совы.

— Но ты же пойман немцами. Так она думает. Значит, и кричать можешь выманивая ее?

— Ну да...

— Вот задачка.

Мы сидели и думали, как же вытащить Марусю из ржи. Ходить искать ее — может забежать еще дальше. Унесет рацию, шифры и, не ориентируясь, обязательно попадет к врагу. Или, в лучшем случае, застрелится сдуру.

И тут у меня мелькнула мысль: «Песня, советская песня».

Даже бесцветные глаза милиционера заблестели, когда он понял, что я хочу сделать.

— Собирай всех девчат. Пускай ходят по полю и поют советские песни.

Милиционер зашевелился.

Я никогда не слыхал, чтобы так пели девушки. Их голоса звенели, выводя:

Широка страна моя родная...

В другом конце поля отвечали:

Полями широкими, лесами далекими
Лети, наша песня, лети...

С перекрестка дорог раздавалось:

— А-у-у!.. Товарищ Катерина. Председательша вызывает...

И наконец:

— Вот она, ваша радистка...

— Ура-а!..

Маруся действительно выползла. Она просидела целый день во ржи, а под вечер уснула и проснулась от песен и голосов, которые так живо напомнили ей колхозные поля, Украину...

И Маруся вышла на голоса.

Стояла окруженная девчатами и, ничего не понимая, смотрела на всех красными от слез и бессонницы глазами.

— Молочка выпей, девонька, молочка, — говорила здоровенная баба с винтовкой за плечами. — Ох, и зубатый у тебя командир! Выпей, выпей молочка. Свое, наше — партизанское.

Зеболов после этого пристал ко мне. Со мной он пришел к Ковпаку. Особенно полюбил Зеболова Руднев. Полюбил так, как может полюбить человек, знающий толк в людях.

Анюта Маленькая дружила с Володей. Довольно капризная девчонка, но с Володей у нее установился трогательно-грубоватый тон... Когда Зеболов хандрил, она подходила к нему и, заглядывая в глаза, говорила:

— Не горюй...

В разведроте они жили немного обособленно. Этого требовала специфика их работы. Анютка работала на своей рации, связывая меня с фронтом. Недостатка в полезных данных о немцах у меня не было, и ей приходилось работать целый день. Они занимали отдельную хату — небольшой коллективчик молодежи: Володя Лапин, Анютка Маленькая и ее повозочный и ординарец Ярослав из Галичины, взятый мною в плен под Лоевым, Володя Зеболов, Вася Демин и недавно бежавший к нам из плена донской казак Саша Коженков.

— Не горюй, Володя, — все чаще говорила ему Анютка, даже когда в глазах его не было и тени грусти. А Зеболов, садясь за стол с дымящейся картошкой и нагибаясь ближе к тарелке, отвечал:

— По-ве-се-лимся-а-а...

Это означало, что пора отделению ужинать. Воло-

дя иногда поддразнивал радистку, вспоминая, как она хотела подстрелить меня во время первой нашей засады, когда я мчался мимо нее на немецкой легковой машине. Так было и сейчас.

— Повеселитесь с нами, товарищ подполковник, — сказали хором ребята отделения Лапина, уступая мне место за столом и давая ложку.

Это было вечером после поездки в отряд Бати.

V

Бате, так же как и нам, остро нужна была посадочная площадка. У него были свои нужды, у нас свои. Он хотел отправить на Большую землю какие-то важные документы, людей и несколько раненых товарищей. Ковпаку же аэродром необходим был дозарезу. Свыше ста раненых, среди них много тяжелых, сильно затрудняли маневренность отряда. Сказывалась также нужда в боеприпасах. Ясно было, что в таком состоянии отряд мог только пассивно держаться, а итти на серьезное дело — в новый рейд — командование не решалось. Поэтому мы объединили с Батей наши усилия в поисках площадки, пригодной для посадки современных тяжелых машин. Задача оказалась гораздо труднее, чем мы могли это себе представить. Леса, пески и топи — самые неподходящие места для аэродрома.

А именно они и составляют господствующий ландшафт в этих краях и простираются на сотни километров во все стороны. Батя расчистил площадку среди леса, но когда я посмотрел на нее, мне стало ясно, что машина здесь угробится.

Еще в декабре была у нас мысль посадить самолет на озеро, но наступившая тогда оттепель сорвала наши строительные планы. Так размокропогодило, что наш аэродром сразу оказался самой обыкновенной водой. От ледяной затеи мы временно отказались. Сейчас этот вариант приема самолетов всплыл опять,

причем все яснее становилось, что он единственный. Разведчики, превратившиеся в своеобразные геологические поиски ровного, твердого и достаточно большого куска планеты в этом районе, не приносили ничего утешительного. Ровными здесь были только обширные незамерзающие болота, летом непроходимые ни для зверя, ни для человека, а зимой с трудом удерживавшие легонькие белорусские дровни да плохонькую лошаденку, привычную к топям; твердыми могли быть только вырубки леса, но там тысячами торчали пни. Выкорчевка их зимой была делом невозможным, ни по времени, ни по количеству рабочих рук. Словом, самолеты можно было принимать только на озере.

Вначале мы думали принять их на небольшом, километра полтора в длину, озере Белом. Но оно было очень глубокое — до семидесяти метров, вода плохо промерзала, и лед был тонкий. Окончательно наши мнения сошлись на том, что наиболее подходящим было озеро Червонное, или, по-простонародному, Князь-озеро. Большое, самое крупное в этих местах, оно имеет яйцевидную форму. В длину километров двенадцать, в ширину — шесть-семь, не особенно глубокое, окруженное шестью селами.

Мы сразу же перебазировались в села, разбросанные по оврагу Князь-озера, расположив отряды по южному берегу его. Штаб и первый батальон стали в селе Ляховичи. Третий батальон — в селе Пуховичи. Второй — в колхозе «Комсомолец», четвертый батальон выдвинули на северный берег озера. Таким образом обеспечивались подходы к будущему аэродрому и его дальняя оборона.

Морозы все больше крепчали, и лед на озере достигал уже тридцати сантиметров толщины. Не откладывая дела в долгий ящик, мы сразу же приступили к подготовительным работам. Разметили большую площадку, где лед был потолще, и стали счищать с нее снег. Когда площадка была готова, появилось новое препятствие, которое преодолеть мы были не в силах. Авиационное начальство, узнав о том, что

мы хотим садить сухопутные самолеты на лед, не соглашалось на это. Время уходило. Стояли хорошие летные ночи, но сколько они продержатся среди зимы, да еще в Полесье? Несколько радиограмм, посланных Ковпаком о том, что лед крепкий, не возымели никакого действия. В посадке самолетов на лед нам отказывали.

Организацию аэродрома Ковпак возложил на меня, потому что еще в Брянских лесах, вылетая на Большую землю и два-три дня ожидая самолета, я с летчиками и техниками прошел нечто вроде небольших курсов подготовки. Курсы эти были продолжительностью пятнадцать — двадцать минут, но все же я знал основные технические требования, которые предъявлялись к посадочной площадке. Все у меня было учтено, кроме постройки аэродрома на льду.

Полной уверенности в том, что он выдержит тяжелую машину, не было. Тогда мы по-своему занялись техническими расчетами. Народу на очистке льда было до пятисот человек плюс сто саней с лошадьми. Я заставил людей притаптывать, плясать. Лед потрескивал изредка, но держал. Потом стали подсчитывать. Ковпак вообще любил всякие подсчеты и расчеты. И подсчитали, что вся эта группа людей с повозками и лошадьми весит до ста тонн. Дуглас вместе с грузом весит семь тонн. Мы эти семь тонн удвоили, затем в пять раз увеличили на силу удара во время приземления и решили, что можем принимать самолеты без риска.

Ковпак подождал дня два и дал радиограмму такого содержания: «Рядом с Кчязь-озером провели большую работу по выравнению, и нами подготовлена посадочная площадка на грунте». Дальше шли все технические данные, почти идеальные. Я знал их еще от летчиков — земля твердая, грунт мерзлый, ни топей, ни болот, подходы замечательные и т. д.

Начальство запросило данные снова. Мы дали их вторично в том же виде. Руднев колебался, но Ковпак все более настойчиво нажимал на авиационное на-

чальство. Наконец пришел ответ: «Ждите самолетов». Условные сигналы даны, и мы стали ждать.

На берегу озера была хатка, где всю ночь проводили сигнальщики. На льду жгли костры, в селе возле штаба стояли верховые лошади и несколько упряжек в санках.

Все было рассчитано так, чтобы по первому гулу самолета указать ему ракетами место посадки. Пока самолет делал круг и заходил на посадку, Ковпак, Руднев, Базыма и другие работники штаба должны были успеть вскочить на коней или в санки и проскакать километра полтора от штаба до посадочной площадки.

Как всегда бывает, в первую ночь самолета не дождались. Мы просидели у костров и в штабной халупе до трех часов ночи. Вначале разговоры вертелись вокруг Большой земли и авиации. Сперва они были восторженно-ожидательные, затем, по мере напрасного ожидания, придумывались причины, строились догадки, почему не летят самолеты. Так постепенно все причастные к приему самолетов осваивали некий техминимум по авиации, ее материальной части, организации и порядкам. Потом уже стали поругивать летчиков, которые-де «все дрейфуны и боягузы, боятся к немцам в тыл летать». На третью ночь эта тема была полностью исчерпана, и, поругав еще напоследок Гризодубову, полк, который работал на нас, мы переключались на разные другие, близкие нам темы. Об авиации помнили только часовые да дежурные, которые, позевывая, похаживали по улице, сидели на крылечках, кому как было положено нашим уставом внутренней службы.

Эти вечера, вернее ночи, имели каждая свой «гвоздь», каждая завершалась наиболее удачным рассказом. Рассказы эти поражали меня разнообразием, и я записал их мелким бисером в ученическую тетрадь с косыми линейками, поставив на обложке заголовок: «Тысяча и одна ночь в ожидании самолетов Гризодубовой, или партизанская Шехерезада».

История самой тетради тоже стоит, чтобы о ней рас-

сказать. Выспавшись после первой ночи ожидания самолетов, часа в два я зашел в штаб. Нужно было суммировать все разведданные, добытые за прошлые сутки, и дать задание разведгруппам на следующую ночь.

Примостившись на уголке стола, я собрал пачку разведдонесений, делая на них пометки. Начальник штаба, Григорий Яковлевич Базыма, трудился над отчетом.

Стоянки в ожидании самолетов, перерывы между рейдами — для штаба страдная пора. Нужно привести в порядок все документы, оформить, обработать все приказы, которые в боевой обстановке часто пишутся на клочке бумаги огрызком карандаша, сверить списки людей, записать погибших, внести вновь прибывших, отметить раненых. Словом, для бывшего директора десятилетки, а ныне начштаба Григория Яковлевича, который все любил делать сам и был как бы рабочей лошадкой соединения, работы хватало. Напротив сидели: за машинкой Вася Войцехович — инженер-топограф, по военной специальности артиллерист тяжелой артиллерии, в отряде — помначштаба по оперативной части; Семен Тутученко — архитектор, автор одного из павильонов на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, в отряде — художник, он же завделами штаба и он же заведующий архивами. Тутученко сейчас трудился над картой Сталинского рейда, изображая на ней путь отряда и его дела. С этой картой было нам много мороки. На художественное оформление карты особенно напирал Ковпак, придирчиво требуя нанесения всех мельчайших деталей рейда. Базыма составлял отчет за рейд. Карта и была иллюстрацией к этому отчету. Колонки цифр ложились столбиками и рядами в шахматном порядке на большую бумажную канцелярскую «простыню». В штабе у нас в последние дни был бумажный кризис. Давно не громили крупных центров, а на изготовление отчетов, наградных листов, списков ушли все запасы. Для черновиков с расчетами нехватало бумаги, и Семен Тутученко достал из объемистого, кованного железом, сундука

бумажный НЗ — стопку тетрадей, пересчитал и несколько тетрадок бросил на длинный стол, за которым работала вся оперативная группа штаба. Григорий Яковлевич взял верхнюю тетрадку и задумчиво стал перелистывать ее страницы. Губы его шевелились и что-то шептали. Войцехович перестал печатать, нагнулся и через плечо начальника штаба заглянул в тетрадь. Страницы ее были совершенно чистые. Светлосиние жилки линеек наискось перекрещивали шершавую бумагу, но Григорий Яковлевич все так же задумчиво листал чистые страницы, словно читал на них не видимые нам письмена.

Мы с Васей недоуменно переглянулись. Базыма поверх очков взглянул на меня.

— Что, дед-бородед, смотришь? Вот она, моя нивушка, лежит чистая, незасеянная, грязными пальцами не замызганная, черными пятнами не заляпанная... Эх, — вздохнул он. — Сидит, бывало, какой-нибудь Кирилло-Мефодий, два вершка от горшка, на парту навалился, ручонки расставил, головку набок держит, языком сопли вылизывает и выводит, выводит по листочкам: «Мама мыла... Мы не рабы...», и кряхтит, и носом шмыгает... А теперь... Ну, чем мы занимаемся...

Я, пораженный словами сурового Базымы, так ярко представившего нам этого семилетнего мальчишку, высунувшего набок язык, посмотрел на стол.

На «простыне» стояли в графах столбиками цифры, а графы гласили: убито, ранено, взято в плен, взорвано, уничтожено, взяты трофеи, пестрели названия оружия: «Манлихер», «МГ-34», «Дехтерев», минометы 81 мм, пушки, автомашины.

Тутученко восторженно смотрел на своего начальника. Его, видимо, тоже тронули эти воспоминания. Базыма первый очнулся и строго заговорил.

— Ну, хватит, хлопцы, хватит! За работу! Прилетит сегодня самолет, а у нас не будет отчет готов, не пришлось бы и нам дедовой плетки попробовать.

Штаб продолжал вести свою работу. Одну тетрадку с косыми линейками я тихонько взял для своих заметок.

VI

Вечером мы снова были на своих постах. И снова безрезультатно. Прождав на льду до часу ночи, изрядно промерзнув и разуверившись в том, что сегодня будут самолеты, я поручил дежурство начальнику техническим довольствием Соловьеву, а сам поехал в штаб. Там шла беседа. Ковпак и Руднев уже ушли домой. В штабе сидела в большинстве молодежь. Разговоры шли о боях. У большинства партизанский стаж с 1942 года. В первых наиболее опасных и ставших уже легендой партизанских боях, полыхавших на Украине осенью 1941 года, мало кто из нас принимал участие. Когда наступила пауза, заговорил Григорий Яковлевич.

— Хотите, я расскажу вам о знамени нашего отряда? — сказал начштаба Базыма. Он убавил свет в лампе, сдвинул на лоб очки и, глядя в окно, искрившееся снежинками в голубоватом свете луны, задумчиво начал:

— Было это в конце октября 1941 года. Отряд наш уже собрался — без малого сто человек. Люди пообвыкли малость в новом своем положении. Привыкли к смерти, борьбе, к противнику привыкли, одним словом, как говорят, обстрелялись. Отряд в это время уже костью в горле немцам стал. На дорогах к Путивлю не только ночью, но и днем не было им покою. Лучше всех работали наши минеры, да и разведчики щелкали немцев и полицию. В будень поодиночке, а в выходной, — когда подвезет, — и по десятку. В Спащанском лесу мы устроились хорошо и, можно сказать, даже комфортабельно. Вырыли землянки, лес разбили на сектора обороны. В карту заглядывать не было никакой необходимости — каждую кочку знали мы в своей округе, во всех селах и колхозах были свои люди. Особенную помощь нам оказывали женщины. Женщина и белье постирает, и разведчика укроет, и сама в город или на станцию в разведку сходит. Образовался у нас такой женский актив, и самым ответственным и цен-

ным человеком в нем была Соловьева Екатерина. Прибегает она однажды перед вечером в лес. Слышим, наша Катя корову кличет. А это ее пароль был. Выхожу я на этот крик. Она, запыхавшись, сообщает: «Завтра будут на вас наступление делать. Понаехали в Путивль танки, сказывают, будут танками партизан уничтожать». — «Больше ничего не скажешь?» — спрашиваю. «Ничего», — отвечает. «Ну, и на этом спасибо». Она и побежала. Ждем мы на другой день противника. Дороги подминировали. Только ждали мы их с одной стороны, а они — вот они, уже возле нашего лагеря. Два немецких танка ведут огонь во все стороны и прямо по лесу прут. Повыскакивали мы кто куда. Стреляем. Сначала бестолку все это делалось, а потом дед Ковпак команду подал: «Отстреливаться из-за деревьев и отходить к болоту». Была у него, видно, мысль заманить танки в болото. Так по его и вышло. Залетел с разгону один танк в трясину, забуксовал, на пузо сел и замолк. Несколько очередей дал и снова молчок. Другой, тяжелый, к нему не дошел, постоял и стал разворачиваться назад. «Эге, — думаем, — не везде эта машина страшна». А сами за деревьями лежим, обложили, как медвежатники медведя. Разворачивается второй танк и полным ходом назад из леса.

«Эх, жаль, уйдет косолапый», — говорю.

«Не уйдет, — говорит Ковпак. — Я на выход из леса минеров послал. Заминировать дорогу прямо след в след».

И действительно, не прошло и десяти минут, — как ахнет, только эхо лощинами да байраками пошло. Послали мы туда разведку, а сами первый танк караулим, только он — ни гу-гу. Давай мы подползать. Ползем ближе — молчит. Подползли еще ближе — не отзывается. Поднялись по команде комиссара с гранатами. Ура-а!.. А танк пустой. Экипаж сдрейфил и на первом танке бежал. Да не убежал. Тут и разведка возвращается — второй тяжелый танк действительно на мине подорвался и еще вдобавок загорелся. Зна-

чит, никто из танкистов из леса не ушел. Да еще мы с прибылью. Совсем исправный немецкий танк, с полным боевым запасом патронов и снарядов нам остался. Стали мы в башню лезть, а там всякой всячины полно. И мыло, и щеточки, и рушников вышитых, с петушками — целая дюжина, скатерть вышитая, мережкой отделанная... Со дна этого склада вытаскивает Митя Черемушкин — он у нас танкист был и потом на этом танке воевал, — вытаскивает Черемушкин завернутое в немецкую пятнистую плащ-палатку красное знамя. Развернули мы его. Не так чтобы очень роскошное, но вполне приличное знамя. Шелковое, посредине герб вышит золотыми нитками, с шнурками, а на конце их золотые китаечки, по бокам бахрома. Читаем надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Пионерский отряд полной школы десятилетки».

Как развернул я его, да эту надпись прочел, поверите, так меня слеза и прошибла. Тут Семен Васильевич, комиссар наш, подходит. Показали мы ему.

— Вероятно, фрицы в Германию хотели везти. Как боевой трофей.

— Еще и крест заработали бы, — смеется Митя Черемушкин.

— Знамя пионеротряда завоевали — думали так же легко и партизан возьмут.

Взял комиссар знамя в руки: «Вот мы и освободили тебя из неволи, пионерский славный стяг! Не было у нашего отряда своего знамени, а сейчас будет. В бою добытое, кровью врагов омытое». И край знамени поцеловал. Все, кто тут был, подошли и тоже знамя поцеловали.

Вечерело. Собрались мы в землянках, результаты боя обсудили и решили, как сказал наш комиссар: «Считать пионерский стяг — знаменем нашего отряда». На другой день наши девчата под гербом простыми серыми нитками вышили: «Путивльский партизанский отряд». И вот уже второй год как под этим знаменем через всю Украину мы ходим...

VII

На вторую ночь мы также не дождались самолетов. Морозы все крепчали. По ночам уже отмечалось до 35 градусов ниже нуля. Лед на озере звенел и гулко потрескивал, разбегаясь извилистыми трещинами от центра к берегам. Самолеты могли прибыть лишь после полуночи, и я первую половину ночи решил провести в штабе.

В жарко натопленной хате народу было полно. Штаб работал, подбивая хвосты к отчету за Сталинский рейд. К полуночи все было закончено. Ковпак и Руднев поставили свои подписи под каждым документом и ушли ужинать.

В полночь я выехал на озеро. Там уже давно горели костры. Опасаясь вражеской авиации и разведки, мы придумали движущиеся костры, которые горели в стороне от расчищенной ледяной площадки. Мы рассчитывали, что вражеские самолеты не поймут костерного шифра, который будет меняться, а если вздумают бомбить, то разбомбят лед в стороне от подготовленной площадки. Костры были сделаны на санях. На обыкновенных больших дровнях закреплялся ящик с песком. На песке складывался костер. Пара лохматых, куцых белорусских лошадок удивленно-весело помахивала хвостиками, подогреваемыми огнем, горевшим на санях. При появлении своих самолетов движущиеся костры должны были образовать нужную фигуру, которая служила условным знаком. Она показывала направление посадки и границы аэродрома. Аэродром обслуживала шестая рота. Люди ее уже имели некоторый опыт, а с командирами я провел целый ряд инструктивных бесед, передавая им свои скудные познания в аэродромном деле. Был у нас и один летчик, сбитый немцами еще в начале первого года войны и подобранный осенью в районе Гомеля. Он помогал мне. Одним словом, партизанский БАО был сколочен на славу. Рота, разбитая на группы по количеству костров, несла дежурство всю ночь.

Хорошо закутанные хлопцы сидели у огня и вели бесконечные разговоры вокруг надоевшей темы о самолетах, затем о прочности льда и рыбачьих способностях Павловского, успевшего использовать нашу стоянку на озере для заготовки рыбы. Рыба под давлением льда, который, утолщаясь, грозил ей гибелью, жалась к берегам и сама шла в приготовленные ей ловушки. Рыбакам оставалось только черпать ее широкими вилами да следить, чтобы ловушки не замерзали. Вилы наших рыбаков были с утолщениями на зубьях, как для перегрузки свеклы, и черпали ими рыбу из запруд прямо в сани. Павловский обещал в неделю засолить несколько тонн рыбы. Торопясь, он даже ночью выгонял старшин рот на каналы, и рыбу ловили при свете «летучих мышей».

— Легко ему так рыбачить, когда сама рыба в санки лезет, — говорили командиры.

— Богатому и чорт дитя колыше, — смеялся Ковпак.

— Озеро не только самолеты принимать будет, оно и кормить нас должно.

— Такое уж наше озеро. Недаром оно Червонным прозывается. А то еще Князь-озеро, по-нашему, простонародному, — заметил старик-рыбак.

— А как же правильней будет?

— А кто его знает. Говорят старые люди по-разному. И Червонное, и Князь, и Жид-озеро, и всякому названию свой пример будет.

Дед-белорусс, полсотни зим отмахавший топором в лесу, а летом рыбачивший, простуженным голосом начал нам рассказывать легенду полесского озера. Оно, подобно древнему витязю, носило несколько имен.

— Озеро наше Червонным зовут за то, что много рыбы в нем и рыба все больше красноперая. Так я понимаю. А отец сказывал, — еще на его памяти было это — за владение озером большой бой был между богатеями, и даже кровь люди проливали. Через ту кровь пролитую оно и Червонным прозывается...

Колька Мудрый, перебивая старика, засмеялся:

— Это что, дедок. Самый правильный пример нам бабка сказывала, даже песни про то сложенные пела. Там бабка знаешь, какая? Ей уж девятый десяток, а она песни поет, а когда самогоном хлопцы угостили, даже в пляс пошла. Из нее песок сыплется, а она пляшет. Вот это пример так пример...

Дед замолчал, видимо обидевшись.

— Расскажи, Мудрый!

— Не умею я, хлопцы. Вот бы бабку сюда, на лед, — подморгнул он в сторону старого рыбака.

Тот сплюнул и отошел подальше от костра, как будто послушать, не гудит ли самолет.

— Ну вот, деда отшил, а сам не рассказывает!

— Теперь от скуки подохнем, пока тех самолетов дождемся!

— Так бабка озеро — Жид-озером только и прозывает...

— Опять чего-нибудь набрешет...

— Давай рассказывай про это озеро!

— Ну, добре... Так и быть, расскажу.

— Ша, хлопцы, тише...

От соседних костров стали подходить заинтересовавшиеся партизаны.

Выждав, пока все усядутся, и перевернув огромное полено, вспыхнувшее в морозном воздухе снопом искр, Мудрый начал:

— А был этот пример еще во времена царицы Екатерины, а может, и еще раньше. Жил в этих лесах князь. Все леса, реки и сеножатки ему одному принадлежали. За большие заслуги ему царица все то пожаловала. Был князь рода знатного, характера твердого, и полжизни провел он в войску, да по границам честь царскую защищал. Вот вышел срок его службы и получил он этот край во владение. Приехал князь, терем построил и живет.

— Чево построил?..

— Терем, дура... Дом такой на множество этажей...

— А-а-а... Это как в Харькове я видел. Дом из одного стекла. Все насквозь видать...

— Какое стекло? Деревянный дом, но весь в этажах... Ну, вот и перебили!

— Хлопцы, не перебивайте, — скомандовал комвзвода шестой роты Деянов. — Кто хоть раз пикнет, так головешкой между глаз и шандарахну!

Воцарилась мертвая тишина, лишь потрескивал костер да тихо фыркали лошади, помахивая нагретыми хвостами.

Мудрый, подражая старческому бабьему шамканью, продолжал:

— Живет себе князь во многоэтажном терему. Но на ту беду детей у него много, да все одного женского полу, а сын один-одинешенек и последний в роде, как на руке мизинчик. И не чаял тот князь в своем сыне души. Известное дело: богатства он имел неисчислимые, и оставить все то девкам без продолжения своего княжеского корня была для него большая обида. И было тому князьку молодому с малых лет всякое попущение и баловство. А старших дочек держал родитель в строгости и непреклонном послушании. Положено было им большое приданое каждой и справа девичья, как то княжеским дочерям приличествовало, и все. Больше ни на какую ласку они не могли надеяться, потому что вся отеческая любовь и весь княжеский маеток был от отца молодому князю. Стал князек подрастать и выравнялся в красного молодца, как дубок ровный, крепкий, щечки розовые, волосы русые, глаза голубые. Нрава был тихого, послушного и задумчивого. Дружков-годочков у него не было, потому что с мужиками знаться ему отец не дозволял. Больше любил у сестер в горнице сидеть да их песни девичьи слушать.

— Вот чешет, ну, тебе — чистая бабка... — восхищенно прошептал молодой партизан.

— Ша, я что сказал? Ша — и все, — зашипел Деянов.

Мудрый продолжал:

— Как подошла пора его женить, — заботился сильно старый князь о продолжении рода, — объявись тут

нежданная оказия. Уже пару годов как всему этому случиться, взял у старого князя в аренду корчму — шинок по-нашему — один польский еврей. А стояла корчма на перекрестке трех наиглавнейших дорог. Для корчмы то место было самое выгодное, так как перекресток этот выходил прямо к пристани, а пристань на Припяти-реке. На реке в ту пору, бабка сказывала, кораблей шло видимо-невидимо. Открылся на реке канал королевский, что по нем из Польши да от шлёнзаков всякие товары до Днепра и дале шли. А люд по тем дорогам шел торговый, все купец да приказчик хоть и разной нации — что поляк, что шлёнзак, что русский, что немец, а все купец. А купец всякой нации и поесть и попить не дурак. Скоро по всем шляхам пошла слава про ту корчму, а еще большая слава про дочку корчмаря — Сарру. Сказывала бабка, что видела она в молодые годы ее патрет, выбитый на платок, так краше на свете баб нет.

— Вот бы тебе такую бабу, Колька! — не выдержал сам Деянов.

Мудрый только презрительно посмотрел на него:

— Этим не занимаемся...

— Рисовал этот патрет заезжий тальянец. Как завидел он шинкарочку Сарру, так глаз отвесть не мог, краски слезой мочил, патрет малевал. А ей все про любовь свою говорил. В свою Италию замуж за себя сманывал. Но не такова была шинкарская дочь, чтобы на уговоры поддаться. Сидит за прилавком, глазом не моргнет. Кто в шинок зайдет, пить закажет — подаст с легким поклоном, и больше ни-ни.

— Люблю девок с характером! — заметил Деянов.

— Ходил-ходил тот тальянец, вздыхал-вздыхал, пока в одну ночь не повесился на высокой сосне. Еще большая слава про ту корчму да про шинкарочку Сарру пошла. И приключись тут оказия молодому князьку по этим шляхам путь-дорогу держать. Заехал в ту корчму, за почетный стол сел, круг него слуги, соколки. Тут и случись беда с шинкарской дочерью. Как взглянула на молодого князя, так и глаз не сводит,

дух никак не переведет. Совсем девичий свой стыд и совесть потеряла. Князек сидел задумавшись. «Медку попробуем, ваша княжеская милость?» — говорит один соколок. Князь головой задумчиво кивнул, а шинкарочка уже с поклоном чарку серебряную подает. Уклонилась до земли, поднос держит, а как назад голову свою подняла и черные косы с плечей тряхнула, прямо князю в очи глянула, так тот и обомлел. Смотрит, глаз от шинкарки отвесть не может, чарку серебряную не берет. «Плохо просишь девица», — смеются соколки. А они все глаз друг от друга отвесть не могут. Тогда и крикни главный соколок: «Наш князь — молодец, от девицы чарочку сухую не берет! Надо пригубить и князю губки призасахарить». — «Правда?» — тихо пытает шинкарочка. — «Правда», — отвечает князек. Тут она чарочку пригубила и молодого князя в губы поцеловала.

— Ух, ты! — осторожно выдохнул Деянов.

Колька явно был в ударе и продолжал, вдохновляясь все больше:

— Чарку с подноса сняла, и как он ее выпил, шасть по-за прилавок — и в покои убежала. Сидит князь с соколками, пьет, веселый вроде стал, а глаза задумчивые. Шинкарка в тот день так больше и не вышла. Словом, стал с той поры князек частенько по тем дорогам ездить, то на охоту, то с охоты, то на речные караваны глядеть, да все ту корчемку не обминает. Соколки-то смекнули, что князю шинкарская дочь полюбилась, и еще более того ему про нее говорят, сманить ее на ночку предлагают в соседнее именьице. Так оно и вышло. А как ее сманили, тут шинкарка князю и говорит: «Женись на мне, тогда любить, миловать буду». Да с тем обратно на княжеском рыдванчике укатила.

— Ох, и стерва баба! — опять не выдержал Деянов.

Кто-то из партизан показал ему на головешку.

Мудрый вошел во вкус и продолжал жестикулируя:

— Как услыхал про то старый шинкарь, аж за пей-

сы схватился. «Сурка, — кричит, — сучья дочь, что себе в голову взяла? Князь тебя любовью одаряет, а ты что? Замуж! Ты что, меня и себя погубить хочешь? Не знаешь, что такое князь?» — «Знаю, — отвечает Сарра, прекрасная еврейка. — Знаю, что князь, что он меня любит, души во мне не чает, а если любит, значит, и замуж возьмет». — «Выкинь ты из головы это. Где это видано, чтобы сиятельный князь на бедной еврейке женился?» — «Если любит, так женится», — отвечает упрямая дочка. Стоит она на своем. Узнал про ту неравную любовь старый князь. Страшно разгневался старик и, ни слова не говоря сыну, велел своим слугам старого корчмаря схватить и связанного к себе привести.

Корчмарь в ноги князю повалился и слезно молит простить его неразумную дочь. Затем просит руки ему развязать и вынимает из кармана платок, на котором патрет красавицы Сарры тальянцем нарисован. «Ваша княжеская милость, вот она, моя дочь, казните, милуйте, но всему виной красота ее, не больше». И рассказал князю случай тот с тальянцем-художником, который на сосне повесился. Призадумался тут старый князь, сына зовет и спрашивает: «Скажи, сын дорогой, надежда моя, что ты думаешь?» — «Люблю, — на корчмаря показывает, — его дочь Сарру и жениться прошу вашего благословения». Рассерчал князь: «Не будет тебе моего благословения». Князеньку с глаз прогнал, а корчмаря велел в подземелье бросить.

— Вот сплотаторы-феодалы! Всегда у них так: чуть что не так — сразу в поздемелье...

— Это чего — феодалы? — шопотом спросил молодой партизан.

— Ну, старинные фашисты. Одним словом, буржуазея и феодалы.

— Но князек тут тоже свой норов показал. Было у него небольшое именьице, от покойной матери в наследство осталось, да злата, серебра кованый сундучок. Завел князь знакомство с разным ушлым народом, и стали они пуще прежнего со своей любезной

встречаться. А чтобы никто про то не ведал, построил князек тайно от отца, посреди большого — одним лесным людям ведомого — озера каменный теремок и в том теремке поселил любезную свою зазнобушку.

Он вскоре и сам на этот островок перебрался, благо зима стояла и по озеру напрямик санная дорога была проложена. Сарра в христианскую веру перешла и должно было быть им венчание по всему закону. А зима в тот год была морозная, снежная. Озеро льдом сковало да снегом занесло. А как глянула весна с туманами, да сразу ветры с Днепра подули, и солнце припекло, тронулся враз везде лед. Припять разлилась, что море, тут и на озере воду вверх подняло, и пошел по нему гулять толстый лед. Вот тут-то теремок и разнесло. Князька в ту пору там не было, он еще по санной дорожке укатил к главному попу договариваться, чтобы сразу по всему закону с крещеной еврейкой венец принять. Договорился с попами и едет весел по дороге весенней, распутной, тяжелой. Подъезжает к озеру, а на нем только волны да льдины гуляют. Узнал он у рыбаков, что никто с того острова и теремка живой не выплыл. Постоял, постоял, вышел на высокий берег, что вековыми соснами оброс, да с разбегу в озеро и ухнул. Не успели люди к берегу подбежать, а уж ему льдинами и голову русую размозжило, и не стало видать молодого князька. Дошла про то весть до старого князя. Корчмарю он велел камень на шею привязать, в озере утопить, а сам потосковал, потосковал, да вскоре и помер. И называется с тех пор это Червонное озеро еще Жид-озеро или Князь-озеро. Кому как в голову придет, так и называют. Вот, дедок, какой пример нам бабка рассказывала.

Мудрый кончил свой рассказ. Долго молча сидели хлопцы у костра, и никто не нарушил тишины. Только шумело пламя костра и потрескивали сухие дрова. Снег вокруг саней с костром оттаял, и на льду образовалось темное пятно воды, углей и золы, — все, что осталось от сгоревших дров.

Мы по команде Деянова перекочевали на новое место. Переехав, еще долго сидели молча. Затем начались новые разговоры, рассказы и побрехеньки, в которых люди коротали время длинной январской ночи в ожидании самолета.

VIII

В третью ночь ожидания самолетов в центре внимания был рассказ Ковпака. Дед сначала включился в общий разговор и рассказал несколько забавных случаев из своей жизни, а затем перешел к более древним солдатским воспоминаниям.

— Родился я в селе Котельва, Полтавской губернии. Село здоровенное — до сорока тысяч народу. Семья была немаленькая, одних братьев пять человек. Як стали пидростать, пришлось итти в наймы — земли у нас нехватало. Потом служил приказчиком у купца. Так дотопал до призыва. В армию прийшов уже грамотный, свита побачив, кое-що чув. Помню один случай. Работал батраком у хозяина, у него сын был, в каком-то коммерческом училище учился, студент вроде, тогда для меня это все равно было: студент и студент. Приезжает раз сынок на рождество з города, вещи разложил, а один чемоданчик ко мне в каморку под топчан сунул. Меня тут и разобрало: що в тому чемоданчику? Я чемоданчик тот раскрыл, а там одни только книги. Полистал я их и стал по одной вынимать и тихонько почитывать. Особенно запомнилась мне одна, называлась: «Попы и полиция». Насчет первого тезиса я много кое-чего знав. Я в церковном хоре долго в дискантах был, голос був у меня звонкий, характер бойкий, — за голос хвалили, за характер гули от регентовского камертона с головы не слазили, а от второй тезис на многое мени очи открыв.

Стал я тогда всякой такой литературой интересоваться. После 1905 года она по всяким потайным сундучкам да скрытым местам еще оставалась. Так

что в солдаты я пришел, уже имея понятие о жизни и борьбе, которую народ вел с царизмом.

Затаив дыхание, сидели Семенистый и Шишов, Колька Мудрый и Намалеванный, боясь проронить хотя бы слово. Ковпак вошел в раж, лихо сдвинул шапку на затылок.

— ...Действительную служил в Саратове, в Александурском пехотном полку, четырнадцатая рота, четвертый взвод, шесть раз стоял часовым у знамени. Командовал ротой штабс-капитан Юриц, большой чудак. То он во время дежурства весь полк на улицу выгонит — зорю играть с барабанщиками, сигналистами и оркестром: все в городе остановит. Хулиганством от скуки занимался. Даже губернатору выезжать на усмирение приходилось. А то в тире стрельбы устроит. А стрельба такая: высыплет полный карман пятаков перед ротой и скомандует: охотники стрелять выходи! — попал в яблочко — получай пятачок, не попал — в ухо. И так, пока все пятаки не расстреляет.

Ребята дружно захохотали. Один Коренев сидел сумрачный.

— Знаем мы эти офицерские шутки. Я, брат, действительную ломал. Так у меня от одной словесности черепок лысеть в двадцать три года стал...

Ковпак, все более оживляясь, говорил:

— Во-во! Наш штабс-капитан Юриц тоже любил словесностью заниматься. Тоже комедии ломать мастер был...

Так я и протянул при нем всю службу. Шесть раз у знамени часовым стоял, а один раз тридцать суток ареста заработал. Вместо полного генерала, командира корпуса, полицмейстеру почетный караул с оркестром вызвал... Лошади у них, понимаешь, одинаковые были, серые в яблоках. Ну, поторопился, дал маху и сразу на гауптвахту. Но отсидеть полностью арест штабс-капитан не дал, — во время своего дежурства освободил. Кончил я действительную, а домой итти не к чему. Земли у батька было мало, да и та вся на песках. Если разделить между брать-

ями — не хозяйство, а пшик получается. Остался в Саратове. Попервоначалу устроился грузчиком на элеваторе, мешки с зерном таскать. Триста двадцать две ступени на гору носить надо было. На самом верху — большая ссыпка, куда зерно по трубам в пароходы и баржи поступало. А называлась эта ссыпка — «цветок». Вот первый день, как потаскал я мешочки на «цветок», — так к вечеру и спину не разогну. Так на всю жизнь запомнилось: как дело трудное, непосильное, говорю я: «на цветок!» Потом работал я в трамвайных мастерских и по всяким другим местам. А тут скоро война германская: не успел солдатский мундир забыть и снова — шинелку на плечи и шагом марш!..

Войну по-всякому пришлось тянуть. Был и стрелком, и ординарцем, и разведчиком. Два Егория заработал и две медали, а потом все дальше понятно стало, за що тая война идет, и стал я сам к себе вроде жалость иметь. Но все же числился отличным разведчиком. Как вызывают охотников, я тут как тут. Только стали мы на всякие хитрости пускаться. Немецких и австрийских погон у нас были полны карманы. Как в разведку пойдем — с окопов выползем, в первой же лощине выспимся, а перед рассветом стрельбу поднимем — и обратно. Начальству доложим, что сняли часовых и тому подобное, а в доказательство — немецкие погоны. Начальство чарку выдаст и от караулов и секретов освободит. Так и получалось, что один и тот же немецкий полк на разных участках фронта воюет. Одним словом, воевать по-честному на царя у нас охота пропала — выкручивались, кто как мог.

В революцию притопало нас, фронтовиков, в Котельву больше сотни. Стал народ на партии делиться, а мы, фронтовики, все за большевиков. Брат мой Алексей, я и еще из матросов один, Ковпак, однофамилец мой, стали мы у себя переворот делать по всем правилам. Я командиром, фронтовики Милетий, Пустовой, Бородай — помощниками. Захватили почту, школу, установили советскую власть и стали землю

делить. Землю порасхватали в момент. Я земельным комитетом заворачивал, всем беднякам старался в первую очередь, где получше, а когда сам опомнился, то и вышло мне снова на песках. Ох, и ругала меня мать за эту самую дележку! «У людей диты як диты, а у мене... От же бисова дитына, всих землею надилыв, тильки про себе забув». Недолго с той землей дело шло гладко. Вскоре появились белые: карательный полк к нам пожаловал. Думали они кавалерийской атакой в село ворваться, застать нас врасплох. Да я уже кумекал, что к чему: сотни три борон собрали и устелили ими улицы. Пришлось лихим кавалеристам коней назад поворачивать, особенно когда мы из «Люиса» и «Шоша» их полоснули. Пулеметы такие были — «Люис» — ду-ду-ду, а «Шош» — бах-бах, выстрелов сорок в минуту давал. Это вам не шутки.

— Вам бы тогда одну нашу третью роту с автоматами и пулеметами, товарищ командир, — весело сказал Колька Мудрый.

— Всю белогвардейщину покорили бы, — вставил Дед Мороз.

— Дали мы белякам по морде, а все же пришлось нам со своим отрядом в леса уходить. Затем снова в село — власть устанавливать. Всего пришлось. Так постепенно наш отряд сколачивался, вначале действовали в своем районе, затем по заданию переключились на другие фронты. Пришлось мне еще в гражданке побывать и в Путивльском районе. Тут недалеко я с Пархоменко встретился. Получаю приказ от Полтавского губвоенкома: «Двигайся на Сумы, Ковпак, в распоряжение старшего военного начальника». Ну, двигаюсь. Навстречу колонна, а в середине колонны здоровенная легковая машина. В машину пара серых волов впряжена, а в машине дядько в чемерке и с биноклем. Кто такой? Говорят: сам командующий, товарищ Пархоменко. Доложил я ему все как следует по форме, тут же он мне и задачу дал — на Сейму переправу держать своим отрядом. «Занимай, товарищ, оборону и держись. Через пару дней, как бел-

зину достану, я к тебе подкачу. Получишь дальнейшие приказания». И укатил на своих волах. И что вы думаете? Через два дня точно — газует на машине прямо ко мне в цепь. Ребята мои повеселели. Все-таки техника! «Разжились бензинчиком, товарищ Пархоменко?» — спрашиваю. «Где там, на денатурате езжу, не видишь, синий дым сзади стелется». Посмеялись немного. Тут он мне новую задачу дает: двигаться в Тулу на сборный пункт, на организацию регулярных частей Красной Армии. Ну, до Тулы я не дотянул — в дороге тифом заболел. Хлопцы мои сами поехали, а меня в санитарную теплушку положили. После тифа на сборном пункте встречаю я матроса, земляка из Котельвы, а по фамилии тоже Ковпак. Сразу мне аттестат в зубы и прямо в Чапаевскую дивизию помощником начальника по сбору оружия. Сейчас, по-теперешнему, выходит вроде трофейная команда, а на самом деле совсем не то. Чапаев тогда через Урал рвался, а сзади у него казачество оставалось, а у каждого казака спокон веку на стене винтовка и шашка висят. Чапаев нам и приказал: «Если хоть один выстрел нам в спину будет, я с вас тогда шкуру сдеру!» Вот какая должность мне выпала. Ну, и помотались мы с этим сбором оружия. Всего приходилось. Скоро Чапаев погиб, а меня с оружием этим собранным под Перекоп перебросили. Так и дотопал я в Красной Армии до конца гражданки. А потом...

— Гудить! — закричал дежурный на дворе. Мы все высыпали на улицу, думая, что летит самолет. Прислушались, ничего не слышно.

— Кто кричал? — спросил Ковпак у часового.

— Так это дежурный нас разыгрывает. Кричит: гудить!.. а мы: самолет? — Не, Павловский гудить... Они там свою хозчасть распекают. Ну и похоже...

Ковпак сплюнул и зашел обратно в штаб. Хлопцам понравилась затея. Все ночи в разных концах села шутники кричали:

— Гудить...

— Хто, самолет? — притворно серьезно спрашивали из дворов.

— Не, Павловский гудить, — отвечал балагур, шествуя дальше и затем в другой роте повторяя то же самое.

IX

На длительной стоянке я ближе стал знакомиться с внутренней жизнью отряда, его людьми, организацией и моралью. Стал наблюдать и выяснять для себя движущие силы, цементировавшие этот коллектив, способный на большие дела. Особенно меня поразили отношения людей друг к другу, их моральные нормы, может быть примитивные и упрощенные, но очень действенные, оригинальные и самобытные. Они были основаны на большой правдивости и честности, на оценке человека по прямым, ясным и суровым качествам: храбрости, выносливости, товарищеской солидарности, смекалке и изобретательности. Здесь не было места подхалимам, жестоко высмеивались трусы, карались обманщики и просто нечестные люди. Это был коллектив без тунеядцев. Беспощадно искоренялись ложь — щит посредственности от трудностей жизни, и обман — спутник насилия.

Я совершенно не знаю, как сложился, в какие жизненные формы вылился труд, быт и солдатский подвиг осажденного Ленинграда, но я почему-то уверен, что нормы поведения, кодекс морали ленинградцев имели много общего с нашими требованиями к себе, хотя по чисто внешним признакам между нами было мало общего. Голодать нам приходилось отнюдь не часто, а лишь в редкие периоды крайне затруднительных положений, когда немцы бросали на нас крупные карательные экспедиции, да если и голодали мы, то не систематически. Воевали все время на ходу, и вся наша тактика строилась на том, что мы, не обороняя территории, непрерывно нападали на противника. Зерно тактики — никогда не допускать,

чтобы враг мог блокировать вас. Но когда я ищу сравнений, то мне иногда кажется, что мы были кочующими по просторам Украины, Польши и Белоруссии ленинградцами. Какие-то незримые нити связывали нас, как связывает блеснувшая во взгляде мысль единодумцев, решившихся умереть, но не сдаться врагу. И не только не сдаться, и не только умереть, но и сеять в рядах врага смятение и смерть.

За год борьбы в отряде сложились правила поведения, традиции, обычаи и обряды. Вот один из них,

Весной 1942 года командиру отряда Ковпаку было присвоено звание Героя Советского Союза. Как трудовые пчелы матку, охраняли старожилы отряда честь высокого звания командира. Особым смыслом и значением был проникнут введенный после этого обряд сдачи дежурства. Ежедневно вечером, без четверти шесть, к штабу подходили старый и новый дежурные и, пошептавшись с Базымой, докладывали ему по бумажке все мелочи бытия отряда за сутки. Затем отходили в сторону и ждали. Базыма продолжал работать, изредка поглядывая на часы, круглую цыбулину, всегда лежавшую перед ним на столе. Без одной минуты шесть он снимал очки и глазами давал сигнал дежурным. Сдающий дежурство делал несколько шагов вперед к Ковпаку и громко командовал:

— Отряд, смирно! Товарищ командир отряда Герой Советского Союза... — и четко рапортовал о сдаче дежурства.

За ним произносил вызубренные слова рапорта принимающий дежурство. Нужно было посмотреть на серьезные лица стариков: Деда Мороза, Базымы, Веласа или на связных мальчишек, всегда вертевшихся в штабе. Все застывали по команде «смирно». Да и сам Ковпак, — он не просто исполнял одну из своих служебных обязанностей, нет, он священнодействовал.

Но не мелкое честолюбие породило этот обряд. Гордость за свою боевую славу, увенчанную высшей наградой — званием Героя их командиру, и честь этого звания они оберегали всем своим авторитетом ветеранов-партизан.

— Отряд, смирно! Товарищ командир Герой Советского Союза... — ежедневно раздавалась громкая команда в курных полесских избах, на полевых дорогах, на стоянке в лесу... Даже если роты вели бой и шальные пули срезали ветки деревьев возле штабных повозок, все равно в восемнадцать ноль-ноль раздавалась она.

А в стороне стоял, стройно подтянувшись, комиссар Руднев, введший в отряде этот обычай, стоял серьезно, глядя в глаза дежурному, с рукой у козырька армейской фуражки.

Солдат честолюбив. Тем более честолюбив солдат-профессионал. Руднева тоже наградили... орденом «Знак почета». И он, два раза раненный за этот год, скромно стоял в стороне и держал руку у козырька, ежедневно в восемнадцать ноль-ноль с уважением слушал им же самим придуманную формулу рапорта.

— Отряд, смирно! Товарищ командир Герой Советского Союза...

Да будет бессмертной слава бескорыстному честолюбию этого Солдата!

К чести Ковпака нужно сказать, что он не оставил это дело. Обидевшись за бездушное отношение к комиссару, он сразу послал довольно грубоватую радиограмму на Большую землю, кончавшуюся словами: «...все ж таки це вам — комиссар, а не доярка»...

Через год с лишним Рудневу присвоили звание Героя... посмертно.

С Ковпаком на Князь-озеро пришли четыре отряда, называвшиеся соединением партизанских отрядов Сумской области. Отряды эти были: Путивльский, Глуховский, Шалыгинский и Кролевецкий (по имени районов Сумской области, где они организовывались). Соединение для конспирации получило номер и именовало себя воинской частью 00117, а отряды были названы батальонами с порядковой нумерацией. Правда, батальоны были очень неравны: в Путивльском, или первом батальоне, насчитывалось десять рот, а из Брянских лесов нас вышло даже тринадцать. Добавочные три номера носили разведывательные груп-

пы различных органов — вроде моей тринадцатой роты. В Глуховском отряде, или втором батальоне, было три роты, в Шалыгинском — четыре и в Кролевецком — три.

Кроме стрелковых рот, в каждом батальоне — взвод разведки, отделение минеров и хозяйственная часть. Командиры батальонов: второго — Кульбака, третьего — Матюшенко, четвертого — Подоляко. Первый батальон командира не имел: им командовал сам командир соединения — Ковпак. При первом батальоне была разведрота, или, как у нас называли, главразведка, рота минеров, взвод саперов, узел связи и главная хозчасть, подчиненная Павловскому.

Роты возникали не сразу, а формировались постепенно, как партизанские группы, и возникали часто по территориальному признаку: так, например, восьмая группа почти вся состояла из жителей сел Литвиновичи и Воргол, Путивльского района; шестая рота — из командного состава «окруженцев»; девятая рота — из жителей сел Бывалино и Бруски. Села Бывалино и Бруски, Путивльского района, примечательны тем, что все жители этих сел однофамильцы — Бывалины. Поэтому и в девятой роте, в начале организации, все бойцы были Бывалины. Затем они рассосались по отряду, а в девятую роту вливалось пополнение.

Это обстоятельство накладывало своебразный отпечаток на подразделения. Постепенно, с уходом от родных мест, группы вырастали в роты и приобретали новый характер. Во время Сталинского рейда роты распределялись уже не по территориальному признаку, а по военной целесообразности. Вторая и третья роты, самые лихие, где преобладала военная молодежь, были превращены в роты автоматчиков; четвертая рота, под командованием директора путивльской средней школы Пятышкина, — стрелковая; пятая рота имела 45-миллиметровую противотанковую пушку, шесть станковых пулеметов и считалась ротой тяжелого оружия; шестая стрелковая; седь-

мая — тоже; восьмая рота, так же, как и пятая — с пушкой и батальонным минометом — была тяжелой ротой, а остальные — стрелковые.

Первый батальон насчитывал до 800 человек, остальные три — по 250—300 человек. Эта странная, с военной точки зрения, организация складывалась исторически, в боях и в муках рождения нового человеческого коллектива, и никому в это время не приходило в голову ломать эти формы, освященные традициями.

Армия не только воюет, жизнь ее состоит из сложных хозяйственных, учебных, организационных процессов. Вопросы снабжения ее продовольствием, одеждой, обувью и оружием — одни из самых главных. Но как их решать в тылу врага? Продовольствие — это самое легкое дело. В первые месяцы войны было много всяческих складов продуктов, захваченных немцами, многие из них слабо охранялись и отбить их у врага не представляло особого труда.

Оружие добывалось труднее. В первую зиму часть оружия добывалась у населения, подобравшего его при отступлении Красной Армии, остальное бралось в бою. А вот одежда, обувь — это был, пожалуй, самый сложный вопрос. В первые месяцы организации отряда этот вопрос еще не ставился. Но к зиме сапоги поизносились, поистрепалась по лесам и кустам захваченная из дому одежонка. Начались холода. Одежда стала самым острым, самым больным местом.

Были лихие хлопцы, которые в боях захватывали много немецкого обмундирования, но комиссар Руднев, «совесть отряда» — человек, не только руководивший боями, но и устанавливавший нормы поведения, мораль, — вначале отрицательно относился к людям, напялившим на себя мундир врага. И действительно, многие брезгливо относились к зеленой шинели немца, светлокоричневому мадьярскому мундиру...

— Вроде и неплохое сукно, да не наше — козлом пахнет,—говорили вчерашние колхозники, выбрасывая захваченную одежонку и стараясь добыть к зиме ват-

ный пиджак с воротником, а еще лучше — хороший кожух. Но, вникая глубже, мы нащупали суть, если хотите, политическую сторону этого интендантского вопроса. И, нащупав, увидели, что этот, на первый взгляд, интендантский, хозяйственный вопрос, по существу дела, становился главным рычагом, регулирующим взаимоотношения с населением. Крестьянин, мирный житель, если ему и приходилось поделиться с партизанами куском хлеба или мяса, как правило, делал это с охотой. Много ли партизан съест, да и съест он раз-другой, а при налете на немецкие продсклады вернет взятое сторицей. А вот сапоги... это уже дело похуже. Взятые у дядьки сапоги отворачивали население от нас, оно начинало смотреть на партизан как на грабителей. Интендантство становилось политикой. Нужно было учитывать это, и к осени 1942 года мы пришли к заключению, что единственный правильный выход — это стимулировать переход на одежду врага. Зимой сказанная Колькой Мудрым фраза сразу облетела весь отряд:

— На иждивение Адольфа Гитлера!..

— Правильно, — смеялись старики, — раз нас с печек потревожил, пусть и кормит, и одевает нас Адольф.

К зиме большинство партизан носило немецкие мундиры и шинели, а наиболее лихие обзавелись жандармскими кожухами с бараньим теплым мехом. Они были крыты немецким мундирным сукном с каракулевыми воротниками. Мы рассуждали так: пусть лучше снимают одежду с врага, чем с мирного жителя.

Ковпаку еще ранее хлопцы добыли длинную мадьярскую шубу до пят. Она была широка и напоминала поповскую рясу. Но Ковпаку она пришлась по душе. Он часто мерз. Мало кто знал это, но старика ололели зубы. Они почти все выпали, и заботливая кухарка штаба, чернявая тетя Феня, ежедневно готовила Ковпаку мозги. Молока дед не любил, предпочитая ему «то, що от скаженой коровы».

Мозги опротивели ему до тошноты, но больше ничего не мог он разжевать.

Рудневу и Базыме тоже добыли немецкие теплые шубы.

Присматриваясь к людям во время Сталинского рейда и особенно во время стоянки на Князь-озере, я увидел, что правильное регулирование трофеев — это одна из главных жизненных задач отряда.

В отряде были разные бойцы, были храбрые, лихие воины, были просто честные бойцы, были и трусы. Были роты боевые, были роты, выдающиеся своей стойкостью, выносливостью, боевым напором, были и похуже. Чем же регулировать боевые качества людей и коллективов? Трофеи постепенно становились общественной формой соревнования между ротами. Третья рота что ни бой — так два-три пулемета возьмет у противника, а то и миномет, пушку. Карпенко от пушки отказался.

— На чорта она мне. Пушка в роте будет, так это в роте один разврат. Один немец засядет за забором, уже кричат: «Пушку давай». А пока ее притащат да установят, он уже за другим забором сидит. То ли дело граната, автомат, ими мы везде фрица достанем. И верно, и быстро!

Но когда дело дошло до пулеметов, которых штук четырнадцать лишних возила в обозе третья рота, Карпенко заявил:

— Седьмой роте пулеметов нехватает? Что ж, я могу по-соседски помочь. Только заимообразно, с возвратом. И вручать пулеметы буду перед строем.

Седьмая рота у нас была притчей во языцех. Народ там собрался какой-то вялый, безынициативный, трусоватый. Командир ее, Цветков, по званию лейтенант, козырять умел лихо, с вывертом ладони, щелкал каблуком ловко, подстать любому гусару, а вот с народом сладить не мог. Что-то у него не получалось. Что ни бой — так седьмая рота или с обороны убежит, или в наступлении запутается, и к концу боя по своим сзади лупит. Может быть, потому, что и сам-то лейтенант Цветков хотя и окончил нормальную военную школу, но, кроме строевой подготовки, ничему больше там не научился.

— Ему бы в милицию, регулировщиком движения, на перекрестке палочкой махать. Одно загляденье было бы. А вот другого командира никак не подберем, — говорил мне Базыма по секрету.

Карпенко настаивал, чтобы помощь оружием седьмой роте была проведена перед строем обеих рот. Командование согласилось.

Роты выстроились возле штаба. Вокруг собралось множество зевак, обступивших улицу тесной толпой. Карпенко кивнул на левый фланг, и оттуда, дотоле замаскированные, показались сани, запряженные парой хороших коней. Карпенко подозвал к себе командира седьмой роты Цветкова, политрука и парторга и, громко обращаясь к присутствующим, заявил:

— Седьмая наша рота, вояки храбрые, в жизни своей ни немецкого, ни мадьярского пулемета не видели. Да и то, как его увидишь, когда от него тикаешь без оглядки. На спине ведь глаз нет. Правда, Цветков?

— Ну, брось, Карпенко, — смущенно бормотал Цветков и тянул руку за пулеметом.

— Э, стой! Стойте, хлопцы! Вот, значит, как вы воевать не умеете, решили мы вам из своих трофеев уделить кое-что... Говори, сколько коммунистов у тебя? — обратился он к парторгу. — Одиннадцать? Получай одиннадцать пулеметов... Только имейте в виду: даю заимообразно. После каждого боя по два пулемета назад отбирать буду. Понятно? А если, не дай бог, хоть один из них бросите, — всю роту разоружу и заставлю нам коров и свиней гонять. А мы за вас воевать будем. Получай пулемет.

Речь Карпенко заглушили одобрительные возгласы и смех толпы. Оглушительнее всех смеялись старики, стоявшие сзади строя седьмой роты. Бойцы седьмой роты стояли хмурые, опустив головы. Цветков красный, как вареный рак, торопился принять «подарок», но Карпенко нарочно затягивал церемонию. То он требовал, чтобы проверяли по списку номера оружия, то, чтобы каждый пулемет получал обязательно партизан, который на нем будет работать. Пулеметчики

третьей роты, подхватив насмешливый тон командира, объясняли, как надо обращаться с пулеметом в бою, и особо подчеркивали, что главное, чего не любит пулемет всех систем, — так это труса-пулеметчика.

В результате такой «помощи» рота Цветкова долгое время была посмешищем всего отряда, пока боевыми делами не смыла с себя позора.

X

Много ночей прошло в ожидании самолетов. Много было и ругани по радио. Волнение наше усугублялось еще тем, что мы решили принимать самолеты на лед. Таким образом, риск за исход посадки мы целиком брали на себя. Наконец кончились наши мытарства. Летчики... Надо, чтобы знали они, что значит ожидание самолета в тылу у врага. И когда первая дюралюминиевая птица стукнулась об лед и гулом к берегам отдался этот толчок, сотни сердец, жестких солдатских сердец, замерли... Выдержит или не выдержит?.. От того, сядет ли этот первый самолет благополучно, зависела судьба партизанского аэродрома и судьба наших раненых, боеприпасы... судьба дальнейшего нашего рейда.

Самолет бежал все медленнее, лед затихал, перестал гудеть, и машина на секунду остановилась, а затем, повинуясь моему зеленому фонарику, стала выруливать на старт. На берегу озера кричали «ура», и в морозное небо летели партизанские шапки.

А под звездами уже гудела вторая машина.

Слава вам, товарищи летчики! Сколько мы ругали вас последние дни и сколько людей с благодарностью сейчас думали о вас!

— Привет вам, посланцы родины!

— Привет! — сказал человек в комбинезоне, вылезая из машины.

— Здорово! — И к его протянутой руке потянулись десятки рук. Пришлось взять летчика под защиту.

Народ наш недовольно отпустил долгожданного гостя.

— Командир корабля Лунц, — отрекомендовался летчик.

К нам подошли Руднев и Ковпак, а я побежал принимать вторую машину.

В первую ночь мы приняли три самолета. Только когда машины уже разгрузились и приняли заботливо укутанных раненых, Ковпак подозвал Лунца к себе и, показывая вокруг на безбрежную равнину озера, спросил:

— Ну, як, хлопче, хорошу площадку пидготувалы?

— Аэродром идеальный, — не подозревая никакой каверзы, отвечал тот.

— А подходы? — спрашивал Ковпак.

— Очень хороши.

— А развороты?

— Тоже хороши.

— А подъем? — ехидно щурился дед.

— Замечательный.

— А грунт?

— Грунт твердый. Садился, как на бетонированную площадку.

Старик торжествовал.

— Ну, то-то. Теперь ходи сюда, — и он отвел Лунца в сторону, вывел на чистый, неутоптанный пушистый снег и валенком разгреб площадку с квадратный метр. Затем снял шапку и чисто подмел ею лед. Лед был гладкий, как отполированное зеркало. Лунц смотрел весело на лысину Ковпака, блестевшую при лунном свете, и улыбался.

— Це що такое? — грозно спросил старик.

— Лед, товарищ командир отряда, — бойко отвечал Лунц.

— Значит, можно на лед самолет посадить?

— Можно, товарищ командир.

— Так и генералам передай.

— Будет передано, товарищ командир отряда. А вы, товарищ командир, шапку-то все-таки наденьте. Тридцать два градуса мороза сегодня.

Ковпак лихо, набекрень, одел шапку и, хитро улыбаясь, сказал:

— Ты мне зубы не заговаривай. Ты мне от що скажи: а сам еще раз к нам прилетишь? Машину завтра посадишь?

— Прилечу и машину посажу, товарищ Ковпак!

— Ну, добре. Ище передай, что летчиков напрасно мы обкладывали всякими словами. Цыми словами надо ваших генералив... А краще не передавай. До начальства далеко, а мы пишлы в сторожку. Самогоном угощу, и гайда в далеку дорогу.

— Спасибо, товарищ Ковпак.

Так началась дружба наших партизан с молодым еще тогда летчиком Лунцем. На прощанье, немного разгоряченные встречей и выданным, на радостях, перваком Павловского, мы снова подошли к машине. Ковпак крепко пожимал руку Лунца и говорил:

— Так и запамятай. Раз я радирую, що можно машину сажать, ты смиливо сидай. Як у себя дома. Поняв? Я не пидведу. У мене, от, помощник мий Вершыгора, по аэродромам курсы пройшов. Раз мы радируем, що сидать можно, так ты и сидай смило. Поняв?

Не знаю, убедил ли Ковпак Лунца моими познаниями аэродромного дела, — думаю, вряд ли, — или летчику понравился первак Павловского, но еще много наспех построенных площадок на песке, на целине, на лесных полянах пришлось мне сооружать, и первой всегда прилетала машина Лунца. Прилетала, садилась и снова улетала. Улетала доотказа загруженная ранеными, письмами и теплыми пожеланиями. Летала без задержек и аварий.

XI

Теперь самолеты садились каждую ночь. Несколько ночей подряд я принимал по три-четыре машины, а потом вернулся к прямым своим обязанностям — налаживанию разведки.

Аэродром привязал нас на длительный постой к Князь-озеру, и это давало нам возможность вести углубленную и тщательную разведку. Мы организовали целую сеть агентуры среди населения сел и городишек, где стояли немецкие и казачьи гарнизоны. В это время, начало 1943 года, уже наметилась политика немцев воевать в своем тылу руками русских. Немцы старались сделать так, чтоб партизанам нужно было убить десять русских для того, чтобы добраться до одного немца. И кое-где им удавалось это.

Осенью 1942 года в районе Шепетовка в лагерях военнопленных с их обычным режимом голода, пыток и истязаний появились «вербовщики». Они выстраивали полуживых пленных и объявляли им запись в «добровольное казачество». Изъявившим согласие сразу увеличивался паек, выдавалось по 600 граммов хлеба, обмундирование. Фашисты нередко достигали своей цели. Адская эта система постепенно уничтожала человека, истощая организмы голодом, убивала человеческое достоинство. За несколько месяцев пребывания в лагере у пленных оставались только физические потребности. Некоторые из пленных были неспособны сохранить в этих условиях моральную чистоту, стойкость и чувство долга. Но все же, многие шли на вербовку умышленно, надеясь при первой же возможности воспользоваться облегчением режима и бежать, другие, сделав первый шаг, катились по пути предательства до полной и подлой измены. Надежда вернуться к своим, хотя бы тяжелой ценой искупления, становилась все призрачней, а предательство — безвозвратным.

Те же, кто вступали на этот путь для того, чтобы бежать из лагеря, часто осуществляли свой план, бежали к партизанам, многие из них кровью врага смывали свой позор. Были и яростно ненавидевшие советскую власть — они становились закваской этих формирований изменников родины.

Наша задача сводилась к тому, чтобы разложить их вначале, а затем оторвать все здоровое и случайно попавшее к немцам. Во-время спасти заблудивших-

ся в дебрях войны — это тоже была немаловажная задача для партизан. Она требовала особого уменья, чуткого, справедливого подхода к людям. Но требовала она также осторожности, тщательной проверки и, я бы сказал, ажурной тонкости в работе, умения разбираться в психологии людей.

Малодушие — это самый страшный враг того, кто силой обстоятельств, обычных и законных в маневренной, механизированной войне, попал в тыл врага. Позже приходилось мне встречаться с чересчур строгими людьми, которые за самый факт пребывания человека во вражеском тылу взыскивали строго и безжалостно. Случалось, эти беспощадные к другим люди сами, попав в аналогичные условия, оказывались трусами, а иногда и предателями.

Не факт пребывания в тылу, а то, как ты вел себя там, должно быть мерилом отношения к человеку. Чистой и суровой мерой, родившейся в горниле войны, надо мерить человека, мерить делами его, а не местом, где он эти дела совершал. Пусть придут на судилище народа пленные, беженцы войны и рабочие Урала, пусть придут добежавшие до Актюбинска и Ташкента здоровенные и толстомордые мужчины и героические люди, под открытым небом на морозе делавшие танки.

Пусть придут и ответят на вопрос: «Что же ты, именно ты, сделал для победы? Есть ли твоя мысль, твой труд и твоя кровь в ее терновом венце?»

Пусть хотя бы перед своей совестью ответят на этот вопрос.

А там, в тылу у врага, мы по-своему решали эти дела. Там нельзя ждать и раздумывать, там надо действовать, а главное — знать. Знать все или хотя бы как можно больше о жизни народа, о процессах, происходящих в его коллективной, огромной и сложной душе, знать замыслы противника, его планы и намерения.

В партизанском деле разведка — половина успеха. Значение ее, пожалуй, еще больше, чем в регулярной армии. И понятно, что, рассчитывая простоять

в этом районе долго, пока работал ледовый аэродром, мы основной упор сделали на разведку. Ближнюю и дальнюю. Войсковую и агентурную. Фактическую и психологическую. Словом, рейдовому отряду для того, чтобы простоять значительное время на одном месте, нужно знать все о противнике. Понятно, что поле для разведки было широкое. Начали с поисков «языка».

Нам сразу повезло. Отличился в этом деле разведчик Кашицкий, бывший учитель семилетки из Речицы, во время Сталинского рейда только поступивший в партизаны. Он хорошо знал местность; в ближайших районных центрах — Житковичах, Турове, Мозыре — нашлись у него знакомые. Да и чувствовалась в этом парне хватка разведчика, сметливость, хитрость, терпение, осторожность и решительность. Он не был бесшабашным удальцом, как старые, опытные разведчики: Митя Черемушкин, Федя Мычко; не блистал он и талантами Вани Архипова, тоже в прошлом учителя, виртуоза-балалаечника и еще более блестящего актера. Архипов часто проникал к немцам, переодевшись то стариком, то девушкой.

Кашицкий не обладал всеми этими качествами. Он даже был трусоват в открытом фронтальном бою, как всякий прирожденный разведчик, но все же лучшие разведывательные дела периода Князь-озера принадлежат ему. Это он украл из районного центра Житковичи прямо с вечеринки двух «казачьих» офицеров.

Они пришли на окраину погулять к девчатам, совершенно не подозревая, что девчата эти — члены подпольной организации, которую создал Кашицкий из бывших своих учениц.

Думаю, что офицерики не принадлежали ни к одной из крайних групп «казачков». Это были просто люди-песчинки, люди-щепочки, которых захватил и понес бурный поток войны. Кашицкий зашел спокойно на вечорку и взял офицериков. Они не сопротивлялись, хотя и особенного восторга по поводу взятия их партизанами, — ни Кашицкий вечером, ни я, допрашивая их утром, — что-то не замечали. Это и понятно,

потому что если рядовые еще могли надеяться на помилование партизан, то изменникам, главарям, офицерам встреча с нами предвещала мало хорошего. На допросе они вели себя сдержанно, но откровенно рассказывали все и, видимо, за ночь примирились с мыслью, что с жизнью им придется расстаться. Фамилия одного из них Курсик, другого — Дяченко. Оба окончили нормальные военные школы, воевали на фронте 1941 и половину 1942 года и под Харьковом попали в плен. Прошли лагеря, голодовку, а месяца за два перед этим казусом были отправлены в четвертый казачий полк и как лейтенанты назначены командовать взводами. Они стояли передо мной спокойно, немного неловко, немного уныло поглядывая в окно, где с гомоном кружилась стая черных птиц, предвещая резким галочьим криком, может быть, снегопад, а может, и смерть в 23 года. Стояли, не зная как себя держать передо мной, бородатым дядей, одетым в штатское. Один из них был в кубанском чекмене, сшитом из русской шинели, с узкой талией, газырями, черкесским пояском и яркокрасным башлыком, лихо закинутым на лопатки, с золотой бахромой и кисточкой, болтавшейся ниже пояса. Второй наряжен во что-то среднее между вицмундиром и шинелью цвета «жандарм».

Допрашивал я их тщательно, так как они знали многое об организации немцами полков с русским составом, под названиями различных казачьих, кубанских, донских легионов, сотен, куреней. Допрашивал долго. Допросу упорно, несмотря на угрозы часового, мешал партизан, земляк Ковпака и Коренева, худенький костлявый старичок лет шестидесяти пяти. Он одним из первых пришел в отряд и сейчас работал ездовым в санчасти. На правах ветерана и человека близкого Ковпаку и Рудневу — никого больше он не признавал. Звали его Велас. Имя это было или фамилия — никто так и не знал.

За Веласом укрепилась репутация заядлого ловеласа, весельчака и, так сказать, человека «на особом положении».

Узнав еще на рассвете о том, что разведчики украли офицеров, Велас смастерил из вожжей петлю, вырубил несколько тонких жердей и явился ко мне с явным намерением начать инквизиторские штуки. Я выставил его за дверь и продолжал допрос. Отпустив какое-то замечание по моему адресу, Велас придумал другую забаву. Обманывая всякими ухищрениями часового, он через каждые несколько минут подбегал к одному из трех окон и, кривляясь и высовывая язык, кричал «казачкам» на разные лады:

— Христопродавцы!.. Шкуры! Подлецы!..

Часовой отгоняет неугомонного старика. Он делает вид, что уходит. Затем что-то вспоминает, возвращается и, обойдя дом с другой стороны, снова кричит в окно:

— Кровопийцы! Душегубы! Чорту-гитлеряке душу продали! Тьфу... — и показывает им петлю. Вначале меня раздражал неугомонный старик, потом рассмешил, потом я снова сердился. Но так и не мог ничего поделать — до того неутомим он был в своем шутовском изобретательстве, в котором сказывался гнев народа против изменников.

Конечно, они заслужили петлю, но, уже привыкнув к требованию Руднева никогда не бить, не пытать, не употреблять насилия над пленным врагом, я старался отогнать Веласа. Кроме того, он мешал мне получить сведения о важном мероприятии врага. А хлопцы эти знали фамилии немецких и русских офицеров, комплектовавших формирования изменников, номера частей, их задачи и расположение.

Разумеется, мы не могли руководствоваться правилами Дениса Давыдова, отпускавшего своих пленных, взяв у них честное слово, что они больше не будут сражаться против русских. Было у партизан 1812 года другое правило по отношению к пленным: «Вообще чем их будет меньше, тем лучше» — и хотя мы и не знали этого золотого правила, но необходимость вынуждала нас придерживаться его.

Но это были не просто пленные, а наши лейтенанты, оба до сих пор сохранившие комсомольские би-

леты, дававшие ценные данные, и имел я право, ну, хотя бы до вечера, отсрочить торжество Веласа, страстно добивавшегося, чтобы именно он мог вздернуть на вожжу «христопродавцев, продавших душу гитлеряке рогатому».

В 12 дня офицерики перешли из моих рук в штаб, где ими занимались Руднев, Ковпак, Базыма, Коренев. Занимались они ими долго и много. Я превратился в пассивного наблюдателя. Все нужное я уже получил от них, и, с военной точки зрения, эти хлопцы меня уже не интересовали. То же, что происходило в штабе, было и смешно, и трогательно, и печально, а я сидел у окна и приводил в порядок свои записи об очень важном военном мероприятии врага, стараясь уложить все в телеграфные слова, которые сегодня же Анютка Маленькая должна была отстучать на своем ключе.

Ковпак сам допрашивал пленников. Руднев сидел за столом, курил и, бегло просматривая протокол допроса, вслушиваясь в эту повесть двух человеческих жизней, заблудившихся в вихре войны, щурился то ли от дыма, то ли от раздумья. Дед, как всегда, все более свирепел, внешне не выражая этого, сдерживаясь. Мы ожидали, что вот-вот он вспыхнет гневом, и тогда жизнь этих лейтенантов оборвется мигом, как соломинка, попавшая на огромный партизанский костер.

Я подал Рудневу их комсомольские билеты. Он долго смотрел на профиль Ильича на обложке и задумчиво листал страницы, затем передал их Ковпаку. Тот схватил один билет и, подняв высоко, спросил:

— Зачем хранили билеты?

Они молчали.

— Ну, говори!

Дяченко поднял глаза на грозного старика.

— Говори, только правду. Как на исповеди.

— Жалко было...

— Чего жалко?

— Молодости своей, — почти шопотом ответил тот

и, всхлипнув, опустил голову на грудь, украшенную газырями.

Руднев и Ковпак переглянулись. Мы с Базымой, поймав этот взгляд на лету, уже чувствовали, что гроза проходит. Где-то у нас в груди поднялась волна не то жалости к этим, не выдержавшим испытания жизни молодым людям, не то боли за них...

Все молчали. Мы видели, что Ковпаку уже жаль вывести их в расход, но другого решения он не находит.

Выручил Руднев.

Он встал и подошел к ним вплотную. Лейтенанты, инстинктивно почувствовав в нем военного, подтянулись, взяв руки по швам.

— Но хотя бы вину свою вы понимаете, подлецы? — спросил комиссар, глядя им в глаза.

— Понимаем, — ответили они.

— Кто вы есть? — спросил сидевший до сих пор молча в углу Дед Мороз.

Они перевели на него взгляд, и оба враз ответили:

— Изменники!..

— Понимают, сукины дети! — сказал Дед Мороз.

Руднев, указывая на седобородого Коренева, говорил:

— Видите? Человеку уже давно на печке пора сидеть, и тот с немцами воюет. За вас, подлецов. А вас учили, надеялись...

Хлопцы молчали.

— Сидор Артемьевич! Я предлагаю: Дед Мороз тут самый старший. Пусть он и рассудит, — сказал Руднев.

— Добре. Оце добре. Твое слово, Семен Ильич.

Дед Мороз вышел из угла и подошел к ним. Казалось, он сейчас тут же уложит их на месте.

— Вы, молокососы! — загремел его голос. — Вас как судить, по совести чи по закону? Сами выбирайте. Как выберете, так и судить буду. Только чур-чура, не обижаться.

В сенях завозились и засмеялись связные, наблюдавшие до сих пор молча.

Семенистый незаметно по-под стенку подвинулся поближе и шепнул:

— Просите по совести, вы, обормоты...

Глаза его по-озорному блестели.

— Ну? Як судыть? — повторил Дед Мороз.

— Судите по совести, — выдохнул Дяченко.

— А тебя?

— И меня, — сказал Курсик.

Дед Мороз прошел по хате взад, вперед. Ковпак скручивал из газеты самокрутку, Базыма барабанил пальцами по столу, Руднев смотрел на Деда Мороза серьезно, а глаза блестели таким же огоньком, как у Семенистого.

Коренев подошел к лейтенантам.

— По совести? Ну, ваше счастье. Що ж? Скидайте штаны. Скидай, скидай, не стесняйся. Будем вам мозги с одного на другое место перегонять. Дежурный! По двадцать пять плетей каждому!

Хлопцев уже схватили и положили на лавку.

Последние пять плеток всыпал им сам Дед Мороз.

Чтобы заключить историю офицериков, я расскажу сразу и конец ее. Дяченко оказался средним человеком, не шибко храбрым, но и не трусом. Воевал у Ковпака с полгода, затем был ранен и эвакуирован на Большую землю. Курсик сразу после суда в штабе попал в роту Карпенко, воевал хорошо, выдвинулся, был много раз ранен, ходил на Карпаты; я сам вручил ему в 1944 году орден Красного Знамени. Он был убит в бою под Брестом в мае 1944 года.

А ведь приходили к нам и другие, этих было больше. Приходили люди с выбитыми зубами, как Бакрадзе, с сожженной кожей, как Миша Тартаковский, с исполосованным шомполами телом... Приходили люди, которые скрипели зубами при одном слове «немец».

Приходили и такие, у которых где-то глубоко в глазах светился огонек ненависти, злобы и предательства...

Как узнать, как понять, как расшифровать души их? Как отделить честное, боевое, может глубоко

заблудившееся, но раскаявшееся, от враждебного, предательского, чужого?..

Вот стоит перед тобою человек, которого ты видишь впервые. И нужно решить быстро, ясно и бесповоротно. И без проволочек. Либо принять в отряд, либо... А в руках никаких документов, справок, а если и есть они, так веры им мало. Как решать? Может быть, перед тобой будущий Герой Советского Союза, а может, ты впускаешь за пазуху змею, которая смертельно ужалит тебя и твоих товарищей. Тут не скажешь: придите завтра, не напишешь резолюцию, которая гласит: удовлетворить по мере возможности; не сошлешься на вышестоящее начальство. Чем руководствоваться? Глаза — зеркало души человека. Вот так смотришь ему в душу и решаешь, что же за человек перед тобой. А затем даешь смертельное задание, бросаешь в бой. Выдержит человек суровый экзамен войны, останется жив — первый рубикон пройден, живи, борись, показывай нам дальше, кто ты есть. Погибнет — вечная ему слава. Сорвешься — не пеняй на нас: нам не до сентиментов. Вот норма, суровая, не всегда справедливая, но единственная. И чем чище совесть у человека, на чьи плечи упала эта тяжелая ноша, тем меньше он ошибается.

Как часто в те красивые своей правдой времена думалось мне: «Эх, к нам бы на исправительные курсы, что ли, всех бюрократов, волокитчиков, кляузников и перестраховщиков! Тут быстро выпрямились бы хлипкие их души, тверже, честней и решительней стали характеры, или непосильная ноша ответственности переломила бы их хрупкий хребет». У нас все эти недуги излечивались быстро — как зарубцовывается туберкулез на морозном воздухе Сибири. Больной либо вскоре выздоравливает, либо так же быстро умирает.

Эх, к нам бы всех волокитчиков, кляузников, перестраховщиков и бюрократов! Ибо силой неумолимых обстоятельств, подобно капле прокипяченной воды, мы были коллективом без тунеядцев.

Разведка, разведка и еще раз разведка... Разведка

у партизан — это половина успеха. Лучшие разведывательные поиски и диверсионные фортели периода Князь-озера принадлежат народному учителю белоруссу Кашицкому. Он очень быстро наловчился пускать в ход магнитные мины замедленного действия, и вскоре они, с его легкой руки, стали взрываться то возле ночных постов немцев в центре города, то под несгораемым шкафом районной жандармерии, а то и под матрацем у мозырьского гебитс-комиссара.

Особенно много шума и смеха вызвал взрыв магнитной мины на печке у начальника «бюро труда», изменника, подлеца, ведавшего угоном в Германию наших людей. Взрыв случайно произошел тогда, когда через Житковичи к нам летел самолет. Взрывом разнесло печку и сожгло дом. Население торжествовало, уверенное, что одной-единственной бомбой, брошенной с самолета, летчики разбомбили гнездо самого ненавистного человека в районе. Легенды о самолетах, специально нащупывающих гнезда отъявленных изменников, ловко пущенные Кашицким, еще больше усилили эффект.

Я в новой должности руководил разведкой, может, необычно, не по писанным правилам. По своей давней привычке узнавать людей, которыми руководишь, не только по их анкетным данным, а стараясь понять и их душу (разумея под душой скрытые, не выявленные в действии, потенциальные возможности человека), я занялся прежде всего изучением разведчиков главразведки. Опасность подстерегает разведчика тысячами глаз, а он может противопоставить ей лишь зоркость пары своих, да еще сметку, быстроту мысли и воображения, улавливающих и фильтрующих звуки, краски, запахи. Он должен читать неуловимые знаки природы, рассказывающей ему о присутствии врага. Разведчиков в отряде было более восьмидесяти человек, включая и моих восемнадцать автоматчиков из тринадцатой роты. Но стиль, классический почерк разведчика определяли все же несколько человек: Черемушкин и Мычко — отчаянные хлопцы, действовавшие всегда решительно и с налета, Ванька Архи-

пов — хитростью, юмором, так сказать, артистически. Это он, еще в первые дни организации отряда, явился в невообразимом штатском наряде в отряд, был принят за немецкого шпиона и чуть не расстрелян. Затем, уже став разведчиком, он задержался как-то в селе у знакомого колхозника и опомнился лишь тогда, когда село было полностью занято немцами. Он переоделся, сунул свою винтовку в мешок, вскинул его на плечи и промаршировал по улице села, где его знало почти все население, мимо немцев. Хотя, по его собственному признанию, душа у него и была в пятках, но все же у этого неисправимого штукаря хватило духу подморгнуть бабам, стоявшим у журавля, и крикнуть им весело: «Смотрите, бабы, как я из гансов дураков делаю». Бабы с замиранием сердца смотрели, как проходил вихляющей походкой мимо немцев этот лихой партизан. А чем еще можно победить истосковавшееся сердце солдатки, даже если смерть скалит на тебя свои зубы, как не лихостью и уменьем в любой обстановке кинуть безносой в лицо презрительную шутку?! Словом, Архипов, или, как его прозвали в отряде, Ванька Хапка, был прирожденный артист. Каждая разведка у него была спектаклем. Но все же, увлекаясь, он часто забывал основное задание и мог выделывать свои фортели без пользы, так просто, забавы ради. Словом, разведчик был мало дисциплинированный, нецелеустремленный, но веселый и музыкальный. Я уже на Князь-озере пришел к выводу, что Хапку посылать надо на дела рискованные и интересные, но там, где требовалось получить точные сведения и в строго ограниченный срок, его кандидатура была мало подходяща.

Митя Черемушкин — разведчик-асс. Вологодский охотник. Еще с детства развитая способность выслеживания как бы определила ему место разведчика на войне. Он и на марше ходил осторожной, охотничьей поступью и, принюхиваясь к дороге, лесу, людям, зорко всматривался своими озорными глазами в темноту. Это он обучил Толстоногова, горожанина-еврея, разведывательному искусству. Тот природной сметли-

востью перенял приемы Черемушкина, и часто они ходили в разведку вдвоем. Когда же в разведку шел весь взвод Черемушкина, то только своему ученику Толстоногову доверял командир взвода итти первым. Если же приходилось отлучиться или делить взвод на две группы, то во главе второй группы он тоже назначал своего помощника.

Закадычный друг Черемушкина, Федя Мычко, такой же плотный и круглолицый, отличался от своего корешка лишь более светлыми волосами и более буйным нравом, особенно во хмелю. Правда, и Черемушкин кротостью и тягой к трезвенности не обладал. Единственным способом укротить разбушевавшихся корешков-командиров взводов капитан Бережной считал уже испытанный им дважды окрик: «Комиссар идет». Услышав эти слова, оба хлопца моментально превращались в милых, забавных медвежат, которые забивались куда-нибудь подальше на сеновал или в сарай, где тихо и миролюбиво урчали о том, «что, мол, выпили они самый последний раз и что ведут они себя тихо и мирно».

Несмотря на неразрывную дружбу, между Черемушкиным и Мычко шло скрытое и яростное соревнование, и не дай бог если кто-нибудь из разведчиков Мычко получал замечание за плохо выполненную разведку, тогда как хлопцы Черемушкина удостаивались похвалы или благодарности. Мычко ходил хмурый, а бедный проштрафившийся разведчик боялся показаться своему командиру на глаза, пока каким-либо сногсшибательным делом не поправлял свою репутацию.

На особом счету был командир отделения Гомозов. Тихий и спокойный, он был замечателен своей выносливостью и мог вести разведку буквально по нескольку суток подряд. Его обычно мы посылали в дальние разведывательные рейды, иногда на сотни километров в сторону от пути отряда.

Немного обособленным был взвод конных разведчиков. Раньше им командовал Миша Федоренко, по прозвищу «Ба-ба-бабушка». Он немного заикался и,

когда заходил в хату, говорил, потирая руки и смеша своих бойцов и хозяев:

— Ба-ба-бушка, вари картошку, тащи огурцов, а пол-литра у солдата всегда найдется. Выпьем, милая с-старушка.

Тетки всегда с радостью угощали после такого вступления.

Мишу Федоренко ранило в Бухче вместе с Горкуновым, и мы их отправили на Большую землю первым же самолетом Лунца. Сейчас отделением командовал сибиряк Саша Ленкин, по прозвищу «Усач». Усач пробился к Ковпаку из окружения под Оржицей еще в сентябре 1941 года. Был известен военной выправкой, удалью, неважной дисциплиной и любовью к лошадям, на которых ездил мастерски. Посадкой в седле он приводил в восхищение Михаила Кузьмича Семенистого. Одет был всегда опрятно, я бы сказал — изысканно. Имел и недостатки: слабоват был по «женской части». Винить его в этом было трудно, так как, то ли благодаря его внешности, то ли еще почему-либо, но девчата и молодухи сами липли к нему, как мухи на мед. Словом, все его достоинства и недостатки были сугубо кавалерийского происхождения, и никому из нас и в голову не могло притти, что этот лихой «гусар» до войны владел ультрамирной профессией бухгалтера леспромхоза.

Имел он еще один недостаток: любил посмеяться над партизанами других соединений, воевавших слабо. Помню, когда впервые Ковпак пришел в Брянские леса, Ленкин как-то ехал через деревушку Смилежи, которую занимал крупный партизанский отряд, состоящий из военнослужащих. Навстречу Ленкину шел человек в военной одежде с петлицами, на которых были нашиты самодельные знаки различия капитанского звания. Ленкин, ехавший во главе отделения конников, остановил коня.

— Товарищ капитан, почему не приветствуете? — строго спросил он.

Капитан остановился, глядя на незнакомого военного, недоумевая, шутит или серьезно говорит

с ним щеголеватый ездок. До этого времени в лесах на строевую подготовку и на субординацию что-то не особенно обращали внимание.

Ленкин нервно похлопывал стэком по голенищу.

— Почему не приветствуете?

Капитан растерянно посмотрел на неизвестного начальника. Военный костюм, внушительные усы, прекрасная лошадь и, самое главное, два трофейных пистолета на поясе и новое немецкое седло — столь редкие трофеи в мало воевавших «лесных» неподвижных отрядах — показались ему подтверждением высоких полномочий неизвестного.

— Прошу прощения, товарищ начальник... — смущенно пробормотал он.

— Извинения мало, пройдитесь обратно... быстрей, быстрей. Теперь — шагом а-а-арш... — командовал ефрейтор Ленкин оторопевшему капитану. Тот прошел перед ним строевым шагом. Сделав еще несколько замечаний насчет того, как держать грудь вперед и убирать живот и на каком уровне полагается находиться локтю, и, еще немного погоняв совсем обалдевшего капитана, Ленкин ускакал галопом; сопровождавшие его конники чуть не сорвали его затею, начав прыскать в рукава, глядя, как капитан «ел» глазами рядового разведчика.

Они-то и разболтали в отряде об этом случае.

На другой день все партизаны с удовольствием говорили о выходке Ленкина. Дошли слухи и до командования. Комиссар вызвал Ленкина к себе и стал ему строго выговаривать. Тот слушал, слушал, а затем брякнул:

— Товарищ комиссар, а может, наш рядовой у них за генерала сошел бы. А я все-таки, как-никак, отделенный командир.

— Это что за зазнайство? — вспылил комиссар. Он еще долго распекал лихого кавалериста-забияку.

Когда тот ушел, Ковпак, сидевший до сих пор молча, повернулся в телеге на другой бок.

— Трымать хлопцив треба, щоб не зарывалысь. А все ж таки з цього хлопця толк буде. Гордость у

чоловика есть, а без гордости який солдат? Ни, Семен Васильевич, ты его за це бильше не ругай. З тих капитанив, що по лисах поховалысь, толку все равно не дождешься, а з цього усатого буде вояка, щоб я вмер, буде...

— Ну, знаешь, так мы можем далеко зайти, — возразил комиссар.

— Далеко чи блызько, а чоловик за честь своего отряда бореться. А як получается у него це по-хулиганськи — наше дило навчыть. Вершыгора, а ну, пошли на саме трудне дило Ленкина, и хай соби охотников набере...

Комиссар отошел в сторону.

Через полчаса Ковпак подошел к палатке комиссара и примирительно заговорил:

— Семен Васильевич, а я в ту войну тоже первым хулиганом був. Таки штуки викаблучував, куда там... Саме хуже на войни, як чоловик ни рыба ни мясо... А з хулигана чоловика зробыть можна... А це все ж таки бухгалтер... Можно сказать, хулиган со средним образованием. Правильно говорю?

— Ладно, согласен, — засмеялся Руднев.

Так же, как и в третьей роте, в разведке были люди колоритные, своеобразные и своенравные. Работа разведчика накладывала на этих людей особые черты. Разведчик всегда работает с глазу на глаз со смертью. И не удивительно, что среди них многие пристрастились к алкоголю. Было, правда, неписаное правило — никогда не пить в разведке, во время выполнения задания. Выполнялось оно безукоризненно, а за редкие нарушения разведчики разделывались с виновником по-своему и почти без видимого вмешательства командования. Толковые и лихие ребята всегда возвращались с разведки с запасом «горючего». Доложив о выполнении — дома «закладывали». Мы хотя и не особенно поощряли это, но и не мешали им. Ну, чем еще могли мы отблагодарить наших самоотверженных и бесстрашных людей за их неоценимую работу?

XII

Пока я налаживал разведывательные и диверсионные дела, аэродром работал во-всю. Каждую ночь прилетало по две-три машины. Мы успели отправить почти всех раненых. Улетели Горкунов, Миша Федоренко, врач Дина Маевская и много других бойцов и командиров. Легче стало с боеприпасами, взрывчаткой и всем другим, необходимым в партизанском обиходе. Наш партизанский штаб в Москве начал понемногу расширять ассортимент. Среди военного груза стали появляться и, так сказать, культтовары: книги, журналы, а затем и люди. Каждый вновь прилетевший приводил Ковпака в ярость.

— Мени патроныв и толу треба, а вони мени людей шлють.

Вскоре после ругательных радиограмм Ковпака посылка людей прекратилась. Затем через несколько ночей все же из Москвы стали прибывать к нам более важные пассажиры. Они спокойно вылезали из машин на лед, как будто на обыкновенном аэродроме аэрофлота.

Прилетел к нам корреспондент «Правды» Коробов. Он жаждал боевой жизни и приключений, и я решил его пристроить по своему ведомству — при разведке. Вызвав Черемушкина, временно заменявшего Бережного, я сказал ему:

— Тут товарищ с Большой земли прибыл. Хочет с нами в рейд итти. Принять его и всем обеспечить!

Черемушкин понял мою команду по-своему. Вечером того же дня в разведке была устроена вечеринка в честь дорогого гостя с Большой земли.

Вареного и жареного было припасено хозяйственным старшиной Зеблицким — сибиряком по рождению и сибаритом по натуре — достаточно. Было чем и промочить горло. Но одного не учли гостеприимные хозяева. Ледовый аэродром уже нащупала немецкая авиация и бомбила лед и село. Хозяева, боясь пожаров, вынесли всю утварь и в том числе и посуду далеко на огород. Когда был накрыт стол и гости и хо-

зяева чинно расселись по местам, Черемушкин, кроме сулеи с жидкостью и черепков с холодцом, ничего стеклянного или фарфорового на столе не обнаружил. Командир грозно нахмурил брови. Зеблицкий ответил ему отрицательным жестом. Черемушкин смущенно кашлянул в рукав, но тут взгляд его упал на одиноко стоящий на подоконнике цветочный горшок. Позабытый цветок уже окоченел от ледяного дыхания мороза, врывавшегося сквозь заткнутые подушками окна. Черемушкин молча вытряхнул безжизненное растение, тщательно вытер цветочницу, заткнул хлебом отверстие в дне горшка и наполнил его до краев живительной влагой. Бедному корреспонденту пришлось с трепетом приложиться к этой посудине во славу центрального органа. Быть бы ему мертвецки пьяным, не окажись с ним его закадычного друга Матвеева, хлопца недюжинной силы, шофера и владимирского пимоката. Парнишке этому не страшны были ни финны, ни немцы, ни цветочные горшки.

Но вскоре разведчики нашли с корреспондентом общий язык, тем более что политрук Ковалев — ходячая библиотека художественной литературы — перевел при помощи Коробова разговор на культурно-просветительные темы. Вечер закончился вполне благопристойно.

На другой день Коробов рассказал мне о вечере, и я понял свою оплошность. Про себя я решил в дальнейшем более строго регламентировать подобные торжественные встречи. Но в общем все обошлось хорошо. Разведчики заявили, что гостя они зачислили на довольствие на весь рейд. Потому ли, что Коробов был неплохой рассказчик, или потому, что ребята знали, что еще за участие в финской кампании не пером, а пулеметом он был награжден орденом Ленина, но между разведчиками и прессой был установлен контакт и, как любят выражаться газетчики, найден общий язык.

Авиационного инженера В. прямо из теплой московской квартиры всунули в самолет, а часов через

семь-восемь он уже вылезал на лед аэродрома и, беспомощно озираясь, спрашивал:

— А далеко тут немцы?

— Близко, близко, — восторженно известил его комвзвода Деянов, низенький скуластый парень из шестой роты.

— У-у, — произнес нечленораздельно инженер, очевидно с холода, пятясь к самолету.

— Куда, куда? — кричал Деянов. — Далеко, далеко немцы!

И когда инженер немного успокоился и подошел к костру, Деянов, неловко оправдываясь, говорил мне тихо: «Я думал, ему надо, чтоб они близко были, а ему, вишь, надо, чтобы подальше».

Инженера повезли в село на отдельную квартиру. Утром он проснулся, когда никого не было в хате, выглянул в окно. Увидев часового в немецкой шинели у ворот, он забрался на чердак. Просидел он там битых два часа, пока хозяин хаты, долго разыскивавший пропавшего гостя, смеясь, не позвал его завтракать.

Когда о случившемся узнали и инженера подняли насмех, Ковпак встал на его защиту:

— Ну, чего вы ржете!.. Со всяким такое может случиться. Завезлы чоловика, як кота в мишку, чорт-те зна куды... Тут з непривычки и не то може почудыться.

Но все же инженер был желанным гостем в отряде. Он прибыл к нам в связи с аварией, без которой все-таки не обошлось на нашем ледовом аэродроме. Инженер привез винты к пострадавшему самолету. Летчик этой машины мало летал в тыл врага и, очевидно не надеясь на собственные нервы, подкрепил их спиртом и посадил машину далеко от сигнальных огней. Затем зарулил совсем в другую сторону и въехал в ледяную трещину, заглушив моторы винтами об лед. Винты поломались, но машина осталась целой. Инженер привез новые винты. Несколько сот человек под командой Павловского два дня подымали и подняли, наконец, машину из про-

давленной шасси полыньи. Инженер с Павловским руководил подъемом самолета, и уже на второй день он вместе с партизанами смеялся над своими страхами. Достаточно было двух дней, чтобы все его представления о немецком «тыле» показались ему дикими и несуразными.

— Вы понимаете, ведь никакой разницы, как если бы я выехал в подмосковный колхоз. Только что у всех людей за плечами оружие. Вот и вся разница.

— Ну, положим, разныци ти ще не бачыв. Буде тоби ще и разныця... — говорил Павловский.

— Не пугайте, не уговаривайте, все равно не страшно, — смеялся инженер.

— Вишь, как его на храбрость потянуло, — замечал комвзвода Деянов.

— Разныцю, бач, раки зъилы, — бурчал под нос Павловский.

Он немного ревновал к инженеру. Не будь его он мог бы вписать в свою бурную биографию еще один подвиг — подъем чуть ли не со дна озера громадной машины. А так приходилось делить лавры.

Инженер освоился с народом быстро. Этому помогала обстановка кипучей деятельности. Подъем самолета близился к концу. Смекалка партизан выручала инженера. К концу второго дня машина уже была на льду и к ночи была отбуксирована к берегу. Но в конце, когда уже ставили винты, все дело сорвалось. Немецкая авиация нащупала наш аэродром. «Юнкерсы» стали беспрерывно кружиться над озером. Они все-таки высмотрели замаскированную машину и зажгли наш самолет, беспомощно стоявший у берега. Затем «Юнкерсы» принялись бомбить лед, и ровная площадка, похожая на бетон, вспузырилась большими круглыми полыньями, забитыми мелким крошевом льда.

Ледовый аэродром кончил свое существование. Закончилась и наша стоянка на льду. Ковпак был не в духе — он надеялся получить еще с десяток тонн груза. Но все же ледовый аэродром крепко выручил нас. Мы отправили на Большую землю всех раненых,

ликвидировали острую нужду в боеприпасах для русских систем оружия. К остальному оружию — немецкому, мадьярскому — мы добывали патроны у врага.

Последним самолетом прилетел на наш аэродром депутат Верховного Совета Бегма. Он привез ордена для партизан соединения Ковпака и других украинских партизан. Пробыв несколько дней у нас и вручив награды, он остался в тылу врага организовывать партизанское движение на Ровенщине и вышел из вражеского тыла, лишь когда Красная Армия освободила эти места. Прибыл он на наш аэродром один, а через год встречал Красную Армию во главе многотысячных отрядов ровенских партизан.

Ясно было, что немцы не дадут нам долго простоять на месте. На дальних подступах к озеру стали увеличиваться гарнизоны, появились и подвижные немецкие части. На совещаниях командования мы стали обсуждать планы дальнейшего рейда. Снова, как пять месяцев назад, в Брянских лесах была приведена в мобилизационную готовность вся человеческая махина отрядов. Проверены люди, оружие, транспорт. Лошадям выдавались повышенные порции овса. За несколько дней Павловский с несколькими ротами добыл в совхозе «Сосны», превращенном немцами в помещичье хозяйство, сотни тонн овса, несколько сот голов рогатого скота. Наблюдая за этими приготовлениями и рассылая во все стороны разведгруппы, получая сведения от белорусских партизанских отрядов, я физически ощущал, как замыкается вокруг нас кольцо немецких частей. Иногда у меня лопалось терпение, и я, докладывая Ковпаку и Рудневу разведданные, подчеркивал не столько факты, сколько свои выводы и соображения о них. А соображения мои сводились к одному: надо сниматься.

— Зажды, не горячкуй, Вершыгора, — спокойно говорил Ковпак.

— Надо, чтобы немцы наладили всю свою машину, — рассуждал как бы сам с собой Руднев. — Надо, чтобы окончили они все приготовления. Надо дать им время и возможность разработать все планы до

мельчайших подробностей. А точно разработанные планы имеют один недостаток, — они разлетаются в пух и прах, когда противник, то есть мы, сделаем один небольшой, но неожиданный шаг, не предусмотренный немецким командованием. Понятно, академик? — смеясь, закончил комиссар.

— Понятно. Но какой же это шаг? А если и он учтен немцами?

— Тоди наше дило швах. Риск на войне — родной брат отваги, — сказал Ковпак. — А що воно за шаг? На що тоби знать. Ты от що робы. Розведка щоб беспрерывно действовала.

Я рассказал Ковпаку о своей системе перекрытия разведданных. Разведчики, сами этого не зная, перепроверяли данные друг друга. Это была довольно простая система кольцевых разведывательных маршрутов во времени и пространстве. Я очень гордился тем, что придумал ее, и долго проверял на практике, пока решил рассказать о ней своим профессорам.

— Це добре. Так и действуй, — мимоходом сказал Ковпак таким тоном, как будто ему сказали, что я изобрел спички или велосипед. — Теперь так. Сегодня двадцать восьмое января. Напиши приказ всим командирам явытысь на командирское совещание на третье февраля в штаб. Мисця не вказую. Нимецька розвидка все-равно вже його знае. И що хоч робы, а щоб завтра цей приказ був в руках у нимцив.

Я с недоумением посмотрел на комиссара.

— Делайте так, как говорит командир. Нам надо выиграть еще несколько дней. И пусть немцы строят свой пунктуальный немецкий план по нашей указке. Начштаба, примите меры, чтобы о наших приготовлениях к рейду поменьше было шуму. Полнейшая безмятежность и благодушие. Пусть все считают, что мы собираемся стоять еще долго. Высылайте роту на лед. Пусть проводят работы по подготовке новой площадки.

Я ушел в недоумении. Выполнил все приказания, но заснуть не мог. Вышел на улицу. В штабе еще не спали. Свет горел в квартире командира и комис-

сара. Жили они вместе. Прогуливаясь по улице, я долго и мучительно думал обо всем происходящем. Я, боясь упустить капризную нить еще неясной мысли, подошел к светящемуся окну и, вынув блокнот, стал записывать.

«...Движение — мать партизанской стратегии и тактики», — начал я. Чья-то рука легла мне на плечо. Я вздрогнул. Напротив меня стоял Ковпак.

— Все записуешь? Пиши, пиши, на то советская власть и обучала вас... — Он посмотрел на мою запись и добавил:

— Верно.

— А хотите, товарищ командир, я скажу вам, когда вы решили двинуться в рейд?

— А ну, ну? Интересно... — Он отвел меня в сторону от часового и сказал шопотом: — Кажи... на ухо кажи.

— В ночь на второе февраля... — тоже прошептал я.

Ковпак посмотрел на меня косым, недоверчивым взглядом. Казалось он впервые видел меня. Затем пробормотал смущенно:

— От чертяка. Правильно. А ну, дай своего блокнота. — Перечитав написанное, Ковпак полистал задумчиво листочки и затем еще раз начал читать: — «Движение — мать партизанской стратегии и тактики»... А ну, слухай сюды. Ще в двадцатом году одного махновця мы пиймалы. Так вин нам, знаешь, що на допроси загнув?.. У злодия, каже, сто дорог, а у того, кто ловить — тильки одна... От и пиймайте нас... Выходит, той махновець академии не кинчав, а був... А все же пиймали... Ну, ладно, пишлы спать... Тильки про срок держи язык за зубами... А там подывымось, чы вдасться Адольфу нашего хвоста понюхать...

Мы разошлись. Я еще долго ходил по улицам спавшего села. В окнах Ковпака горел огонь. Проходя мимо, я видел... Старик сидел на печке, спустив ноги на лежанку, и курил цыгарку за цыгаркой. Облокотившись на стол, комиссар Руднев взглядом рейдовал

по карте — на юг, на запад, на север... Изредка он широкой пядью отмеривал расстояние на восток. Пядь мерила по десятикилометровке шесть-семь раз. До Сталинграда от нас было 1200 километров. Это была ночь на 29 января 1943 года. 1200 километров от нас на восток красноармейцы добивали последние группы Паулюса. Мы же собирались еще дальше на запад... На запад, где нити черных и красных жилок сходились к Бресту, а дальше к Варшаве...

XIII

Движение — мать партизанской стратегии и тактики. Неужели только мы понимали это? Я не могу до сих пор уразуметь, как могли десятки отрядов сидеть прикованные к одному месту, давая своей неподвижностью самый крупный козырь неприятелю — возможность все знать о себе. 1 февраля за три часа до темноты все пришло в движение в наших четырех отрядах и двадцать одной роте ковпаковцев.

— Вперед, на запад, академик. На запад и только на запад! — весело говорил мне Руднев после того, как я доложил ему о том, что разведчики, целый день следившие за гарнизонами немцев, не отметили там никаких перемен. Руднев усмехнулся.

— Даю слово, что в штабе немецкой группировки сейчас пишутся последние диспозиции.

— Завтра с утра вся махина придет в движение и начнет хватать руками воздух...

— Да и местных партизан.

— Надо же дать возможность и им повоевать. Мы бережем силы для будущих ударов, а они пусть повоюют сейчас. Кстати, предупредил ты соседей о нашем уходе?

Я ответил, что начштаба Григорий Яковлевич сделал это.

Замысел наш был прост и заключался в том, что нацеленные на нас немцы готовили наступление на

завтра. Мы же уходили сегодня через совершенно непроходимое болото Бурштык. Январские морозы образовали на нем довольно прочную кору. Пройдя километров двенадцать болотом, колонна остановилась. Пока выясняли причину, в голову колонны въехали Руднев и Дед Мороз, сопровождаемые кучей связных мальчишек.

Черемушкин мочалил на спине проводника нагайку, но пользы от этого было чуть. В это время нас нагнал Михаил Кузьмич. На скаку он спрыгнул к нам на санки. Прирученный конек сразу пристроился за санками с его малым хозяином. Недаром скормил Семенистый ему десятки хлебов и делился с ним сахаром, который он всегда таскал в карманах для своего верного друга.

— Командир прислал сказать, что боковое охранение нащупало немцев. Чтобы в колонне никто не знал, я только командиров предупредил.

Положение становилось незавидным. Руднев задумался.

Дед Мороз вышел в сторону от ряда саней и, медленно бредя по глубокому снегу, приглядывался к чему-то на земле.

— Черемушкин, ко мне, — тихо позвал он.

Молодой разведчик подбежал к старику, и они перекинулись несколькими словами. Колонна стояла молча.

Руднев перестал размахивать нагайкой и, лишь они повернулись лицом к колонне, скомандовал:

— Буланого вперед!

За нами, обгоняя обоз, почти по брюхо в снегу, вскачь неслись розвальни, запряженные рослым конем, который был известен в отряде своей неутомимостью.

Дед Мороз на ходу повалился в розвальни. Я слышал, как он сказал Черемушкину:

— У тебя глаза помоложе, у меня голова поумней. Давай вдвоем работать. Смотри, не сбейся со следа. Не сорвись на след зайца или лисы. Запутаемся совсем... Нагонит нам Ковпак холоду...

Дальше колонна шла по следу волка. А в начале сорок третьего года в колонне ковпаковцев было полторы тысячи людей и до пятисот саней.

Через часа два мы уже были на внешней стороне немецкого кольца. Теперь нам был и чорт не брат.

Усач Ленкин ехал, как всегда, впереди колонны. Он молчал, а затем, сплюнув, буркнул свою любимую поговорку:

— Ночь темная, кобыла черная, едешь, едешь, да пощупаешь, — не чорт ли везет!

— Вот дьявольщина, нельзя ли хоть спичкой чиркнуть, что ли, — завозился Коробов, сидевший рядом со мной на санках.

— Зачем тебе?

— Это же целый абзац. Фольклор, партизанский фольклор. За такую хохму большие деньги платят... Нельзя ли чиркнуть спичкой?

— Нельзя, — сказал я эгоистично. — Саша, прибавить шаг!

— Ночь темная, кобыла черная, — и Усач взмахнул нагайкой.

Когда-то в беззаботные, голодные студенческие годы я любил музыку. Изучал ее под руководством Кости Ланкевича, пианиста и выдающегося украинского композитора. Любил часами сидеть в концертном зале консерватории и, закрыв глаза, отдаваться звукам. Она вызывала неясные образы... Так и эти бесконечные переходы, когда слаженная, гармонично организованная боевая группа врезывается, как острый нож, в тело вражеского тыла и разрубает каменные кости шоссеек, стальные мускулы железных дорог, всегда вызывали в моем мозгу неотразимое впечатление симфоний. И когда вдали, начинаясь отдельными выстрелами, сухим треском автоматов, барабанным боем станкачей, разворачивалась прелюдия ночного боя, нервы немного натягивались и, казалось, звенели в теле подобно струнам. Вот уже ударили литавры батальонных минометов. Чем не Бетховен, Мусоргский, Рахманинов!

Впереди взвилась ракета и осветила вздыбивше-

гося посреди переезда коня Саши Ленкина с вьющейся гадюкой плетью над головой.

— Огонь! — скомандовал Усач.

Автоматы разведки застрочили, скосив вражеские патрули, бросившие ракету. Затем очереди стали раздаваться по бокам, веером расчищая захваченный плацдарм у переезда.

Углом через поле шла девятая рота, стоявшая в заслоне справа, а слева быстро передвигалась вдоль насыпи пятая. Артиллеристы уже вытащили противотанковую пушчонку и поставили ее прямо посреди рельсов. Заслоны, отойдя на полтора — два километра, залегли по бокам. Впереди минеры быстро закладывали мины. Бронебойщики пристраивали свои тяжелые ружья на запасных шпалах.

— Обоз, рысью вперед! — скомандовал Базыма.

— Саша, вырывай голову колонны, вперед!

— Я свое дело сделал. Кланяйтесь фрицевым бабушкам. И-ех, ночь темная, кобыла черная...

И взвод конных разведчиков понесся вскачь.

— Классическая работа! Какой стиль! Я пятый раз в тылу врага, но подобного не видел! — восхищался Коробов.

— Подожди, не то увидишь, — говорил Базыма, плетью огрев задремавшего ездового. — Не разрывай колонну, шляпа.

Этого только и надо было Семенистому, стоявшему во главе оравы связных. Они с гиком понеслись верхом, нахлестывая отставших коней, но по ошибке попадая и по ездовому, и по ездокам. Разрыв колонны на марше — опасное дело. Он может оторвать часть колонны, разрезать отряд на две части. Особенно опасен он при форсировании вражеской коммуникации. Мы перерезали ее стальной нерв пополам, но она также перерезает наше живое тело колонны. Каждую минуту жди эшелонов, патрулей, автодрезины, а то и бронепоезда. Поэтому и дорога каждая минута, а чтобы пройти всему соединению через переезд, даже рысью, даже по укатанной дороге, нужно не менее чем полтора часа. Понятно, почему

мы разрешали себе эту кару, обрушивали град плетей на заснувших ездовых. А среди них были мастера, способные спать под градом пуль и разрывами снарядов.

Ночные марши утомляли и людей и коней. И не удивительно, что часто засыпали и те и другие, задерживая движение массы людей и повозок, вытянувшихся на несколько километров позади.

Разослав связных по колонне расчищать путь, проверить «маяков» [1] и растолкать пробки, Базыма, вдруг превратившись в озорного хлопца, размахивавшего плетью, крикнул мне:

— Петро! Машинка закрутилась. Дуй! Глазки вперед, ушки на макушке. Верно говорил дед. Навряд ли удастся Адольфу нашего хвоста понюхать!

Я кинулся в санки, и они понеслись.

— Движение — мать стратегии и тактики партизана! — крикнул я, нахлестывая застоявшихся на морозе коней.

— Придержите коней. Дайте зажечь спичку. Это же абзац. Это же записать надо.

Но в это время сзади нас в темноте ночи блеснуло красное пламя, и во все стороны ночь прошили зеленые нити трассирующих пуль. Затем по снежной равнине прогремел взрыв и сразу, как хвост звуковой кометы, сплошной рев автоматов и пулеметов.

— Поезда как не бывало. Как вам нравится?

— А что за бой там?

— Заслоны добивают эшелон.

— Нельзя ли вернуться?

— Нельзя. Каждый делает свое дело. Да и не успеете. Пятая рота и ее командир, бухгалтер Ефремов, это дело сделают и быстро и чисто.

— То есть какой бухгалтер?

Только тут мне пришло в голову, что и Ленкин и Ефремов в мирной жизни бухгалтеры.

— Хотите дам вам абзац? — рассердился я. — Зажгите спичку. Пишите. Самая воинственная про-

---

[1] «Маяки» — регулировщики движения на перекрестках дорог.

фессия — это профессия бухгалтера. А развивать эту тему можете сколько угодно. Вот вам прототипы.

Эшелон медленно загорался. Пламя лениво лизало щепы изуродованных вагонов, освещая брюхо черного дыма, поднимавшегося к небу.

Мы понеслись по укатанной санной дороге. Впереди была еще шоссейка, а разведчики Ленкин и Бережной уже должны подъезжать к ней. Нужно было догнать их, чтобы принять наиболее быстрое и поэтому наиболее правильное решение, ибо движение и быстрота — мать партизанской тактики и стратегии...

Дорога на запад была открыта.

Рейд начался удачно.

XIV

Скажем прямо: до Сталинградской битвы все мы предъявляли счет к Красной Армии. Много горьких слов было сказано, много горьких дум передумано. Ведь мы громили немцев по тылам их и шли вперед, а там до сих пор только отступали... И эти горькие думы как-то выразил наш поэт Платон Воронько:

...Партизан не желает пощады
И на помощь к себе не зовет.
Не зовет он далекого друга,
Что на фронте за тысячу верст,
Из-за Дона и синего Буга
Не придет к нам наш сменщик на пост...

Пусть не будут в обиде фронтовики, пусть поймут!

Они оставляли города, села, реки. Оставляли, может быть, и с тяжелым чувством, но все же позади лежала страна, все более наливавшаяся сталинской волей к победе, и они чувствовали ее. У них был тыл, могучий советский тыл. А мы — армия без тыла и флангов, — мы видели лишь горькие результаты отступления, изнанку его. Мы видели поверженную в прах Белоруссию, растоптанную, окровавленную Украину. И еще мы знали мысли и гневные слова

одного приказа, и, больше чем кто-либо другой имели право мы, штатские люди, учителя, бухгалтеры, колхозники и музыканты, взявшиеся за оружие, кинуть упрек людям, отступавшим на восток. Если не все, то многие из нас понимали, что не своей лихостью или особым воинским талантом мы добивались этих частных побед, а тем, что против нас действовали самые слабые войска врага, что все свои лучшие силы и ресурсы Гитлер бросил на Красную Армию.

Но не все понятное уму хочет и может понимать сердце.

Да еще, может быть, потому, что нам приходилось видеть худшее, а лучшее — могучие процессы переустройства и мужания армии — были далеко и доходили до нас лишь глухими отголосками. А худшее трусливо прозябало вокруг нас — оставшиеся в приймаках малодушные командиры, политработники. Процент их был невелик, но нам он резал глаза, вонзался острой иглой в сердце, этот небольшой процент. Недаром командиры рот у Ковпака были сержанты... Не потому, что в отряде отсутствовали люди с большими военными званиями, а просто потому, что Ковпак сержанта, пришедшего в отряд в сорок первом году, ставил выше и ценил больше, чем майора, приползшего к нам в сорок третьем. Много их походило у него в рядовых, пока заслужили они доверие старика. Партия и правительство вскоре выправили эту диспропорцию, присвоив военные звания партизанским командирам.

Существовал у нас еще один обычай, заведенный комиссаром Рудневым. Два раза в день, в 14 и в 24 часа, радист Вася Мошин подходил к штабу с толстой книгой подмышкой.

— Читать сводку! — командовал Руднев.

Как угорелые, разлетались во все стороны связные, Семенистый, Ванька Черняк и другие, орали на весь лес, если дело было летом, стучали плетью в окна и двери халуп, если дело было зимой, и кричали:

— Читать сводку!..

Через несколько минут возле штаба собиралась

толпа партизан, и Вася Мошин раскрывал свою библию.

— От Советского Информбюро. Вечернее сообщение за...

Воцарялось молчание, и люди выслушивали все, что он читал. Кто не сражался в тылу у противника, кто не был по месяцам лишен возможности читать родные строчки советской газеты, тот не может понять нашего волнения.

Многие месяцы лишь тоненькой нитью эфира, да и то не всегда, мы были связаны с родиной. О событиях, происходивших на фронте и в советском тылу, мы знали только по сводкам Совинформбюро и только от Васи Мошина.

И понятно, что этот человек, выполнявший лишь трудную и скучную техническую обязанность, стал олицетворением всего того, что делалось за фронтом.

— Ну, сколько городов оставил? — серьезно спрашивал Ковпак Васю в 1942 году.

И парень, печально раскрыв книгу, монотонно и громко читал сводку, а окончив чтение, молча захлопнув свою библию, сейчас же уходил.

Мне иногда даже становилось жаль этого хлопца, так сокрушенно принимал он упрек старика-командира, словно был сам повинен в этих невеселых делах и сообщениях.

Но вот еще в конце декабря 1942 года голос Васи окреп, стал он читать раздельней, научился останавливаться в наиболее интересных местах, стал делать психологические паузы. И все больше слушателей собиралось у штаба, так что пришлось Васе читать сводку в разных концах расположения отрядов. Затем ее стали размножать на машинке и рассылать по ротам вместе с оперативными документами штаба, а вскоре стали издавать в двухстах — трехстах экземплярах типографским способом на ручной партизанской типографии, присланной нам на ледовый аэродром.

Раз заведенное, как и многие другие традиции, чтение сводки в штабе проводилось ежедневно. А зимой, начиная с декабря 1942 года, обряд этот стано-

вился все торжественней и оживленней, а ждали в штабе Васю Мошина все с большим нетерпением.

19 ноября началось наступление Красной Армии, и Васю заставляли читать сводку по нескольку раз, делая по ходу глубокомысленные стратегические и философские замечания.

23 ноября замкнулось кольцо у Калача, и откуда-то из дебрей кованого сундука наш штабной архивариус Семен Тутученко вытащил карту Волги, и к ней по вечерам тянулись толстые обмороженные пальцы стариков и мальчишек, разыскивая еле заметный кружочек с надписью «Калач».

Теснее сжималось кольцо вокруг армии Паулюса, и уже не в штаб ходил Мошин, а победоносно вертел регуляторами приемника в новой просторной избе, куда его перевели по приказу Ковпака. Вокруг хрипящего репродуктора сидели, затаив дыхание, Ковпак, Руднев, весь штаб, все связные, политруки и парторги рот и ловили раздельно, по слогам передававшуюся диктовкой сводку для областных газет «От Советского Информбюро».

2 и 3 февраля 1943 года отряд совершил марш, и сводка не была принята. Четвертого мы сделали небольшой переход и, разместившись по квартирам, уже собирались отдыхать, как услыхали за окном голос часового, тревожно выкрикивавшего первую цифру пароля, и дикий голос: «Экстренное сообщение». Не успел часовой задержать кричавшего, как в штаб влетел Мошин.

Он еще в сенях кричал:

— Разрешите, товарищ начштаба? Экстренное сообщение!..

— Ну, читай уже... — сказал Базыма, сидевший без гимнастерки на покрытой плащ-палаткой соломе.

— Экстренное сообщение... — начал Мошин, держа свой гросбух только для проформы раскрытым, а сам торжествующе глядя на нас.

— Надо за командиром и комиссаром послать, — сказал Войцехович.

— Я уже был у них на квартире, одеваются...
— Ну, тогда подождем...
— Так я им уже прочел...
— А они что?
— Сказали: беги скорее в штаб, читай! Мы сейчас будем сами.
— Ну, читай, чортова регенерация, — буркнул из-под одеяла Тутученко.
— Сами же перебивают, товарищ начштаба. Разрешите начать?..
— Давай, Васютка...
Вася откашлялся.
— Главная квартира фюрера, 3 февраля, — прочел он громко и остановился, глядя на нас. — Удовлетворенный нашим видом, продолжал: — По приказанию фюрера по всем территориям райха объявлен трехдневный траур. Запрещены зрелища и кино. Всем женщинам носить черные траурные ленты или платья...
В это время в хату вошли Ковпак и Руднев.
— Чытав? Чулы, хлопци? — спросил старик и, ударив себя плетью по валенку, сел на лавку.
— Оце вам, хлопци, наука... Оце вжарылы, так вжарылы. Це покрепче Брусилова буде...
На столе лежала карта Волги, вся исчерченная синими и красными значками, стрелками и кружками. Базыма молча подошел к ней, бережно свернул ее и протянул Тутученке.
— Сховай, Сеня, сховай на память...
Руднев взял карту из рук начштаба, снова расстелил ее на столе. Он долго смотрел на место излучины Дона и Волги и затем красным карандашом перечеркнул синее кольцо у Сталинграда.
— Вот и наступил он, праздник на нашей улице... Товарищи, вы люди не военные...
— Знаем, сами знаем, Семен Васильевич, — сурово сказал Базыма.
— Вы понять не можете, что значит эта победа...
— Чего уж тут не понимать, раз по всей Германии на три дня траур объявлен. Тут все понятно!

— А понятно ли, какой ценой и кровью, каким трудом досталась нашей Красной Армии победа? Ведь я же знаю многих людей, которые ее добывали, может, многих из них уже и в живых нет.

Руднев замолчал, задумавшись.

Из сеней, двери в которые были открыты, раздался несмелый голос Володи Шишова:

— Товарищ командир Герой Советского Союза! Тут у нас к вам просьба имеется.

— Чего еще? — не поворачивая головы, спросил Ковпак.

Володя шагнул через порог и уже смелее сказал:

— Просим вас рассказать про встречу с товарищем Сталиным.

Старик повернулся, встал со скамьи и глянул на обступивших его партизан, его солдат и сподвижников; многих из них он знал еще до войны, за многих давал поручительство в партию.

— Правильно, расскажи, Сидор Артемович.

— Добре... — Старик задумался.

Руднев отошел в угол штабной избы и, сев на предложенный Войцеховичем табурет, улыбаясь смотрел на командира.

Ковпак начал рассказывать. Я уже не раз слыхал этот рассказ. Многие из присутствующих, те, кто пришел из Брянских лесов, тоже знали его в подробностях. Но сегодня старик был особенно в ударе и, видимо вспоминая, снова переживал незабываемую встречу.

Долго звучала речь Ковпака:

— ...Я обо всем доложил товарищу Сталину. Как начали партизанить, как воюем. Как с народом связь держим. На все вопросы ответил. Тут товарищ Сталин стал других командиров спрашивать, а я потроху став в себя приходить. Понимаете, хлопци, трохи я перед цим заволновался. Может, через то з другими Иосиф Виссарионович и почав балакать, що заприметил мое волнение. Пока там разговор шел, — все до тонкости товарищ Сталин од нас про парти-

занские дела допытуется, — я уже и по бокам оглядуюсь...

Ну, злива од мене сидят наши хлопци: Сабуров, Дука — брянский партизан, Покровский. Повертаюсь я направо. Тут рядом со мною хтось сидав у штатской одежыни... Глянув я на того гражданина... и знов заволновался... А це, хлопци, товарищ Молотов. Я так сбоку позыраю. Як же я, думаю, зразу не запримитыв. А Вячеслав Михайлович до мене лице повернув и посмихнувся. Поняв, значит, що я на товарища Сталина все внимание обращав. А разговор все дальше иде. Уже хлопци до цыгарок добралысь. Тут мы посмилишалы: хтось з наших все мени шепче: «Насчет второго фронта как? Вопрос задай...» Думаю, чи можна нам задавать вопросы? До цього времени все только нас товарищ Сталин спрашивав. Дай, думаю, я вперед у товарища Молотова попитаю. Все-таки, це по его части, — и тихонько, щоб не мешать дилу: «Товарищ Вячеслав Михайлович, можно вопрос?» Вин повернув до мене очи. Ну, от так рядом сыдымо. «А что, какой вопрос?» И я ему знов пошепки: «А как насчет второго фронта?» Дивиться вин на мене, а потом нахылывся почти до самого вуха, а очи смиються, а сам серьезный, ладошкою прикривсь и тоже мене пошепки пытае: «А вы, товарищ Ковпак, з какого года в партии?» — «З 1919 года, товарищ Молотов», — сразу отвечаю. Замовк я и сразу щось не разкумекав, що и до чого вин мене пытае. Тут и товарищ Сталин до нас повернувся. «Товарищи интересуются, будет ли второй фронт?» — говорит Молотов, а очи знов смиються. «Будет, обязательно будет второй фронт! Заставим... А пока что вы наш второй фронт. Вы...» — и так рукою на нас всех показав. И сразу перейшов к дилу. Став нам задачи ставить...

Партизаны слушали, затаив дыхание. Ковпак продолжал:

— А насчет Сталинграда я так понимаю, хлопци, шо ще тогда у него план був. Як мени и Сабурову поставив задачу на правый берег Днипра йти — то ще тоди сказав товарищ Сталин: «Скоро там Крас-

ная Армия будет. Надо будет помочь с тыла. А для этого надо народ подготовить. Пойдете поднимать народ...»

— Как же он знал это? — восхищенно спросил Володя Шишов.

— Такой человек, да чтоб не знал, — ответил за Ковпака Базыма.

— Теперь скоро и до Путивля Красная Армия догонит немца. Може, найду свою старуху з детьми, — вздохнул Коренев.

— А я все-таки думаю, товарищ командир, трудно ему...

— Кому? — спросил Ковпак.

— Товарищу Сталину. Вот человек! Так наперед все знать...

— Трудно, Володя, всем трудно... — отвечал Руднев, — а ему всех трудней.

Голова мальчика склонилась к карте, где синий круг на берегу Волги был накрест перечеркнут красным карандашом.

Еще долго сидели партизаны в штабе. Говорили о Сталине, о Красной Армии, о победе, которая казалась уже такой близкой.

Разошлись лишь тогда, когда в окнах забрезжил серый зимний рассвет.

XV

Мы вырвались из кольца немецких гарнизонов и подвижных частей, готовых начать крупную операцию против партизан, скопившихся вокруг отслужившего свою службу ледового аэродрома.

В ночь на 3 февраля мы отмахали еще километров сорок и приблизились к Пинску. Теперь надо было подумать о том, чтобы оттянуть немцев, навалившихся всей тяжестью своего великолепно организованного механизма на оставленный нами район.

Нужно было бросить в этот великолепный часовой механизм стальной болтик. Пусть заскрежещет и с

разбегу остановится немецкий точный механизм. Пусть, не отзвонив своего боя, в недоумении застопорит ход.

Задача сводилась к тому, чтобы оттянуть от местных партизан на себя подвижные немецкие части, а от гарнизонов они отобьются и сами.

Для меня это был первый рейд в суровое зимнее время. Еще раньше от старых партизан я слыхал:

— Поскорей бы ударили морозы, замело бы, тогда нам немцы не страшны.

— Нет лучше времени для партизана, как зима.

Эти реплики, а иногда и длинные рассказы совершенно противоречили моему штатскому представлению о наиболее удобном для партизанской борьбы времени года.

Не завершив полного годового цикла в партизанах, я не имел еще собственного опыта и принимал эти замечания с некоторым недоверием. Может быть, похваляются старики? Может быть, просто повезло им в прошлую зиму — зиму сорок первого и сорок второго годов, когда немцы впервые столкнулись с русскими морозами, спасовали перед русской природой; может быть, преимущества зимы, яро защищаемые старыми партизанами, только кажущиеся? Все-таки образ партизана, скрывающегося в лесу, еще жил во мне. А когда как не летом ему легче воевать? Тут и листва прячет его от глаз противника, и теплое солнце греет подвергающегося опасностям бедного партизана; и прочие преимущества, связанные с лирическим сентиментальным представлением о весне, лете, бабьем лете и других мягко звучащих временах года. И все эти преимущества исчезают в нашем сознании, замороженные ледяным дыханием зимы. Тут и лютые морозы, и глубокие снега, и следы в снегу, по которым рыщут немцы, и трудности с пищей и одеждой. Это все верно для партизана-одиночки, для мелкой группы в пятнадцать — двадцать человек. Но я слыхал и от своих профессоров — Ковпака и Руднева, Базымы и Коренева, и от рядовых партизан это же утверждение: «Зимой вое-

вать легче». Обсуждая сложившуюся ситуацию, Ковпак говорил комиссару:

— Семен Васильевич. Зараз зыма, можно смило вдарить нимцям по пятках. Подрочыть их трохи. Демонстрацию им зробым. Хай воны всю свою механику на нас кинуть...

Комиссар молчал.

— Зимой не страшно и с дивизией в кошки-мышки играть, — добавил Коренев.

— Хорошо, если они на машинах, а если на санях? — возразил Базыма.

— Ну, на санях немец вояка, сам знаешь, какой!

Дед Мороз долго еще объяснял преимущества санной дороги для партизан. Очевидно, кроме меня, это всем было известно, и Ковпак, Руднев и Базыма, склонившись над картой, водили по ней пальцами.

— Подожды, Ильич, — сказал Ковпак Кореневу.— Ты лучше от что скажи: пушки по болоту пройдуть?

— Морозы крепкие были. Должны пройти. А впрочем, я разведку пошлю. Хай на болоте толщину корки померяют.

— Шанцевый инструмент пускай захватят, — сказал Ковпак.

Комиссар откинулся от карты и снял шапку.

— Сидор Артемович! Я думаю, нужно демонстрацию немцам в двух направлениях делать. У станции Лахва есть мост, недалеко от станции — аэродром. С него самолеты нас на озере бомбили. Это один удар, настоящий, а второй — ложный, по Пинску.

— Правильно. Нимци на машинах за нами кинуться. А мы по болотам их водыть почнем. Стануть нимци з машин на санки пересаживаться, от тогда — як той махновец сказав?

— У вора сто дорог, а у того, кто ловит, только одна, — засмеялся Коренев.

Очевидно, Ковпак часто вспоминал этот афоризм.

— Ну, на тому и порешили, — и Ковпак надел шапку. — Назавтра демонстрацию зробым, послезавтра братки легче вздохнут, а то им, наверно, за всю войну так круто не приходилось, як сегодня.

— Разделение труда, — задумчиво сказал Руднев. — Но, шутки шутками, а выручить их надо. Вооружение у товарищей слабое, и долго им самим не продержаться.

Ночью несколько рот под командой Павловского всерьез повели наступление на станцию Лахва. Мост взорвать не удалось, на аэродроме самолетов тоже не оказалось, но Павловский все же уничтожил два эшелона и, ворвавшись на станцию, устроил там такой кордебалет, что сразу же, по данным разведки, немцы приостановили наступление на белорусских партизан и стали оттягивать войска к железной дороге. К Пинску нами был послан только один взвод разведчиков, но с минометом и пулеметом. Ему была выдана тройная норма боеприпасов и поставлена задача, как можно активнее обстрелять областной город и как можно скорее скрыться.

— Ох, и дали мы шквал! Огонек такой был, что фрицы думали — не меньше как дивизия на них наступает, — смеялся Черемушкин, докладывая о выполнении задания.

Мы два дня делали к вечеру лишь небольшие переходы по десять — двенадцать километров, чтобы запутать разведку противника. Вскоре появились связные от местных партизан. Большинство командиров поняло наш маневр и благодарило за оказанную помощь, но были и такие, что между собою говорили:

«Не было б Ковпака, не было б и немцев в нашем районе. Всегда за ним хвост карателей тянется. Ему что? Он выкрутится, а нас гоняют, гоняют...»

Они по-своему были правы. Я встречал на своем веку «партизан», которые как о каком-то сверхгероизме рассказывали о том, как они по двое суток просиживали в воде с камышинкой во рту, прячась от эсэсовцев. Этим товарищам и в голову, очевидно, не приходило, что эсэсовцы существуют на свете для того, чтобы их бить, а не для того, чтобы прятаться от них в топях. Многих, вначале, может, и не плохих, партизан развратила слишком роскошная природа пинских топей, лесов и камышей.

Окончательно запутав следы, беспрерывными мелкими диверсиями и засадами мы заставили немцев перейти к обороне и бросить все свободные силы на охрану железных дорог и важных центров. Через несколько дней путь на запад был свободен. Можно было двигаться к Бресту, а там кто его знает — перемахнув через Буг, Вислу...

Нет лучшего времени для действия крупного боевого отряда, да еще с опытными и смелыми командирами, чем суровая русская зима. Снегом замело все дороги, автотранспорт не пройдет нигде, кроме шоссе. Зимой противник теряет первое свое преимущество — быстроту маневра. Он может маневрировать только на санях, а если учесть, что инициатива в наших руках, что мы диктуем направление, то главное средство войны — маневр — в наших руках. Зимою ночь длинная, а день короткий. Ночь — наше время: это второе преимущество партизан. От него производное третье: действие авиации противника затруднено зимой. Четвертое — трудные условия для ведения противником разведки и обнаружения нашей стоянки: пока разведка противника нащупает нашу дневку, уже ночь, а на другой день начинай сначала; где был вчера рейдовый отряд, там его нет сегодня. Словом, пока стояли морозы, мы могли рейдировать куда угодно.

К началу сорок третьего года наше соединение выросло из районных рамок, в областных нам было тоже тесновато.

Получая оперативные приказы, в которых ставилось задание на дальнейшие рейды, я всегда вспоминал один случай. Это было со мной в первые дни пребывания в тылу врага, под Брянском. Я выехал поближе к важной железной дороге и расположился на участке Почеп — Выгоничи. Вел разведку, опираясь на передовые отряды огромного партизанского края. Отряды эти недавно были организованы из местных крестьян с небольшой прослойкой военнослужащих. Надо было приключиться вскоре после моего появления такому случаю. Из Брянска на Унечу шла крупная немецкая колонна: до 180 автомашин, несколько

танкеток и один или два средних танка. Машины шли с грузом. Охраны было немного. Проехав Выгоничи, колонна двигалась по улучшенной грунтовой дороге. Движения автотранспорта там не было давно, тракт зарос бурьяном и запустел. На развилке дорог немцы встретили двух баб, и переводчик спросил у них дорогу на Почеп. Бабы возьми и покажи дорогу, которая вела в партизанский край. Немцы покатили прямо к нам. Заставы, увидев такую сильную колонну, — впереди шла пара танков, дальше же все сливалось в тучах пыли, — отошли в балки, а командованию донесли, что к нам движется свыше ста танков. Паника в этих еще не обстрелянных отрядах поднялась невообразимая. К счастью, один танк напоролся на мину и ему выбило гусеницу. Колонна остановилась. Через полчаса улеглась пыль, и партизанские разведчики подползли по ржи и дали нам уже более точные данные: «180 грузовых авто, несколько легковушек, три или четыре танкетки, один средний танк с перебитой гусеницей. Немцы стоят в нерешительности. Вместе с шоферами их не больше 300 человек». Отряды понемногу пришли в себя. Их было четыре отряда, общей численностью тоже не более 300 человек, если считать и женщин. Многие из них всего несколько дней назад впервые взяли винтовки в руки, а свиста пуль не слыхали никогда. Командиры были и боевые, и вчерашние мирные колхозники, вообще всякие. Естественно, что они обратились ко мне. Я имел тогда еще интендантское звание и носил две шпалы. Командиры отрядов засыпали меня вопросами: что им делать, принимать бой или уходить в леса? Уйти без боя нам было легко, немцы, повидимому, еще не знали о нашем существовании. Принять бой с таким войском, а затем отойти — значило отдать на расправу озлобленным немцам несколько деревушек, в которых мы стояли. А больше всего смущало меня то, что никаких полномочий на командование этими отрядами никто мне не давал. Пока немцы думали над своим танком и вели разведку, думал и я.

И решил дать бой. Быстро отдав распоряжения, разместил отряды в обороне и засадах, и, когда колонна двинулась вперед, мы затеяли перестрелку. Выдержки у молодых партизан не было, они открывали огонь издалека, нервничали и вообще вели бой неумело. Все же немцы потеряли одну танкетку и около десятка автомашин и отошли назад. Они попутались в этих краях еще один день, пока не напоролись на более опытные отряды Василия Ивановича Кошелева, который устроил им ловушку. Немцев перебили, а машины уничтожили. Никаких лавров этот бой мне не дал, больше того, — была куча неприятностей, но на этом деле я многому научился.

Неприятность первая: начальство с Большой земли предупредило меня, что я послан в тыл вести разведку, а не воевать. Начальство партизанского края, прибывшее на место события через два дня, было недовольно тем, что я ходил с бойцами в атаку, и тоже мне за это выговаривало. Но больше всего меня поразил случай, происшедший в процессе самого боя. Командиром одного отряда был местный житель. Он имел военное звание старшего сержанта или старшины, и поэтому единогласно был избран командиром. Он занял по моей «диспозиции» оборону на указанном рубеже. Так как у противника имелись танки, естественно, что я прежде всего учел наши противотанковые средства. Во всех четырех отрядах были две бронебойки и один крупнокалиберный пулемет без мушки, стрелявший только одиночными выстрелами, а иногда, словно сбесившись, срывавшийся на очередь, которую никто уже остановить не мог. Замолкал он лишь тогда, когда кончалась лента. Я указал места для бронебоек, а сам с этой капризной машинкой расположился на опушке леса у дороги. Когда колонна немцев двинулась, я заметил, что одной бронебойки на указанном месте нет. Верховой связной, посланный мною к командиру, доложил ответ командира: «Я бронебойку поставил на более нужном месте».

— А где? — спросил я связного.

— Во-о-н в селе, хата с новым забором.

— Так туда же танки не пойдут. Кругом болото.

— Так то ж хата командира, — отвечал связной.

— Что за чертовщина?! Он что, опупел, что ли? А сам командир где?

— Сам в цепи. С обороны, говорит, не уйду живым, но бронебойку где поставил, там и стоять будет.

Колонна подходила, перестраиваться было некогда. Метров за триста, где-то на фланге, раздались выстрелы партизан без команды, из передних машин выскочили немцы, а я, ругаясь и проклиная судьбу, которая ввязала меня в эту глупую историю и свела с таким недисциплинированным войском, скомандовал: «Огонь по всему фронту!» Конечно, будь это немцы как немцы, они прогнали бы нас, но у них тоже, видимо, тряслись поджилки. Несколько машин уже горело. В стане врага я заметил признаки паники. Мы расхрабрились, стали нажимать, но немцы, поставив танки в арьергарде и прикрываясь их огнем, стали под малодейственным нашим обстрелом разворачивать колонну назад, а часа через два и совсем ушли. Враг оставил одну танкетку, 8 чадивших черным дымом грузовиков и 16 убитых. С нашей стороны был убит лишь один: командир отряда, поставивший бронебойку возле своей хаты. Бойцы говорили, что сражался он храбро. Мы похоронили его с почестями, а я отметил в дневнике эту историю, поразившую меня, и решил написать о ней трагический рассказ. Рассказ у меня не вышел, но затем на протяжении двух с половиной лет партизанской жизни я часто встречался с подобными случаями. Иногда они были районного, иногда областного масштаба. Люди не понимали, что врага надо бить не в том районе, где хочется Ивану Ивановичу, потому что он там главный начальник, а там, где врага можно ударить наиболее удачно, с наименьшими потерями для себя и с наибольшими для противника. И, встречаясь часто с такими районного масштаба стратегами, а иногда будучи вынужден и выполнять, ох, не мудрые их планы, я всегда вспоминал командира отряда, кото-

рый поставил бронебойку у своей хаты, а сам погиб в чистом поле, сраженный снарядом немецкого танка.

Нечто подобное происходило и сейчас с отрядом Ковпака. Махина отряда шла на запад, движимая стальной пружиной воли командиров, а на ходу летели телеграммы, приказы: «не переходить границ нашей области... держаться границ...»

Но откуда людям знать, что для лихих солдат, мыслителей и поэтов не существует границ?! Откуда им знать это?!

Итак, волею судеб под Брестом и Варшавой нам суждено было побывать лишь через год. А сейчас, в феврале сорок третьего года, Руднев, просидев над картой много часов, сказал нам с Базымой:

— Придется круто поворачивать на юг.

— Снова форсировать Припять? — спросил Базыма.

— Изнов?! Ох, и набрыдла мени ця ричка. Вершыгора, выбери таке мисце, де берега снигом замело. Щоб я и не бачив цю прокляту Припять з припятенятами.

Выполнить командирскую волю мне было нетрудно. Весь январь и начало февраля стояли морозы, они все-таки заковали непокорную реку в ледяные одежды, а метели замели берега и скрыли под белым саваном ее нагое, холодное, мертвое тело. Казалось, природа специально работала, чтобы скрыть свою гнилобокую дочь от глаз разозлившегося Ковпака. Кроме проводников, разведки, да нас с Базымой и Войцеховичем, в отряде и не знали, что мы, километрах в двадцати пяти восточнее Пинска, перемахнули Припять в третий раз.

С этой ночи мы круто повернули на юг.

XVI

На юг мы двигались быстро. За два перехода прошли километров девяносто и, окончательно сбив с толку преследовавших нас несколько батальонов вра-

га, оторвались от этого хвоста. Крупных боев так и не было. Зато было много стычек разведчиков, засад и боев застав с авангардами противника. Схватки вспыхивали молниеносно и порядочно измотали немецкие войска. Заставы, дав десяти — пятнадцатиминутный шквал огня, отходили, запутывая следы. К моменту подхода больших сил немцев партизаны уже успевали скрыться, а немцы наступали цепями по горло в снегу на пустые опушки рощ и лесов. Словом, противник везде наталкивался на партизан, но найти их сам нигде не мог. Зима — крепкое подспорье, но в умелых руках. Были бои при форсировании железных дорог. За время со 2 по 8 февраля, включая два поезда, разбитых Павловским, мы уничтожили шесть эшелонов.

После двухдневного марша мы достигли районного центра Ровенской области — Владимирца, где стоял сильный гарнизон полиции, жандармерии и «казачков». Не считая Владимирец важным пунктом, за овладение которым стоило бы пролить хоть каплю нашей крови, мы решили остановиться километрах в двенадцати от него. Для стоянки выбрали большой населенный пункт — Степан-Городок.

Величайшая экономия жизни людей — одна из важных особенностей тактики комиссара Руднева. Никогда не шел он на боевые дела, может и эффектные, заманчивые, но влекущие за собой неизбежные потери, не оправданные к тому же верным результатом. Всегда этот человек мерил высокой мерой государственной пользы цену крови наших товарищей. Сознавая, что воевать без крови нельзя, он ночами бодрствовал в штабных хатах, на походной тачанке или санках, продумывая, взвешивая всевозможные варианты и ходы, добиваясь, чтобы цена нашей крови была как можно выше.

Мы внезапно ворвались в этот край с северо-запада. Здесь никогда еще не было партизан. Слухи о нас доходили в декабре, но тогда мы действовали на востоке, и отзвуки «Сарнского креста» растревожили местные власти, полицию. Но немцы ждали неведо-

мых партизан с востока. Тем более внезапным было наше появление почти с противоположной стороны. Оно вызвало панику среди местных властей. Естественно, что мелкие группы жандармов и полиции либо разбегались, либо захватывались нами врасплох. Пленных хоть отбавляй, много и новичков приходило в отряд. «Окруженцы», застрявшие по ранению, по слабости духа или неумению ориентироваться, бежавшие из плена и оставшиеся в приймаках, — все шли к нам.

Работы было по горло. Всю эту часть командирского труда Ковпак и Руднев возложили на меня. Многих из взятых в плен полицейских нельзя было отпускать на волю, а тем более брать с собою. Их смерти требовали местные жители, боясь, что после нашего ухода они с удвоенным рвением начнут вымещать свою злобу на безоружном народе. Многие шедшие в партизаны просили расстрелять изменников, так как, оставь мы их в живых, семьи новых партизан будут качаться на виселице.

Помню, Руднев, подписывая однажды протоколы допроса и обвинительные заключения такой публике, сказал мне:

— Рука устала. Не могу больше. Знаешь что, — мы доверяем тебе. Не носи больше ко мне эти дела. Решай сам. А если уже что-нибудь очень запутанное или сложное, давай мне или командиру.

Ковпак согласился с мнением комиссара.

Это решение взвалило на меня тяжесть большой ответственности. Оно стоило мне многих часов тяжелого раздумья. Признаюсь, к такой деятельности я не был подготовлен всей своей предыдущей жизнью.

А может быть и лучше это? Когда-нибудь я расскажу об этой работе более подробно. Очищать землю от всякой нечисти всегда нелегко. Сейчас я знаю одно: никакой следователь обычного типа не мог бы справиться с такой работой. Она требовала острого глаза и, самое главное, умения разбираться в людях. Я рубил лес, летели щепки, но совесть моя перед народом чиста. Единственной мерой было: что сделал

и чем способен помочь ты, гражданин, в великом горе народном и каков путь твоего корабля в этом море испытаний и страданий человеческих. Не словами, а делами отвечай мне на этот вопрос. Я имею право, имею власть так спрашивать тебя, потому что я солдат своего народа, а побеждает тот народ, солдаты которого меньше всего жалеют самих себя. Так учил полководец Суворов. И мы не жалели себя, товарищи!

Одновременно там же, в Степан-Городке, командование поручило мне работу по фильтровке, проверке и приему в отряд новых партизан. Работа эта еще больше сблизила меня с Базымой, штабистами: Васей Войцеховичем, Семеном Тутученко; разведчиками: Бережным, Черемушкиным, Хапкой и Кашицким. Без них я не мог бы делать ее хорошо. Но все же ответственность лежала на мне.

Степан-Городок — сейчас большое село среди дремучих лесов, мелких речушек, лесных ручьев и болот. Может быть, когда-то, во времена нашествия татар или борьбы казацкой вольницы с польскими панами, оно было крепостью, опорным пунктом, центром, в котором люди оборонялись от врага. Теперь же, оставшись в стороне от железных и шоссейных дорог, оно стало обыкновенным полесским селом. Разве только улицы были поровнее, и расходились они лучеобразно от центральной площади, да на самой площади вросло в землю несколько древних каменных домов, торговых помещений; да поближе к центру деревянные ветхие дома со стеклянными верандами или мезонинами, с замысловатыми чердаками, похожими на галочьи гнезда, своей архитектурой указывали на далекое прошлое села и не совсем крестьянское его происхождение. Оторвавшись от своего хвоста, мы решили здесь дать людям и лошадям передышку. Вначале думали постоять сутки, а затем начальство с Большой земли, вероятно обрадованное тем, что мы все же повернули на юг, предложило еще подбросить груз. Стоянка была продлена на несколько дней. Морозы упали, погода стояла ясная, снег не таял,

но был мягкий, пористый и сам просился в снежки и бабы, а укатанные за зиму санные дороги желтели конским пометом, соломой и листвой срубленных осенью на топку берез. Где-то в утренних морозах, ярких солнечных днях и светлых лунных ночах угадывалась пришвинская весна света. Кто бы мог подумать, что в эти светлые ночи немцы и их верные слуги, бессильные против захлестывавшего Украину и Белоруссию народного гнева, осуществят самое жестокое и провокационное дело? Гнусный замысел врага не был понят нами вначале во всей его черной глубине, и, лишь постепенно сталкиваясь с ним, мы все более познавали новую опасность, которая вставала на нашем пути. Пусть же приоткроется завеса этой подлой истории, так как мне и моим товарищам пришлось быть свидетелями начала ее и присутствовать у истоков провокации украинско-немецких националистов, принесшей нашему народу еще больше страданий и жертв.

Вот как было дело.

На второй день стоянки в Степан-Городке меня разбудили задолго до рассвета разведчики. Спросонья я не сразу понял, о чем они докладывали. Быстрый разговор Лапина, перебиваемый фразами и руганью Володи Зеболова, их торопливые жесты и взволнованный вид этих, видавших кровавые виды хлопцев навели меня на мысль, что где-то, обойдя наши заставы, к нам прорвались немцы. Не дожидаясь конца доклада, я крикнул часовому:

— Найди дежурного и пусть разбудит Базыму! Есть важные данные.

— А командира и комиссара тоже будить?

— Не надо, — сказал Зеболов. — Вы лучше послушайте нас до конца, товарищ подполковник.

И они, немного успокоившись, стали рассказывать. Население окрестных районов смешанное. С давних времен живут тут поляки, украинцы и евреи. Изредка встречаются чисто польские села, чаще украинские, а больше народ живет вперемежку. Сегодня ночью в одну из небольших польских деревушек, лесной ху-

торок в тридцать хат, ворвалась группа в полсотни вооруженных людей. Неизвестные окружили село, выставили посты, а затем стали подряд ходить из хаты в хату и уничтожать жителей. Не расстрел, не казнь, а зверское уничтожение. Не выстрелами, а дубовыми кольями по голове, топорами. Всех мужчин, стариков, женщин, детей. Затем, видимо опьянев от крови и бессмысленного убийства, стали пытать свои жертвы. Резали, кололи, душили. Имея порядочный стаж войны и зная хорошо стиль немецких карателей, я все же не верил до конца рассказу разведчиков. Такого я еще не встречал.

— Да вы, хлопцы, постойте! Может, вам набрехал кто со страху?

— Какое набрехал! — торопился досказать Лапин. — Мы сами в этом селе были. Когда подъезжали на санках, их постовой выстрелил два раза из винтовки. Мы резанули из автоматов. Сразу в селе шум поднялся, несколько выстрелов было, но не по нас, а затем собака залаяла, и все затихло. Лишь слышно, какая-то баба голосит и причитает. Мы тихонько, огородами, пробрались и своими глазами все видели. Все как есть.

— Рассказывайте все по порядку. Все, что вы там увидели.

В хату вошел Базыма. Он на ходу надевал ватный пиджак, а войдя, вынул из кармана гимнастерки и одел на нос очки. Я молча показал ему на разведчиков.

Они снова сбивчиво, торопясь и волнуясь, стали рассказывать. Понять я снова толком ничего не мог.

— А что за люди там в санках у ворот штаба? Детишки какие-то?.. — спросил Григорий Яковлевич.

— Так они же. Те, что остались из польской деревушки. Всех остальных вырезали. И старых и малых.

— Да кто же? Говорите вы толком, ребята...

— А если мы и сами толком не знаем?.. — удивился Лапин, привыкший меня видеть более спокойным, чем сегодня.

— Ну, что рассказывают эти ваши пассажиры?

Говорили вы о чем-нибудь по дороге? Давай их сюда, — скомандовал Базыма.

Пока Лапин ходил на улицу, Володя Зеболов объяснял нам:

— У них тоже мало толку добьешься. Только зубами цокают, да все: «Проше пана, да проше пана». Чудно даже. Единственно, что я от них слыхал, что главного этой банды резунов зовут Сашкой. Как сказал «Сашкó», так дети ревмя ревуть... Вот сами увидите.

— Всех давать или по-одному? — кричал в сенях Лапин.

— Потише ты, потише, — зашикал на него Базыма.

Хозяева дома сгрудились у дверей горенки, и я заметил, что при имени «Сашкó» у них тоже расширились глаза, а детишки стали испуганно жаться к коленям матери.

Наконец, подталкиваемые Лапиным, вошли неизвестные жители лесной деревушки. Их было четверо: старик лет шестидесяти, молодая женщина и двое детей. Действительно, они дрожали. Может, от страха или холода. Одежда на них была легкая, наспех наброшенная на полуголое тело. Видимо, они были захвачены врасплох, среди сна, как захватывает людей пожар, внезапно вспыхнувший в их доме после полуночи.

— Папаша, заходите. Садитесь, папаша, — пододвинул старику табуретку Базыма.

— Проше пана, — отвечал старик. — Проше пана, я тутай, тутай постою, — и он прислонился к косяку двери.

К другому прислонилась женщина, положив руки на плечи мальчику и девочке. Она молчала. Дети были одного роста, лет восьми-девяти, очень похожие друг на друга, может быть, близнецы.

— Папаша, расскажите, что было у вас в деревне? — попросил Базыма.

— Проше пана, те паночки все видзели, паны про все може пану оповядать, — указывал он на разведчиков.

— А может, пан сам нам расскажет? — попросил я его.

— Проше паночка, нех паночек выбача...

Старик долго бормотал что-то невразумительное. Половина слов была «проше пане», а остальные слова были непонятны. Тогда мы обратились к женщине. Но она молчала. Лишь когда я внимательно посмотрел на нее, на ее остановившиеся глаза, на бледное лицо с крупными каплями пота, — я увидел: это была сумасшедшая или во всяком случае человек с парализованными волей и чувствами. Она механически судорожной хваткой держалась за плечи детей и, вперив безжизненный взгляд куда-то поверх нас, молчала. Мы еще раз попытались что-то спросить у нее.

— Проше панов, то есть цурка моя. Цурка, а то-то ее дзятки.

Дочь молчала.

Мальчик, до сих пор смотревший на нас широко раскрытыми глазами, вдруг заговорил:

— Воны вошли в хату и сразу стали ойцу нашему руки крутить... Говори, мазурска морда, где золото?..

— И у татка косточки трещат, а мы плачем... — сказала девочка.

— Потом один взял секиру и голову ему порубал.

— Ага, а потом стали всех бить и мучить, и рубать.

— А остатней душили бабуню на печи...

Дети наперебой стали рассказывать нам подробности этой страшной картины. Говорили по-детски, просто, может, до конца не понимая ужасного смысла своего рассказа. Они с детской бесстрастностью, какой не может быть и у самого справедливого суда, говорили только о фактах.

— А как же вы сами живы остались? — вырвалось у Базымы.

— А на дворе стрел начался, и они быстро выбежали на улицу. Последним бег Сашко, он нашу Броню из пистоля забил...

— А мы живы зостались, з мамкою. Мы под лужко сховались...

— А потом ваши, он они, в хату зайшли и нас найшли...

— Так, так, проше пана, так было. Дзятки правду мувили, — прошамкал старик.

Женщина все молчала. Казалось, она слыхала лишь голоса своих детей, но смысл их страшного рассказа не возбудил в ней никаких чувств.

Я разослал дополнительные разведгруппы, а Базыма забрал поляков в штаб и занялся устройством их быта.

Когда утром я доложил о ночном происшествии Ковпаку и Рудневу, они потребовали от меня разведать эту странную и не совсем понятную своей бессмысленной жестокостью резню.

Я вместе с разведчиками выехал в село на место ночного происшествия. Картина ночного налета была еще ужаснее при ярком солнечном свете.

В первой избе, в которую мы вошли, лежало семь трупов. Входная дверь была открыта. В сенях, перегнувшись гибким девичьим станом через высокий порог, лежала лицом кверху девушка лет пятнадцати в одной ночной сорочке. Туловище было в горнице, а голова свисала на пол сеней. Солнечный луч позолотил распустившиеся светлокаштановые волосы, а голубые глаза были открыты и смотрели на улицу, на мир, над которым веселилось яркое солнце. Из раскрытых губ по щеке стекала, уже затвердевшая на утреннем заморозке, струйка крови. В хате вповалку лежали взрослые и дети. У некоторых были раздроблены черепа, и лиц нельзя было рассмотреть, у других перерезаны шеи. На печи — совершенно черная и без следов крови древняя старуха со следами веревки на шее. Веревка, обмотанная вокруг качалки, валялась тут же. Когда я поспешно уходил из дома, представлявшего семейный гроб, увидел на щеколде наружной двери пучок длинных волос. Они запутались в ручке и трепетали под дуновением предвесеннего ветра навстречу солнцу.

В других домах повторилась та же картина.

Все это было слишком ужасно, чтобы я мог что-

либо понять. Одно очевидно: движимые какой-то страстью к уничтожению и убийству, люди потеряли облик человеческий и бесцельно, как волк, ворвавшийся в овчарню, влекомые одним бешенством, одной жаждой крови, смерти и крови, устроили эту резню.

Лишь собрав все сведения, которые можно было добыть от перепуганных до полусмерти ночным происшествием жителей окрестных польских и украинских деревень, и специально разослав разведчиков под Сарны, удалось немного распутать это страшное и гнусное дело.

До того, как мы подошли к Сарнам из-за Днепра, и после, когда мы устроили «Сарнский крест», в гестапо работал сын владимирского попа по имени Сашко. Был он молод, красив и жесток. Вначале работал переводчиком, а затем, выдвинувшись своим жестоким и придирчивым отношением к населению, расстрелами евреев, — сделался чем-то вроде следователя и палача.

Но... вскоре после «Сарнского креста» Сашко из гестапо уволили. Не выгнали, не арестовали, а уволили. Очевидно, этот факт был событием немаловажным, так как сарнское гестапо поспешило уведомить об этом население городка и окрестных сел. Был издан, отпечатан и расклеен на заборах специальный приказ об увольнении сотрудника Сашко, тогда как обычно не угодивших им холуев гестаповцы имели привычку выбрасывать просто пинком ноги. Что дальше показалось странным, это то, что, увольняя Сашко, гестаповцы «забыли» отнять у него оружие: кортик, парабеллум, автомат.

А когда через месяц Сашко появился во главе банды человек в пятьдесят — шестьдесят, из которых половина тоже была «уволена» из полиции, а другая половина набрана из уголовников, банды, объявившей борьбу за «самостийну Украину», якобы против немцев, а на самом деле начавшей резню польского населения, дело начало проясняться. Как узнали мы позже, эта провокация была не единственной. В те же дни из Ровно, Луцка, Владимир-Волынска, Дуб-

но и других центров Западной Украины по сигналу своего руководства ушли многие националисты, дотоле верой и правдой служившие немцам в гестапо, полиции, жандармерии. Ушли в леса, на весь мир разгласив свое желание бить немцев. Немцев они били на словах и в декларациях, в листовках, на одной из них оказалась даже виза немецкой типографии в Луцке. А на деле занимались резней мирных поляков.

Естественно, что мирное население обратилось к немецким властям, умоляя защитить их от этого произвола. И немецкие власти в разных городах, областях отвечали слово в слово одно и то же: «Войска у нас все заняты на фронте. Единственно, чем мы можем помочь вам, — это дать оружие. Защищайтесь сами. Но дадим оружие при условии, если поляки поступят в полицию и оденут форму шуцманов». До сих пор привилегия быть немецким шуцманом полностью принадлежала бендеровцам. Поляки не шли на эту подлую роль с начала оккупации Западной Украины немцами. Но сейчас не было выхода. И конец февраля и март сорок третьего года знаменателен организацией польских полицейских батальонов.

Не к чести их надо сказать, что ответили они на акцию украинских националистов тем же. Словом, весной и летом такая пошла резня, что страшно становилось жить в этом благословенном краю и поляку и украинцу. Очевидно, с удовольствием потирал руки Гиммлер, с санкции которого была спровоцирована эта резня.

Восстание народа нельзя подавить войсками, да и войск у гитлеровцев было не густо. Надо отравить сознание народа, надо выпустить на арену старых, испытанных, матерых провокаторов. И они нашлись.

Немцы не смогли разбить нас в отместку за «Сарнский крест», но они сделали выводы. Как и подобало гестаповцам, они стали бороться против грозно нараставшего партизанского движения методом про-

вокации, разжиганием национальных конфликтов. И это им вначале удалось.

Трагедия лесной польской деревушки потрясла нас всех — и командиров и рядовых партизан.

Но затем, за весну и лето сорок третьего года, мы встречались с явлением резни мирного населения и польскими и немецко-украинскими националистами как с чем-то обыденным. Идет ночью колонна, разведчики впереди, и вдруг автоматные выстрелы вспыхивают на несколько секунд, а затем жители выбегают к нам и встречают как своих избавителей. А иногда мы приходим поздно...

Один раз мы спасаем польскую деревушку от украинских националистов, другой — украинцев от польских полицаев... Не все ли равно?

Одно только типично для тех и других: ни разу ни те, ни другие не оказали нам вооруженного сопротивления.

Как шакалы по следам крупного зверя, так и эта мразь ходила по кровавым тропам немецкого фашизма и делала свое шакалье дело. И подобно шакалам, бежала при первом чувствительном ударе палкой по хребту. А затем снова нападала из-за угла.

XVII

Ресна пришла ветрами.

Она шумела в столетних парках польских магнатов, а на несколько десятков метров выше верхушек деревьев гудели самолеты с черными крестами. Они шли на восток, юго-восток, груженные боеприпасами, а обратно везли раненых, штабных офицеров и несостоявшихся владельцев совхозов и колхозов Украины, Дона и Кубани.

Весна пришла буйными, порывистыми ветрами. Далеко на востоке наступала Красная Армия.

— Далеко ли?!

Уже не на Волге под Сталинградом шли бои. Уже

перемахнули полки, дивизии, армии Дон, Донец, взяли Харьков, Курск.

Весна шла буйными, порывистыми ветрами, гнала с востока изорванные в клочья облака, а под ними сновали обезумевшие самолеты с черными крестами на крыльях.

Шоссейными дорогами, асфальтом из Житомира на Ровно, старыми украинскими шляхами Подолии и Волыни ехали, шли толпы, колонны, обозы. Вот оно: докатилось и до нас эхо Сталинградской битвы. Ошметки разбитых под Воронежем итальянских дивизий, венгерские бригады, румынские полки, понюхавшие под Краснодаром русского пороха, шли они, позабыв о Кавказе и Волге. Шли оборванные, усталые, с тупой пугливой мыслью, с растерянным, бегающим взглядом попавшегося воришки. Куда? До матки! До матки, домница, до матки, сеньора, до матки. И выменивали оружие на хлеб. Винтовку за краюху, пистолет за буханку, пулемет за миску вареников. Вот как оно звучало эхо Сталинградской битвы, докатившись до Житомира, Ровно и Шепетовки.

Весна шла ветрами, буйными ветрами и с юга и с востока. Они гнули непокорные кроны старых лип, тополей и берестов; они прижимали к земле самолеты, меченные черными крестами; они гнали в спину, надувая паруса желтых, зеленых и коричневых шинелей, подгоняя румыно-итало-венгерские толпы. Ветры свистели в проводах, завывали в трубах хат, смертельным воем напоминая вассалам о близком дне возмездия.

Весна донесла к нам буйными ветрами эхо Сталинградской битвы.

Разведчики, ходившие в дальние поиски и достигавшие Ровно, Дубно и Ковеля, приносили радостные вести.

По дорогам Правобережья шло отступление. Пока отступали только разбитые мадьярские, итальянские и румынские части, шли обозы с каким-то скарбом; топали с награбленным имуществом полицаи Кур-

ской и Харьковской областей, да на машинах проносились коменданты, ландвирты, сельхозкомиссары, гебитс-комиссары, забежавшие дальше всех на восток, а сейчас вдруг горячо желавшие забежать как можно дальше на запад.

В ночь на 19 февраля мы заняли село Большой Стыдень. Разведчики и конный взвод под предводительством Саши Ленкина ворвались в него первыми. Центральная улица оказалась хорошей мостовой, с каменными плитами тротуаров по бокам. Когда в село въехали мы с Коробовым и копыта наших лошадей зацокали по камням, перестрелка уже затихала. Иногда она вспыхивала по бокам и сзади нас — это разведчики гоняли по огородам жандармерию и полицаев. Улицы чернели, снег уже стаял по дорогам, но поля и огороды были сплошь белыми. Это и заставляло полицаев Большого Стыдня бегать по огородам, хотя снег и резал их босые ноги, но зато он был хорошим маскирующим фоном, так как большинство их выбежало из помещений в одном белье.

Все же очистка села с таким деликатным названием заняла у нас около часа. Колонна подтянулась, и голова обоза начала втягиваться в село. До утра было недалеко, и мы, посоветовавшись с Войцеховичем, решили становиться на дневку.

Уже когда по селу рыскали квартирьеры, мы узнали новость: оказывается, мы задумали стоянку в районном центре.

Так вот почему здесь столько жандармерии и полиции! И тротуары... и бургомистр.

Бургомистра прислал мне в подарок в начале перепалки Ленкин. Толстого господина, замотанного в несколько шарфов, провели мимо меня, и я приказал поместить его в самый крепкий сарай.

Комиссар, узнав о нашем безрассудном решении, отменять его не стал, но все же поругал порядком.

— Придется принимать бой. Не может быть, чтобы немцы оставили нас в покое в райцентре. Сами заварили кашу, сами и поезжайте по круговой обороне. Проверьте всю и утром доложите мне.

Так мы и сделали.

Но, к нашему удивлению, за весь день немцы никаких попыток трогать нас не обнаружили. Более того, разведчики нигде соприкосновения с противником не имели. По этой причине решили мы остаться в этом стыдливом городишке еще на один день.

Как ртуть в чутком термометре, так рахитичный немецкий «тыл» реагировал на события на фронте. Жизненная логика подсказывает, что чем хуже у немцев дела на фронте, тем, казалось бы, внимательнее они должны присматриваться к тылу своей армии. Практика показывает обратное. Немецкие власти слабее всего реагировали на то, что происходило вокруг именно в те дни, когда на фронте шли бои, не особенно успешные для немцев. Вывод из этого напрашивается сам собой. Нужно удары с тыла приурочивать к наступательным действиям на фронте. Тогда эффективность их значительно вырастает.

Второй день стоянки в Большом Стыдне был для нас знаменательным. Через село, видимо, проходила трасса немецких самолетов. Они все чаще стали пролетать над нами. Весенний ветер прижимал их к земле. Сначала по самолетам палили из винтовок, так, из спортивного интереса. Но к середине дня мы установили специальные точки, и часам к четырнадцати немецкая трехмоторная машина, вспыхнув над селом и протянув на несколько километров черный хвост дыма, рухнула в лес. Я успел доскакать к месту ее «приземления», когда среди расщепленных деревьев дымилась лишь куча дюралюминиевого лома, да на земле валялось несколько изуродованных трупов. У одного из них была забинтована нога, и, видимо, при жизни он был раненым офицером, у другого на полуобгоревшем мундире я смог разобрать погон оберста. Вокруг валялось много бумаги, в воздухе летали лепестки бумажного пепла.

Я поднял несколько листиков, и они подсказали моему нюху разведчика, как гончей собаке след лисицы: ищи!..

И я стал искать. Где-то под листами гофрированной жести, скрученной ударами и взрывами, удалось найти небольшой фибровый чемодан с обгоревшим углом. В чемодане, запертом и перевязанном прочным шпагатом с пятью сургучными печатями по углам, сквозь один из них, срезанный бритвой огня, я увидел плотные, спрессованные бумаги.

Бумаги, военные бумаги! Кто работал в разведке, должен знать эту дрожь, когда в твои руки попадает важный документ врага.

«Наверное, здесь весь план войны, и, узнав его, я сразу поставлю врага на колени», — честолюбиво думает разведчик, вчера только взявшийся за это дело.

«Может быть, я добыл план важной операции фронтового масштаба?» — с надеждой раздумывает разведчик этак с полугодичным стажем.

«Возможно, я достану документы, и они, подкрепленные еще другими данными, помогут моему командованию распутать сложную сеть замыслов противника?» — мучается сомнениями опытный разведчик, знающий толк в своем деле.

Но волнуются и дрожат они одинаково при виде бумажки, хоть чем-нибудь говорящей им, что здесь военная тайна врага.

А ведь в моих руках был целый чемодан. С печатями, с документами, с сетками координат.

Юноши, впервые идущие на свидание с любимой! Вы не знаете, что значит волнение! Вы понятия не имеете, что такое страсть! Вы и не узнаете ее, если у вас никогда в жизни в руках не окажется чемодана с военными документами противника.

Но тут я вспомнил второе правило разведчика. Спокойствие, благоразумие, рассудительность! «Не торопись! — сказал я себе. — Внимание и спокойствие! и еще раз внимание!» И я стал лазить по дымящемуся лому самолета.

Самолеты сбивали мы и раньше: «стрекозы», «рамы», парочку «Юнкерсов», но этот был особенный. Простая транспортная машина № 0136, мотылек, всего за три недели до своей смерти родившийся из

кокона завода «Герман Геринг». Недолго прожил ты на свете, фашистский трехмоторный мотылек!

Но вез он интересных пассажиров. Среди трупов, выброшенных ударом в сторону и поэтому не обгоревших, были: оберст артиллерии, майор-танкист (тот, что с перевязанной ногой) и майор полевой жандармерии или кавалерийских частей (и у тех и у других цвет окантовки одинаков — желтый). Все остальные или сгорели совсем, или настолько были обезображены, что никаких суждений о них я, даже будучи высокого мнения о своих шерлок-холмских способностях, составить себе не мог.

По остаткам документов, одежды, дневников я мог судить, что это были офицеры, имевшие какое-то отношение к группировке войск Клейста. «Может, офицеры связи генштаба?» — думал я, спотыкаясь о железо, торчавшее из земли, и набивая себе шишки на лбу. Уже вечерело. Каждый кустик был мною и моим переводчиком и помощником Мишей Тартаковским осмотрен, каждая обгоревшая бумажка поднята, отпороты погоны с трупов, осмотрены «зольдатенбух» и...

Все! Остается только чемодан.

— Поехали, Миша! — с печальным вздохом сказал я своему чичероне.

— Поехали, а то как бы на заставах не подстрелили.

— А ты знаешь сегодняшний пароль?

— Нет!

— И я не знаю!

— Придется ехать и все время громко разговаривать.

— И еще громче ругаться?

— Ну да. Единственный способ, когда не знаешь пароля, чтобы не быть подстреленным часовым.

— А интересно, что все-таки в чемодане?

— Конечно, интересно. Но меня интересует еще больше: почему когда подъезжает человек и тихо говорит, что он не знает пароля, в него стреляют, а если он едет и за километр ругается, его пропускают?

— Не знаю. Психологически это, вероятно, объясняется просто: мы даем часовому время подготовиться к встрече с нами. Он уже все обдумал и спокойно ждет нас. А если сразу — надо либо пропускать, либо стрелять. А подумать человеку и некогда.

— Верно. А может, потому не стреляет, что считает: мы его боимся. Знаете, когда дети остаются в темной комнате, они всегда разговаривают и ни на минуту не умолкают.

— Доезжаем. Давай начинай свой детский разговор.

— Товарищ подполковник! — заорал Миша. — Не гоните так коня, моя кобыла спотыкается. Не успеваю.

— А какого лешего? Видишь, вечереет! Так с тобой еще на заставу напорешься. Чорт дернул меня за тобой ехать на твоей кляче! Ну, куда ей за моей угнаться! — кричал я все громче.

Ехали мы отнюдь не рысью, а просто тихим шагом.

— Стой! Восемь? — раздался из темноты требовательный вопрос.

— Какой восемь? Какой восемь? — сразу ответил Миша. — Не видишь, помощник командира части едет. Восемь, восемь...

— Да слышу, слышу, а так для порядка... Восемь, — продолжал он уже более миролюбиво.

— Не знаем мы пароля, — ответил ему я.

— Так бы и сказали. Вона карнач, он вам скажет.

Пароль был тринадцать.

Это значит, что на оклик восемь нужно было добавить число, дававшее при сложении тринадцать, то есть пять.

Когда карнач сообщил мне пароль, я подумал честолюбиво: «Чорт возьми, ведь пароль тринадцать, а число это для меня явно везучее. Чем чорт не шутит, а?»

И я стал любовно поглаживать немецкий чемоданчик с сургучными печатями.

Дав удила коню и волю фантазии, я принялся строить всякие радужные планы. Конечно, я не был

разведчиком, только вчера взявшимся за это дело, и уже хорошо знал, что все на свете профессии — это труд, труд кропотливый и дающий результаты по капле, по песчинке, труд многих людей, но... была темная ночь, пароль был тринадцать. Возле меня не ругался придирчивый Ковпак, не «воспитывал» меня Руднев, и мог же я хоть в это неслужебное время фантазировать, о чем мне угодно. «Тем более, — думал я, — ведь это же все реально. Чемодан с документами немецкого генштаба.

Стратегия!!!

— ...или по крайней мере пресловутого Клейста;

оперативное искусство!!!

— ...дневники летчиков оберста и других важных персон;

ну, хотя бы что-нибудь из немецкой тактики!!!

— в моих руках».

Нет, юноши и девицы, идущие на первое свидание, ничего вы не понимаете! Вы не знаете, что значит дрожать от волнения темной ночью ранней весны.

Три дня и три ночи мы сидели с переводчиком Мишей над содержимым чемодана. Серной кислотой догадки мы пытались проникнуть в смысл документов. Там была и книга шифровок штаба Клейста за сорок второй год и много, много карт: отчетных, оперативных, карт с приказами... И среди них одна большая километровка, еле помещающаяся на полу комнаты, а на ней наверху надпись: «Von russischer Karte abgelegt».

И на карте — вся Изюм-Барвенковская операция. Ее начало и развитие. Поползав по остальным картам, я увидел ее конец.

В эти дни я впервые ощупью бродил по большим штабным дорогам, по глухим тропам, перекресткам и тупикам войны.

«Да, — думалось мне. — Недаром пароль был тринадцать в этот ясный весенний день — весенний и ветреный день 2 февраля, прижимавший немецкие самолеты к земле, к верхушкам тополей и ясеней, столетиями росших в парках польских магнатов на украинской земле».

XVIII

Мы простояли в Большом Стыдне дня четыре. Кроме работы над документами группировки фон Клейста, у меня было много других забот. Не обошлось и без неприятностей. Захваченный Ленкиным бургомистр сбежал в третью ночь. Часовой дал по нему несколько выстрелов и слышал, как он вскрикнул, но найти его так и не могли. В ночной темноте-неразберихе толстопузый бургомистр скрылся, как иголка в пуховой подушке.

После памятного случая под Владимирцем мы стали все больше интересоваться националистами. Я провел с разведчиками несколько инструктивных бесед, потребовав от них сведений об этом новом, нами еще не изученном и малопонятном противнике. К моменту нашего прихода в район Большого Стыдня мы уже располагали большим количеством фактов, но еще полностью не разобрались в них. Факты часто не вязались между собой, а иногда и противоречили один другому. Одни данные указывали на прямую связь националистов с немцами, с гестапо, с жандармерией, другие же говорили о том, что часть вооруженных отрядов националистов ведет борьбу с оружием в руках против немецких оккупантов.

Но уже тогда, в начале 1943 года, я начал улавливать известную закономерность: там, где движение шло снизу, оно часто бывало антинемецким. Но там, где верховодили галичане, сразу появлялась связь с немцами, иногда очень скрытная, тщательно законспирированная, а иногда и открытая.

Еще во время стоянки в Глушкевичах в декабре 1942 года до нас доходили смутные слухи о каком-то Тарасе Бульбе. В Большом Стыдне мы все чаще слышали новое имя «Муха». Мы уже знали, что большинство националистических атаманов тщательно скрывают свои настоящие имена и действуют под кличками, или, как они называли свои вымышленные имена, «псевдо». Муха — было явное псевдо. Разведка и охранение второго батальона Кульбаки, выд-

винутого нами заслоном от Ровно километров на восемь южнее Большого Стыдня, столкнулись с вооруженной группой националистов. Боя с Кульбакой они не завязывали, но в то же время на переправе через реку Горынь заняли оборону фронтом к нам и задержали нескольких разведчиков. Одного из них, подержав некоторое время, отпустили к нашему командованию с предложением начать переговоры. Кульбака согласился и пригласил к себе парламентеров, потребовав, чтобы это были обязательно ответственные лица. Когда они к нему явились, он задержал их, потому что продвигавшаяся вторая группа разведчиков его батальона была обстреляна цепями противника. Пришлось вмешаться в это дело Ковпаку. А так как парламентеры все равно были уже задержаны, то мы и решили вызвать их к себе и самим выяснить, что же это за люди.

Парламентеры были доставлены в штаб. К нашему удивлению, оба оказались молодыми хлопцами лет двадцати — двадцати пяти. Один из задержанных был командиром националистического формирования, носившего название «Курень». Высокий прыщавый блондин в штатском пальто, с шелковым кашне на шее и в очках на угреватом носу, быстрый, подвижной, с уверенными глазами. Руки у него были потные, с длинными пальцами, нервно перебиравшими борта модного пальто. Второй — высокий, черноволосый. Хрящеватый нос с горбинкой, упорный взгляд карих глаз и широкая ладонь мужицких рук. Одет в крестьянский кожух с расшитым воротником, из-под которого выглядывал бархатный лацкан немецкого мундира. Это и был Муха. Молодой человек лет двадцати пяти, но когда разговор пошел в открытую, выяснилось, что ему и того меньше. Начали с сугубо военных вопросов: мы требовали, чтобы цепь националистов очистила дорогу и не мешала нам продолжать путь; парламентеры настаивали на том, чтобы мы изменили маршрут.

Муха, видимо, слышал о нас многое и, как мне показалось, не был враждебно настроен. Я наблюдал

его со стороны и видел, что любопытство все больше и больше овладевало им.

Вначале с помощью довольно нехитрых уловок он пытался выяснить цель нашего прихода и направление дальнейшего маршрута. Руднев легко избегал прямого ответа на его вопросы, которые были наивны, но не на все мы могли отвечать, а Ковпак только улыбался, пощипывая бородку. Парень был, видимо, не из терпеливых дипломатов, так как уже через десять минут он откровенно заявил:

— Скажить, куда и для чого идете, и я дам наказ пропустыть вас...

Ковпак не выдержал и ответил ему своей любимой поговоркой:

— Здоровый ты вырос, хлопче, а у твого батька був сын недотепа.

Я полагал, что это означает конец дипломатических переговоров, но, к нашему удивлению, чернявый хлопец сначала приподнялся, оскорбленный, а затем снова сел и, овладев собой, сказал:

— Не знаю, як вас звать и кто вы будете, а на вашу мову я скажу одно: батька мого нимець застрелыв, а я вырвав у нимця автомат и троих жандармив до земли прышыв... И с того времени я с германом веду свий счет...

Речь Мухи была откровенной и убедительной, и что-то в этом парне, глаза которого блестели ненавистью, подкупало. Когда я взглянул на его товарища, то увидел, что лицо его нервно передернулось, пальцы рук еще быстрее забегали, а глазами он впился в Муху и, не моргая, в упор смотрел на него. Муха продолжал:

— ...и с того дня не було мени спокою. За смерть батька уже богато германив головою сквитались, и все мени мало...

Но тут он встретил взгляд своего напарника и осекся. Мы хотели продолжать этот разговор, но Муха молчал. Стал говорить прыщеватый блондин. Он обнаружил неожиданную покладистость и резво пошел на уступки. Просил только, чтобы мы дали им

день сроку, и они пропустят нас в любом направлении.

На этом и договорились.

Парламентеры поднялись. Ковпак, хитро прищуриваясь и потягивая цыгарку, вдруг спросил:

— Ну, а за що вы боретесь, хлопчики?

— Як за що? — отвечал Муха. — За самостийну Украину.

— Ага, понятно. А против кого? — в упор спросил он прыщавого.

— Против нимакив, — отвечал Муха.

— Ты подожди, хлопче, — отмахнулся от него Ковпак, — не тебе пытаю, ты ж мужик необразованный, а от пускай воны скажуть.

Глаза прыщавого забегали, он встал и быстро стал бормотать заученные слова:

— Або загынешь в боротьби за волю, або добьешься своего. Мы боремось за Украину, без московского империализма, мы за то, щоб каждый украинец в своей хате був сам соби пан...

— Вот сукин сын, — тихо сказал мне Руднев.

Ковпак кинул в нашу сторону сердитый взгляд и быстро обернулся к Мухе.

— Ну, а ты, хлопче, тоже так думаешь?

Муха молчал.

Ковпак не отступал:

— Скоро Красная Армия придет, так вы що, против нее тоже воевать будете?

— Будем! — не задумываясь, ответил прыщавый.

— А ты, хлопче? — настаивал Ковпак.

Муха молчал.

— А теперь еще один вопрос к вам, господин. Вот вы сами, своими руками, сколько немцев убили?

— Ну, это уж лишнее, — отвечал тот, — и значения это не мае ниякого.

— Так чьими же руками вы будете с нами воевать? — не унимался Ковпак. — Его руками? — указал он на Муху.

— Против своих я воевать не буду, — угрюмо сказал Муха.

— А вот вы будете, — обратился Руднев к прыщавому, — будете сами, но без них, без народа. Только я вот никак не пойму, на что же вы надеетесь?

Оба молчали.

— Да, хлопчики, — затягиваясь цыгаркой, говорил Ковпак, — неважное ваше дело, бес-пер-спе-ктив-но-о-е... Поняв? — Погибель вас ждет.

Криво улыбаясь, прыщавый выдавил из себя, видимо где-то вычитанную фразу:

— Ну, и что же из того? Хоть погибнем, но зато попадем в историю.

— А! Разве что так, — засмеялся Руднев.

Они ушли.

XIX

Простояв дня четыре в Большом Стыдне, отряд двинулся дальше. От Припяти более двухсот километров мы шли все время на юг, в обход Сарнского узла с запада, а сейчас круто повернули на восток, в обход Ровно и Новоград-Волынска.

Мы торопились, так как начиналась уже весенняя распутица, и хотя грунт был еще мерзлый и твердый, но сверху уже лежала жидкая кашица таявших снегов. По дорогам текли ручьи. Впереди наш путь преграждали реки Случь и Горынь, южные притоки Припяти, речушки небольшие, но быстрые и глубокие. При весеннем разливе они могли стать серьезной преградой, в особенности, если учесть, что никаких саперных или понтонных частей у нас пока что и в помине не было. До сих пор реки и побольше — Днепр и Припять — мы форсировали на чем бог послал.

Время года, климат и перемена погоды для рейдового отряда имеют важное значение. Волка ноги кормят! А ключом нашей неуязвимости было движение. Противник мог это движение затормозить на одном из направлений, поэтому Руднев всегда старался иметь как можно больше выгодных вариантов

в выборе маршрута. Он не любил рек, встречавшихся на нашем пути, и старался поскорее перемахнуть через них. Терпеть не мог он железных и шоссейных дорог. Дороги эти довольно сильно охранялись, может быть потому, что находились в районах, близких к партизанским гнездам. Они были досягаемы для мелких диверсионных отрядов, а такие партизанские отряды уже успели организоваться в Полесье. Дороги тоже были преградами на нашем пути.

Разведчики и третья рота называли их полупрезрительно, полуласково «железки», мощеное шоссе звали «шоссейка», а единственную в этих краях асфальтированную магистраль Киев—Житомир—Ровно—Львов с некоторой долей уважения называли «асфальт».

Когда разведчики двигались на поиски в южном направлении и проходили заставы Кульбаки, бойцы заставы обычно спрашивали:

— Куда двигаетесь, хлопцы?

— На асфальт! — важно отвечали Черемушкин или Володя Лапин, и застава с уважением пропускала их. И не удивительно: ведь эти хлопцы через несколько часов должны были очутиться на важной коммуникации врага. «Это вам не какой-нибудь паршивый полицай или трусливый жандарм», — слышалось в ответе разведчиков. По асфальту шло большое движение. Здесь пульсировала живая артерия армии врага, армии еще сильной и до зубов вооруженной.

Мы не часто ставили перед разведчиками диверсионные задачи, и особенно редко в тех случаях, когда они шли на асфальт. Роль их сводилась к тщательному наблюдению, умению разобраться в движении врага, умению найти вблизи дороги своих людей и вовлечь их в разведку. Но удержать хлопцев было трудно. Выполнив задачу, разведчики зачастую в перерыве между движением колонн выскакивали на шоссейку, резали связь, а то подбивали одинокую машину или обстреливали небольшие колонны немцев, шедших на восток, румын и мадьяр, двигавшихся на запад. Частенько возвращались с трофеями, к зависти остальных партизан.

Вот вдоль этого асфальта, держась от него на почтительном расстоянии — в 25—40 километрах, навстречу потоку частей венгров, румын, итальянцев, двигавшихся из Киева на запад, шли мы с запада на восток, от Ровно на Житомир. Здесь впервые за полгода дружбы и совместной работы с Ковпаком и Рудневым я почувствовал неудовлетворение. Разведка приносила хорошие сведения. По дороге шли разгромленные части врага, деморализованные, иногда слабо вооруженные, хотя и многочисленные. Близость асфальта раздражала меня, и казалось, что мы делаем очень мало.

Как-то ночью, во время марша, трясясь на тачанке, я сказал Коробову:

— Чорт знает что такое! Бродим мы по тылам, гоняем разную сволочь.

Коробов удивленно повернулся ко мне:

— А что же тебе еще надо? Должность у вас такая.

— Да не в этом дело: вот южнее нас крупный зверь бежит, а мы все из пушек по воробьям стреляем.

Коробов молчал. Мы подружились с ним в последние дни. Меня тянуло к этому человеку, лишь недавно прибывшему с Большой земли, и я часто подолгу беседовал с ним. Он напомнил мне о прошлом, как бы связал меня тонкой паутинкой воспоминаний с культурным миром, во имя защиты которого мы напялили на себя эти немецкие зеленые штаны, трофейные кожухи и бродили по гиблым местам днем и ночью, в мороз и слякоть, по дорогам и без дорог. Казалось, он понял меня.

Коробов засмеялся.

— Я вижу, Петрович, что охотник из тебя выйдет азартный. Но если тебе уж требуется зверь покрупнее, то вряд ли ты найдешь его здесь.

— Почему? — насторожился я.

— Как бы объяснить тебе. Я в пятый раз в тылу у врага за эту войну. Ходил и в финскую, и прямо скажу: такого отряда я еще не видел. Лихой народ собрался. А вот начальство у вас уж слишком осто-

рожное, и больших дел, мне кажется, тут не сделают. Это не охотники за медведями, милый мой, добычей их чаще всего бывают зайцы, облезлые лисицы да случайно заблудившийся волк.

Я вспомнил Сталинский рейд, форсирование Днепра, взятие Лоева, «лельчицкие Канны», «Сарнский крест» и подумал про себя: «Нет, пожалуй, он не прав. Просто за время его пребывания у нас не было блестящих операций, серьезных боев. Не виноваты же Ковпак и комиссар, что отряд идет легко», — и мне стало обидно за наш отряд. «А все-таки в чем-то он и прав», — думал я, все более убеждаясь, что делаем мы меньше, чем могли бы.

За последние дни по весеннему, пористому, хрупкому, покрытому водой насту мы отмахали километров сто на восток. Форсировали Случь и Горынь и вышли в район севернее Новоград-Волынска. Разведка велась непрерывно, и данные об асфальте все больше и больше раздражали меня. Я все чаще стал докладывать Ковпаку и Рудневу эти данные и свои выводы: «Нужно ударить по асфальту». Но командование каждый раз отмалчивалось.

Мы с Коробовым часто на марше возвращались к этой теме и пришли к выводу, что Ковпак ходит вхолостую.

XX

Дороги развезло весенней распутицей. Несколько ночных маршей потребовали от нас небольшой передышки. Люди и лошади устали. Водная преграда осталась позади, и Руднев решил сделать остановку. Противника вблизи не было, с асфальта на машине до нас не дотянуть, хотя мы находились всего в двадцати пяти километрах от него. Единственный немецкий гарнизон в Городнице сидел, окопавшись и опутав свои казармы проволокой.

Две бронемашины, имевшиеся в Городнице, тоже не страшили нас, так как в отряде уже было немало

бронебоек. По Случи когда-то проходила советско-польская граница, и, перейдя ее, мы вышли из пределов Западной Украины.

Украинские националисты здесь не показывались, не потому что тыловые порядки у немцев здесь были иными, а просто потому, что корень их — кулачество — давно уже был уничтожен в этих местах. Не так легко советского колхозника обмануть баснями про «самостийну Украину».

Разведка, посланная мною, как обычно, в звездном порядке, принесла забавные вести. Немецкий гарнизон в Городнице сидел тихо и мирно. Узкая лента асфальта кишмя кишела войсками и беженцами, катившимися с востока на запад. Постоянных войск было мало: где-то далеко на северо-востоке одиноко и безрезультатно взывал о помощи небольшой гарнизон Эмильчино, на севере — Сарны, лишь недавно оправившиеся от «Сарнского креста», да Ровно на юго-востоке. Но до Ровно сто пятьдесят километров, помноженных на грязь весенней распутицы, лесные дебри и пески Полесья. Мы распоясались и чувствовали себя хозяевами этого края. Люди вели себя беспечно и разгульно. Вдруг действительность немецкого тыла повернулась к нам обратной стороной медали.

На берегу Случи есть такая деревушка — Старая Гута. Название этого села очень много говорило сердцу старых ковпаковцев. Села, как и люди, бывают разные. Они редко похожи друг на друга. Но кто много путешествовал по глухим местам, тот знает, что у них есть сходство, если не по виду, то хотя бы по имени. Странное дело, но по всем необъятным просторам, от Орловщины до Вислы, по болотистым и глухим местам, разбросаны Старые Гуты. Мы их встречали десятками. Почти так же часто, как Ивана на Орловщине, Яна в Польше и Микиту на Украине... Старые Гуты есть в Брянских лесах, есть они и на Черниговщине, их бесчисленное множество в Полесье, оттуда перекочевали они на Львовщину, на Тарнопольщину, забрели и на Карпаты.

Старые Гуты севера чернеют древними избами, Гуты юга кокетничают белыми глиняными хатами, важничают красными черепичными крышами. Гуты запада, — а рядом с ними обязательно прилепились Новые Гуты, а то и просто Гутки, — тулятся и живут, как села-детеныши возле древних, поседевших родителей. Мы уже перестали удивляться обилию их, и Базыма, склонившись над картой и выбирая маршрут, обычно говорил:

— Ну, вот, старые знакомые. Придется стоянку здесь устроить. Опять Старая Гута.

Но на этот раз Старая Гута оказалась в стороне от нашего маршрута, и разведка, посланная мною в этом направлении скорее из любопытства, чем по нужде, не вернулась в срок. Я уже жалел, что послал туда разведчиков, и решил про себя, что хлопцы, смекнув, на какое пустяшное дело их послали, просто загуляли где-то. Но не вернулись они и к следующему утру, и к вечеру. Это уже стало меня беспокоить. Посоветовавшись с Ковпаком, я послал по тому же маршруту усиленный взвод, приказывая вести разведку как можно тщательнее и осторожнее. Во главе стоял Черемушкин — лучший разведчик. Он вернулся в срок и доложил, что в Гуте живут исключительно поляки и что население приняло разведчиков хорошо, даже чересчур хорошо. Паненки наперебой предлагали ребятам водку, но разведчики были настороже и прибыли почти трезвыми. Но все же Черемушкин не принес нам никаких утешительных известий.

Отделение разведки Гомозова, первым посланное мною в Старую Гуту, действительно было там накануне. Гомозов побыл в селе всего лишь несколько часов и уехал. Что случилось с ним дальше, никто не мог сказать.

Так мы и не узнали подробностей исчезновения разведчиков. Хлопцы как в воду канули.

Лишь через полгода, вернувшись с Карпат, мне удалось кое-что выяснить. Недалеко возле Старой Гуты расположился лагерь польского отряда. Это не был

партизанский отряд, он не восставал с оружием в руках против немцев, он не был связан с жителями польских деревень, он просто держал их в узде, карал и расстреливал, заставляя скрывать свое присутствие и темные дела. Верхушка этого отряда прибыла из Лондона в конце 1942 года; панов сбросили с самолета где-то под Люблином. Завербовав офицеров польской армии, которые не умели в 1939 году защищать свою родину от немцев, отряд двинулся на восток. Что им нужно было, этим людям, пришедшим в леса Житомирщины в хромовых и шевровых сапогах, щеголеватых бриджах, с кокетливыми белыми птичками на четырехугольных фуражках?

Гестапо провоцировало через своих слуг, немецко-украинских националистов, резню польского населения. Может быть, защищать своих соотечественников пришли они? Но первое, что они сделали, — это расстреляли всех поляков-коммунистов из советско-польских сел, а потом пригрозили населению: всех, кто будет делать что-либо не по их указке, ждет такая же судьба. Второй шаг, сделанный ими, — переговоры с «Тарасом Бульбой» — атаманом украинских националистов. Они заключили с ним соглашение, что по ту сторону Случи территория останется под влиянием Бульбы, а по эту — за ними. Кто же командовал этим войском? В Лондоне — Соснковский, в Люблине — майор Зомб, в Старой Гуте — капитан Вуйко.

Соснковскому не было нужды скрывать свое имя. У майора Зомба, разумеется, имелась другая фамилия. «Зомб» — это был только его псевдоним. У Вуйко тоже. Интересно, что враждовавшие друг с другом группки националистов, устраивавшие по указке гестапо и Соснковского резню между поляками и украинцами, были удивительно похожи друг на друга. Атаманы и паны тех и других формирований обязательно скрывали свои настоящие имена. Действовали они на чужой земле, следовательно у тех и у других семьи были в безопасности. Зачем же так тщательно скрывали они свои имена? Не потому ли,

что дело, которое делали они, было грязное, и, запачканные предательством, изменой и кровью невинных людей, они хотели скрыть свои имена? Второе, что объединяло их: и прыщавый малец — полуграмотный интеллигентик, приходивший к нам с Мухой, и капитан Вуйко, с которым мне довелось встретиться через полгода, почти одними и теми же словами выразили это. «Чего вы хотите? Чего добиваетесь?» — спрашивали мы. Они отвечали: «Хоть погибнем, но попадем в историю». А Вуйко сказал еще яснее: «Хотим управлять».

Из сотен украинских и польских националистов, с которыми пришлось мне встречаться, беседовать и дискутировать или допрашивать их, в каждом виден был прежде всего кандидат или в гетманы, или в атаманы, или в министры, или в воеводы.

Не служить народу, а сесть ему на шею страстно хотели и те и другие и всей своей подлой жизнью добивались этого.

XXI

Мы двигались на восток, и, казалось, весна шла навстречу нам. С каждым днем дорога становилась все хуже. На полях и перелесках снега уже не было, и только узкими полосками серел он в оврагах. Зато ручьи стали бурными потоками, которые, разлившись в долинах, превращались в реки и озера. Пришвинская весна воды рейдировала по Украине вместе с Ковпаком.

Мы вышли на территорию Житомирской области с запада и двигались параллельно асфальту, огибая Новоград-Волынск и приближаясь к Житомиру. Руднев упорно не соглашался с моим стремлением нанести серьезный удар по этой важной коммуникации врага. По асфальту в эти дни двигались отступающие колонны тыловых немцев. Они бежали на запад, увозя с собой награбленное имущество. Часто машины были доверху нагружены не только узлами

и чемоданами, но и мебелью: пианино, шкафами, кроватями, диванами. Уже прошли колонны эвакуировавшихся из Харькова, занятого в первый раз нашими войсками. Теперь эвакуировались немцы из Киева и других городов.

До войны я жил в Киеве. Там осталось у меня в квартире несколько шкафов с любимыми книгами и рукописями. Докладывая о движении немцев на асфальте, я каждый раз заканчивал свой доклад шуткой:

— Семен Васильевич, наверное, где-то недалеко возле нас путешествует из Киева мой книжный шкаф или диван. Нельзя ли попробовать?

Комиссар, видимо, понимал меня, но никогда не смеялся в ответ на эту печальную шутку. А когда я все чаще и настойчивее стал повторять ее, однажды, вспылив, он оборвал меня:

— Послушайте, товарищ подполковник, я бы просил вас в дальнейшем избавить меня от этих ваших домашних воспоминаний.

— Слушаюсь!

И дальше до меридиана Житомира мы двигались, только расчищая впереди себя мешавшие нам мелкие гарнизончики, а сами не предпринимали никаких эффектных действий. Только Коробову в горькие минуты походной жизни, пытаясь хоть чем-нибудь скрасить серость ее, я рассказывал с мельчайшими подробностями, как вот уже второй месяц везут немцы из Киева «нах Дейчлянд, нах фатерлянд» мой книжный шкаф и рукопись пьесы «Дуб Котовского» о Хотинском восстании бессарабских партизан в январе 1919 года, написанную мною перед самой войной.

В первых числах марта мы остановились на стоянку между Городницей и Эмильчино, городишками севернее Новоград-Волынска. Стоянка была нарушена тем, что немцы бросили на нас сотни две пехоты и две двухмоторные двенадцатитонные бронемашины, вооруженные пулеметами и скорострельной мелкокалиберной пушкой. Удар принял второй батальон Кульбаки, а вскоре одна из шикарных машин с мо-

торами Даймлера, удивлявшая наших бойцов в начале войны тем, что она могла ходить, не разворачиваясь, взад и вперед с одинаковой скоростью, зачихала в луже. Один из моторов заглох, а после нескольких выстрелов бронебойщика Медведя из-под брони показался синий дымок. Он становился все чернее, клубы его вились все выше. Из люка выскочили три немца. Они пытались бежать, но тут же были сражены нашими автоматчиками.

Вторая бронемашина, пользуясь своим удивительным задним ходом, укатила от нас. Пехота также отошла без особых потерь. Мы с Коробовым, прискакав из штаба на выстрелы, успели лишь запечатлеть на пленке догоравшую машину. На память о ней я оторвал от кабины водителя медную жестянку с указанием количества сил, грузоподъемности и марки машины, на которой значилось: «Даймлер Бенц — 12 тонн».

Зная по опыту, что немцы, нащупав нас в этом месте, на следующий день обязательно подтянут сюда превосходящие силы, мы двинулись дальше.

Когда уже совсем стемнело, меня догнал командир отделения Володя Осипчук и доложил мне добытые сведения о гарнизонах Эмильчино, Коростень, Ушомир, в направлении которых мы держали путь. Он проводил разведку на Эмильчино. Разведчики в одном селе встретили девушку, которая шла из Эмильчино, разыскивая нас. В этом городишке, оказывается, существовала подпольная организация. Часть руководителей ее была недавно арестована немцами, а оставшиеся товарищи со дня на день ждали арестов. Я посадил девушку к себе на тачанку. Лица ее не было видно. Голос, очень мелодичный и нежный, звенел в ночном воздухе странно и решительно. Володя успел рассказать мне, что на обратном пути они приняли бой с немцами и что девица уже успела показать себя в бою неплохо.

Соня, так звали ее, рассказала мне все подробности житомирского оккупационного бытия. Рассказала о том, что во всех районах Житомира существуют

подпольные группы, усиливается антинемецкая агитация, но настоящей борьбы с немцами, борьбы с оружием в руках, никто не ведет. Люди гибнут за то, что выпускают листовки, слушают радио. Часто связные подполья, бродящие из одного города в другой, попадают в руки немцев и тоже кончают жизнь на виселице. Здесь все запрещено, за одно только слушание сводок Совинформбюро — петля или пуля в затылок. Чем больше она мне рассказывала, называя меня то отцом, то дедушкой, тем больше я задумывался, проникая в глубину душ советских людей, оставшихся под немецким игом.

Девушка увлеклась. Она, видимо, была очень неглупой и смелой, знала она многое, пожалуй, даже больше, чем нужно было ей знать. Обладала пылким воображением и горела желанием помочь народу. Многое из ее рассказов подтвердилось в следующие дни контрольными проверками разведчиков. Десятки подпольщиков, о которых я впервые услыхал в эту ночь, — врачи, учителя, бывшие партработники, — в ближайшие дни пришли к нам, и я долго не мог понять, в чем же тут дело: почему в начале 1943 года подпольная борьба на Житомирщине приняла такую архаичную, нецелесообразную форму? Зачем нужна эта беспредметная агитация, когда движение требовало не поднимать народ, а просто итти впереди народа с оружием в руках? Советских людей агитировать против немцев, пожалуй, и не нужно было, немца же не сагитируешь никакими прокламациями. Самой лучшей агитацией в эти дни мы считали автомат, гранату и мину на шоссе или железной дороге. А вот выступить с оружием в руках, организовать отряды в этих местах не решился почти никто.

Позже я окончательно выяснил причины, которые вызвали к жизни устаревшие и малодейственные формы партизанской борьбы, но впервые безрадостную картину этой «борьбы» нарисовала мне Соня, девушка со звучным голосом и пылким воображением. В эту мартовскую ночь я впервые услышал фамилию «Калашников».

— А кто такой этот Калашников? — спросил я, по ассоциации сразу вспомнив лермонтовскую «Песнь о купце Калашникове».

— Калашников? О, это знаменитый партизан, — видимо удивляясь моей неосведомленности, отвечала она.

— Чем же знаменитый?

— Как же вы не знаете? Это он приехал в Житомир на немецкой машине к складу эсэсовцев в форме немецкого обер-лейтенанта, выписал все, что ему необходимо, погрузил на машину, расписался и уехал. И только когда машина скрылась из глаз, удивленные эсэсовцы увидели его расписку, где было сказано: «Все необходимое для себя получил с немецких складов». И подпись: «Калашников». В другой раз он сидел в театре рядом с немецким генерал-комиссаром, и, придя домой из театра, герр Магиня нашел в кармане записку на немецком языке: «Сидел рядом с вами и с удовольствием смотрел спектакль». Подпись: «Калашников».

И еще долго и восторженно рассказывала мне Соня о похождениях этого знаменитого житомирского партизана. Я сидел молча. Тачанка потряхивала нас на кочках. Я слушал, думал, вспоминал, что обо всех этих похождениях я где-то читал или слышал много раз. И вспомнил. Да ведь это же юношеские похождения Котовского в 1905—1908 годах! Биографию своего земляка я знал превосходно и даже пытался писать о нем повесть и пьесу.

— А в тюрьме сидел этот ваш Калашников? — спросил я Соню.

— Конечно, сидел. В гестапо. В Житомире.

— И удрал? — спросил я.

— Удрал... — раздался тихий голос Сони.

— Через окошко?

— Откуда вы знаете?

— Да вот, знаю... «Разорвав тюремный халат на длинные ленты, он свил из них веревку и, привязав ее к решеткам окна, спустился по тюремной стене, прыгнул на плечи часового и, задушив его, бросился

бежать. Второй часовой стрелял, но не попал в него в ночной темноте», — напамять цитировал я.

Соня молчала.

Так впервые я услыхал о Калашникове.

Мы двигались очень быстрым темпом на восток и вскоре прошли Житомирскую область. За это время я так и не успел узнать поподробнее о знаменитом партизане. И только через полгода, пройдя еще несколько тысяч километров, возвращаясь из карпатского рейда, я еще раз побывал в этих краях. Тогда я узнал все подробности о Калашникове.

Это была провокационная фигура житомирского гестапо. Калашников был вызван к жизни гестаповцем, который наделил провокатора всеми чертами героя книги, очевидно, терпеливо изучив нашу романтическую литературу, и выманивал на этого «живца» неопытных подпольщиков. Кое-где это удавалось. Являясь в небольшой городок с ореолом непобедимого, хитрого подпольщика и неуловимого партизана, разъезжающего на немецких машинах и обманывающего глупых немцев, Калашников мог постепенно войти в доверие подпольных организаций и нащупать их нити. Организация доверяла провокатору свои тайны, а затем наступал неизбежный провал, которого избегал только один романтический герой, для того чтобы затем появиться в другом месте.

Да, видимо, немцы хорошо поняли урок, данный им нашим Сталинским рейдом.

Из «Сарнского креста» и «лельчицких Канн» они сделали для себя выводы, и контрмеры их не лишены были остроумия.

В Западной Украине — украинские и польские националисты, а на Житомирщине — нечто вроде Зубатова образца 1943 года, носившего романтическое имя «Калашников».

Я для себя тоже сделал вывод: не слишком верить в ореол партизана-одиночки, особенно во второй период войны, когда уже развилось массовое народное партизанское движение, грозное для немцев.

Но Житомирщина поразила нас не только Калаш-

никовым. Были там вещи и похлеще. Если взглянуть на равнобедренный треугольник карты, основанием которого является линия Житомир — Новоград-Волынск, а вершиной Коростень, вас поразит необычайное очертание местности и нанесенных на карте знаков. Со всех сторон этого треугольника зеленеют леса. Сам же он чист, и в белизне его люди, привычные к карте, угадывают равнину и степь. По краям он ограничен линиями железных дорог, параллельно им, как бы дублируя их, протянулись жирные красные жилы шоссеек... Сюда по развитой сети дорог ворвались немецкие войска в июле 1941 года. Этот треугольник был плацдармом и для наших войск.

Но вглядимся внутрь треугольника. Он весь усеян черными точками, крестиками и жилками. Это хутора, церкви и проселочные дороги. Треугольник весь усыпан маком хуторов. Когда мы пришли на этот треугольник, то обнаружили, к своему удивлению, что весь хуторской мак не только жив, но, что самое главное, хутора заселены немецкими колонистами. Немцы, еще по гостеприимству Екатерины, поселились на Украине. Они выбрали себе самые плодородные земли и оставались на них до нашествия Гитлера.

Ни земельные реформы, ни революция, ни война 1941 года — ничто не тронуло их. Конечно, они перед войной называли себя колхозниками, но, вероятно, добрая половина их обслуживала немецкую разведку.

Колонна наша проходила через хутора, и почти из каждого окна стреляли. По крайней мере, в первую ночь. Процентов двадцать — тридцать украинского и русского населения, оставшегося там, были превращены немецкими колонистами, или, как они называли себя, фольксдейчами, в рабов. Рабы эти с утра до ночи работали в хозяйствах немцев. Все мужское население фольксдейчев было вооружено винтовками, сведено во взводы, роты, батальоны. Оно служило надежным заслоном центральных коммуникаций, идущих через Украину от Полесья. Явление это было для

нас настолько неожиданным, что мы, врезавшись в самую гущу этого хуторского «рая», трещавшего со всех сторон ружейными выстрелами, не знали сразу, что и предпринять. И только когда упали первые раненые и было убито несколько разведчиков, Ковпак махнул плеткой и сказал:

— Чтобы ни один хутор, из которого раздастся хотя бы один выстрел, не остался целым.

Тогда я впервые увидел, а понадобилось еще полтора — два года, чтобы я до конца осознал, что немецкий колонизатор любит и понимает только один аргумент — палку. Палка в философии, палка в быту, палка автоматной очереди, но только этот убедительный аргумент был ясен и понятен колонизаторам до конца.

Дальнейшее наше продвижение через столыпинско-гитлеровский край шло быстро и без приключений. Мы объясняли немецким колонистам, почему на партизанском марше 1943 года их хутора горели и по огородам лежали трупы хозяев, и дальнейшее наше путешествие проходило без эксцессов. Правда, все мужчины еще задолго до появления нашей колонны, как мыши, разбегались по оврагам и рощам. В домах стояла приготовленная пища, немки, толстые и дородные, худые и костлявые, — все одинаково угодливо улыбались и кланялись, и на протяжении остальных семидесяти километров нашего быстрого марша ни одного выстрела не раздалось ни из одной хаты. Аргумент был понят фольксдейчами до конца.

Вскоре мы вышли под Коростень, где почва была хуже, леса мешались с песками. Там уже не было немецких колонистов, а жили украинцы и русские. Мы забыли о гостеприимных немцах и только весной 1944 года в Польше, под Замостьем, мы вторично встретили целое клопиное гнездо немецких колонизаторов и тут же окончательно убедились в том, что этакому фольксдейчу понятен только один аргумент — палка.

XXII

Невдалеке от Коростеня, на выходе из немецко-столыпинского треугольника, разведка, рыскавшая на шоссейках, подбила «пикап», который вез почту. На машине лежало несколько кожаных мешков с письмами и посылками немецких жандармов в фатерлянд. Посылки были преимущественно со съестным и жирами. Разведка по праву все это разделила между своими людьми, а кое-что из деликатесов и вин ребята принесли в подарок Ковпаку и Рудневу. Письма свезли в штаб. Была на «пикапе» еще одна вещь, никому не нужная, с которой разведчики не знали, что делать, поэтому и притащили ее ко мне. Это был кубической формы железный ящик, в котором, как тарелки в буфете домохозяйки, лежали круглые жестяные коробки с кинолентой.

Увидев киноленту, которая вызвала во мне самые противоречивые чувства, я сказал Сашке Коженкову, моему ездовому: «Побереги-ка этот ящик!» — и, освободившись от дел, пришел на квартиру, вынул коробку с надписью: «Эрсте тейль», и стал рассматривать пленку на свет. Фильм был звуковой, надписей на нем не было, и хотя я мог улавливать движение актеров, но смысл кинодействия понять было трудно. Привычное шуршание пленки, мягкими спиралями ложившейся на пол, вызвало у меня воспоминания о прошлой мирной жизни. За этим делом и застал меня Коробов.

Но не пленка была самой интересной находкой в почтовом немецком автодилижансе. Просмотрев несколько частей, я свернул пленку и, сказав Коженкову: «Погрузишь этот ящик на тачанку», — пошел обратно в штаб. В штабе Тутученко, Войцехович и ротные писаря разбирали письма. На большинстве конвертов было выведено женским почерком, полуграмотно: «Украина, Житомиргебит Дорф...» Письма, как две капли воды, походили одно на другое. Горькие письма невольниц — домой из немецкой каторги. С поклонами родным и знакомым, с горькой слезой

невольниц. Но некоторые были необычны и трогали своей безыскусственностью. Одно письмо начиналось так:

З неба звездочка упала
И разбилась на льоду.
Я в Германию попала
В сорок третьому году.

В другом письме девушка писала, что она пока жива и здорова и что «...по ночам над заводом, где мы робымо, летают швидки голубки и наша сусидка Маруся, которая поихала вместе со мною, сшила себе платье с одним рукавом, а все остальные подруги, що поихалы из нашего села, все повыходылы замуж за английськиx летчиков», и в конце письма: «Не плачьте, мамо и тато, я все равно не вернусь».

Третье письмо было написано на открытке. Она была ярко раскрашена и живо напомнила мне детство. Розовощекий ангелочек лет четырех, с голубыми глазами, с синеватыми крылышками, в белоснежной одежде, усыпанной золотыми и серебряными блестками, а на обороте письма тот же адрес латинскими буквами. Корявым почерком написано:

«Посылаю вам, мамо, оце боженя. Таких боженят у мене есть ще штук з десять. Про мене не беспокойтесь, живу хорошо, потому що не маю времени проклясть ту годыну, колы вы мене на свит народылы. Прощайте и не ждить до дому».

Я перелистывал желтые, синие, розовые конверты. Бумага писем шелестела, как осенние листья. С открытки улыбался наглыми голубыми глазами розовощекий немецкий ангел.

В штабе вертелся Коробов, все время рассказывая Базыме о том, как я рассматривал немецкий фильм. Мысленно он уже сочинял очерк, в котором бывший кинорежиссер поджигает мосты фашистским трофейным фильмом. Базыма отмахивался от него, как от надоедливой мухи. Я сидел и задумчиво перебирал письма девушек-невольниц, читал их приветы, поклоны, мольбы и песни, сложенные в неволе, и вспо-

минал вековую долю украинской женщины, воспетую поэтом:

Де не лилися ви в нашій бувальщині,
Де, в які дні, в які ночі —
Чи в половеччині, чи то в князівський удальщині,
Чи то в казаччині, ляччині, ханщині, панщині,
Руськії сльози жіночі!

Слухаю, сестри, тих ваших пісень сумовитих,
Слухаю й скорбно міркую:
Скільки сердець тих розбитих, могил тих розритих,
Жалощів скільки неситих, сліз вийшло пролитих
На одну пісню такую!

Мысль о безвестной украинской Марусе сверлила мне мозг. Ритм частушки-коломыйки звучал в ушах:

Белая хустыночка —
В море полоскалася,
Бедная дивчыночка —
Що сюда попалася.

Шелестели, жгли руки и мозг эти корявым почерком и кровью сердца написанные слова... Я думал печальную думу. Просмотренный немецкий фильм оставил на руках еле уловимый запах пленки, со стола улыбался пухлыми щечками немецкий ангелочек. И помню: именно тогда, в эту ночь, я записал в своем дневнике:

«Есть красавицы-девушки, которые не свою красоту — щедрый дар природы — ценят, а любят лишь холодное и бездушное ее отражение в зеркале. Есть художники-профессионалы, любящие свое дело, похожее на зеркало, отражающее жизнь. Но есть и такие чудаки, которые полюбили жизнь-войну больше своей профессии и на время забыли, что они лишь зеркало жизни. Им — жадным — мало быть поэтами войны, им надо быть самим вояками, а если позволит солдатская удача, то и полководцами».

Через несколько дней мы действительно использовали немецкий кинофильм для поджога иванковского моста. Письма я отдал Коробову, который раньше меня мог быть на Большой земле и обещал

построить на их материале «потрясающий» очерк. Я же в этот день твердо решил, что до тех пор, пока не оборвем мы вместе с Красной Армией крылышек немецкому ангелочку, не выпускать автомата из рук и забыть о том, что люди создали услаждающие их слух музыку и поэзию, радующие глаз полотна великих мастеров кисти и пластику кинолент, сделанных из вещества, которым люди поджигают города и заряжают пушки.

XXIII

Мы обходили Житомир, прижимаясь ближе к дороге Житомир — Киев, всего в десяти — пятнадцати километрах от Коростеня. Для того чтобы обезопасить себя от довольно крупного немецкого гарнизона, состоявшего из отведенных для переформирования двух немецких дивизий, мы выслали крепкий заслон, поставив ему задачу взорвать железнодорожные и шоссейные мосты. Так близко от Коростеня мы проходили еще и для того, чтобы дать разведке нащупать движение на железной дороге и высмотреть места, где можно ударить почувствительнее.

С первым заслоном, который должен был взорвать мост на шоссейке, получился конфуз. Девятая рота, выполнявшая эти обязанности, задержалась на марше. В одном селе, где хлопцы обнаружили склад водки, командир роты Петя К., парень не особенно подверженный алкоголю, вдруг загулял.

По расчетам времени, которые мы сделали вместе с ним по карте, роте нужно было простоять в этом селе полчаса, чтобы дать передышку людям и лошадям, и дальше двигаться к мостам и взорвать их. Но подрывники задержались там около двух часов. Дальше уже поехали навеселе. Рота шла и ехала на повозках без строя — ватагой. Никто не интересовался, куда она движется. Всем было море по колено. Впереди ехал выпивший проводник. Вскоре они заблудились. Когда командиры опомнились, было уже позд-

но. Светало, а до моста все еще далеко. Словом, девятая рота задания не выполнила, и именно через этот мост прошли автомашины, пехота и танки, которые вот-вот могли обрушиться на нас.

Ковпак все же сумел вывести соединение из-под удара, бросив в дело своих кавалеристов, которые зажгли на ложном направлении несколько скирд соломы. Немцы кинулись на пожар и потеряли время. В эти считанные часы мы, уже на рассвете, форсировали железную дорогу Коростень — Житомир. Затем пришли в болотистые Потиевские леса, куда не могли проникнуть немцы со своей техникой. А без техники они не посмели бы наступать на нас. Авиации у немцев, видимо, не было, и мы смело двигались лесом почти до полудня. Затем, дав четыре-пять часов отдыха людям и лошадям, хорошенько запутали свой след. В следующую ночь опять марш.

Отдохнув немного, мы собрали командиров для того, чтобы решить судьбу девятой роты. Дело было ясное. Но Петя К., или просто Петро, был хорошим парнем, он пришел к Ковпаку еще в 1942 году, пришел с партбилетом и орденом Красного Знамени, которые он сумел уберечь, проходя через немецкие полицейские заставы. И надо сказать, что Ковпак, обычно суровый в таких случаях, сильно колебался.

Один только Руднев был непоколебим. Он сам продиктовал приказ о расстреле. Колонна уже выстроилась для движения. В сумерках пофыркивали кони; когда командир вышел к построенной у штаба девятой роте, комиссар зачитал приказ. Тут же, у помещения штаба, была выкопана яма. Комиссар подошел к Петру, стоявшему молча, и сказал:

— Расстегнись.

Тот расстегнул шинель, под которой блеснул кругленький орден Красного Знамени.

— Снимай, — сказал ему Руднев.

Петро снял орден и молча передал его комиссару. Через несколько секунд его расстреляли.

Колонна двинулась дальше.

Я ехал верхом. Колонна шла из села в степь, по

которой в эту ночь нам предстояло совершить шестидесятикилометровый марш к Киеву, в радомышльские леса. Проезжая мимо повозки комиссара, я мельком взглянул на него и увидел в свете выходившей луны, что Семен Васильевич плакал.

Утром следующего дня мы подходили к реке Тетерев, в десяти километрах западнее города Радомышль.

XXIV

Патриоты бывают разные: все стремятся к уничтожению врага, но мотивы для совершения подвига у каждого свои. Один идет на подвиг потому, что хочет показать, что он лучше, отважнее других. Другой — чтобы украсить грудь лишним орденом. Многие — потому, что чувства долга и дисциплины впитались в характер, стали второй натурой. Но я встретил в жизни патриотизм чистый, как слеза, ничем другим не запятнанный, без малейшей пылинки, кристальный патриотизм шестнадцатилетнего Володи Шишова.

Из Потиевской Рудни мы должны были за ночь совершить шестидесятикилометровый марш через степную полосу. Оставаться днем в степи было бы рискованно, так как немцы уже пытались нащупать нас с воздуха.

Колонна шла на рысях. Мы торопились до рассвета проскочить этот степной пятачок. После полуночи я с конной разведкой въехал в село, где днем взвод Гапоненко, состоявший из отделений Лапина и Землянко, вел бой.

На окраине догорали сарай и скирды сена, дорога черной змеей уходила в село. Днем падал весенний мокрый снег. По краям дороги, среди улицы, черными подсолнухами цвели разрывы ручных гранат, брызгами земли была расчерчена девственная белизна снега, а вокруг в мрачном беспорядке ле-

жали тяжелые клубни человеческих и лошадиных тел. Это военная осень собирала свои плоды на правобережной Украине. Она была урожайной, и хотя в календаре числился март — апрель, но бравые косари, жнецы и молотильщики ехали рядом, и удовлетворение от хорошо выполненной работы было на их молодых лицах.

Лапин, Остроухов, Землянко и Гапоненко... Они ехали рядом, здоровые и жизнерадостные, а на улице села лежало двадцать два немецких трупа. Один безрукий Зеболов уложил четверых. Я ехал с ними и думал: «Во Франции, Голландии, Дании и Норвегии было и есть немало здоровых мужчин... Почему же там не собирали такой обильный урожай?»

Может быть, у нас этой весной все удачнее шли боевые дела потому, что осень второй мировой войны была так обильно полита кровавыми дождями Сталинграда?..

Ночной марш по степи прошел спокойно. Треск автоматных очередей, как всегда, раздавался по бокам колонны, двигавшейся ускоренным маршем. Ее подгоняли связные, которых все время рассылал комиссар, то в голову, чтобы прибавить темп, то в хвост — подогнать отстающих. Но все же за ночь пройти всю степную полосу мы не успели и последние десять километров прошли на рассвете. Справа, в туманном ореоле трепетным, сказочным видением мерцал древний город Радомышль; впереди синели радомышльские и кедринские леса, и дорога шла под уклон, указывая, что где-то впереди, еще скрытая волнами степи, протекает река. Слева, сквозь туман, пробивалось немощное, неумытое, тусклое солнце. Комиссар с тревогой посматривал на него и благословлял туман.

И хотя всем было ясно, что до реки и лесов итти нужно не менее двух часов и что каждые пять минут на колонну могли налететь самолеты, против которых мы были почти беспомощны в открытой степи, все же люди шли медленно, вразвалку, усталые от ночного марша и от сладкой истомы весеннего

утра. Колонна шла без строя, с интервалами, какие мы не позволяли себе ночью. Весело переругивались бойцы, аукали и визжали девчата-партизанки, лихо закинувшие за плечи легкие карабины. Девушки эти в черных брюках, напущенных по-казачьи на добротные немецкие сапоги с высокими голенищами в бутылку, поверх которых пестрели цветные и полосатые городские и деревенские юбки, шли вместе с нами — лихие девушки-солдаты. Командиры тревожно поглядывали в небо и прислушивались, не подкрадывается ли к гомону колонны шмелиное жужжание немецких самолетов.

Туман ли выручил нас, или проспали немецкие летчики, не ожидавшие такого нахальства с нашей стороны, но самолеты появились лишь тогда, когда большая часть колонны разместилась в селах по реке Тетерев. Штаб стал в селе Межирички.

Не успели мы начать свою будничную работу, как были отвлечены шумом у входных дверей. Кто-то спорил и толкался в сенях, и когда дверь, наконец, отворилась, в нее втолкнули безоружного партизана. Базыма понял, что произошло «чепе» — чрезвычайное происшествие, отложил в сторону свои бумаги и сдвинул на лоб очки.

Позади за партизаном шел Володя Шишов, карабин его, как всегда, был за плечами, а «на руку» он держал автомат, видимо отнятый у арестованного.

— Разрешите доложить, товарищ начальник штаба. Привел нарушителя приказа двести.

Базыма встал из-за стола, кашлянул в руку и снова надвинул на нос очки.

— Докладывай, Володя, все по порядку.

Володя Шишов, связной восьмой роты, взволнованно начал:

— Товарищ начштаба, всего три дня, как мы снова приказ двести прорабатывали. Я сам его в роту возил. А они что делают?.. Я раньше всех в село въехал, думал квартиры для роты высмотреть, а там уже разведка четвертого батальона орудует. Помните, где развилка улиц: по одну сторону мага-

зин с хлебом и овсом, который мы потом разобрали, а напротив, в садочке, домик под черепицей. Это и есть молочарня. В эту молочарню бабы со всего села молоко сносят. По немецкому приказу, каждое утро. У них там сепаратор есть и все оборудование. Так они, вот эти, не то чтобы по приказу двести действовать — взять себе самое необходимое, а остальное народу раздать, — мало того, что сами нажрались, всю остальную продукцию испортили, масло по полу растоптали, сметану поразливали...

— Понятно, Володя, ближе к делу.

В это время в штаб вошел комиссар. Шишов остановился и, приставив автомат к ноге, вытянулся по команде «смирно».

— По приказу двести? — быстро окинув взглядом, спросил комиссар.

— Так точно, Семен Васильевич! Опять четвертый батальон, — ответил Базыма.

— Понятно, продолжайте, — и комиссар сел за стол.

Приказ двести — это был основной закон ковпаковцев. Старому бойцу, воевавшему с 1941 года, достаточно было сказать: «Что, хочешь, чтобы под приказ двести тебя подвели?» — и человек, если он хоть в чем-нибудь чувствовал себя виноватым, смирялся и каялся в грехах. Каждому новичку, недавно поступившему в отряд, приказ двести, вместе с партизанской присягой, зачитывался под расписку. Вокруг этого же приказа строили свою работу политруки и парторги рот. Он имел всего несколько пунктов, с предельной ясностью гласивших, что только связь с народом, с массой дает силу партизанам. Мародерство по приказу двести каралось как измена и преступление против присяги. Особо злостных преступников по приказу двести командиры имели право расстреливать на месте.

Помню, еще во времена Сталинского рейда, был такой случай. На хуторе, где стояла разведрота, украли мед, ограбили пасеку и перевернули ульи. Виновника обнаружили по искусанному пчелами лицу.

Бойца поставили под расстрел. Пришел дед-пасечник.

— Лучше по морде надавайте, — упрашивал он.

— У нас нельзя.

— Ну, посадите на гауптвахту, на хлеб и на воду!

Так и отпросил.

А хлопец, рыжий веснущатый хохол из-под Путивля, так и остался в отряде с прозвищем «Мэд».

Сейчас перед нами стоял нарушитель приказа двести, которого привел связной восьмой роты Володя Шишов.

Что привело этого мальчишку сейчас к нам, в штаб, что заставило его вести здорового детину, добродушно озиравшегося по сторонам и отрыгавшего сливки и масло, которыми час назад он так сладко наелся?

Володя как бы отвечал на эти вопросы:

— Бабы вокруг собрались. Когда замок сбили и сепаратор ломали, они смеялись.

— Ну да, — угрюмо сказал арестованный. — Немец по восемьсот литров молока на корову наложение сделал... Они нам одобрение говорили.

— А потом, когда вы стали продукты переводить, какое они вам одобрение говорили?

Детина молчал.

— Вот, молчишь. А я скажу. Грабители, — говорят. — Бесстыдники и грабители. Это про наш отряд, товарищ комиссар!

Володя сердито толкнул автоматом в спину арестованного. Тот незлобиво отодвинулся в сторону.

— Через таких вот шкурников и мародеров на весь отряд пятно.

Глаза Володи вдруг наполнились слезами, и, попытавшись еще сказать несколько слов, он вдруг заплакал.

Базыма и Руднев посмотрели с понимающей улыбкой друг на друга и отвернулись.

Арестованный, до сих пор добродушно слушавший укоризненные речи мальчугана, сейчас топтался и перебирал ногами в стоптанных сапогах, как будто

глиняный пол был раскаленной огромной сковородой.

Володя изо всех сил старался сдержать слезы, и от этого они лились все обильнее, переходя на всхлипывания.

Руднев и Базыма сделали вид, что обсуждают что-то, и низко склонились к карте, а я отошел к окну.

Когда я повернулся от окна, Шишов стоял возле стенки, беспомощно опустив руки с автоматом, и сухими глазами смотрел в угол хаты. Я даже вздрогнул, — такой скорбной показалась мне эта тщедушная фигурка мальчика.

Вот тогда-то, в этот миг, душевным чутьем, известным только солдатам, подглядел я на некрасивом мальчишеском лице с прекрасными голубыми глазами серую тень смерти.

Патриотизм бывает всякий, но только один раз я видел патриотизм, чистый, как слеза, ничем другим не запятнанный, — патриотизм шестнадцатилетнего Володи Шишова.

XXV

Данные разведки последних трех дней говорили: вокруг нас немцы что-то готовят. От Коростеня по нашим следам неотступно шло несколько батальонов пехоты. Со стороны Житомира тоже выдвинуты были войска. Подтянувшись на тридцать — пятьдесят километров северо-восточнее города, они разместились по селам в ожидании чего-то. Видимо, немецкое командование, сбитое с толку нашими крутыми поворотами под Коростенем, совершало предварительную перегруппировку, отложив решительные действия до получения более точных данных о наших намерениях. Нужно было быть на-чеку. Мы форсировали по мелководью, льду и жердяным мосткам реку Тетерев и, совершив небольшой марш, стали в двенадцати километрах от Радомышля. Ковпак и Руднев

скрытничали и не говорили о своих замыслах, но мне показалось, что, может, хоть сейчас они согласятся на мой южный вариант — удар по асфальту «Житомир — Киев». Во всяком случае ясно было, что мы готовимся к прыжку и удару, иначе незачем было так рисковать. Вот уже два дня, как мы устраивали стоянки перед самым носом у врага. Радомышль сам по себе городишко небольшой и малозначительный, но от него до Житомира километров шестьдесят пять, до Киева не больше ста, кругом довольно густая сеть железных и шоссейных дорог. А тут еще стала донимать авиация. Пока что это были разведчики: «костыли» и «рамы». Первые все время висели над нашим районом, выслеживая направление движения колонны, вторые пробовали даже раз-другой бомбить. Загадочно пока вел себя Киев. До него было далековато, и разведка моя туда не доставала.

Вот в таком тревожном настроении я прибыл в Крымок — большое село на южном берегу реки Тетерев. После предыдущих напряженных переходов и марша через степь мы в эту ночь сделали всего десять — двенадцать километров и к полуночи уже расквартировались. Люди спали, для коней в пойме Тетерева набрали сена, и они, удивленные тем, что марш прервался среди ночи, весело жевали, фыркали и перекликались низким, ласковым ворчаньем, словно благодарили спавших хозяев за отдых. Они заслуживали его — наши лошади-солдаты, за последнюю неделю отмахавшие до трехсот километров, ночами безустали тянувшие по грязной неустоявшейся кочковатой весенней дороге тяжелый обоз с боеприпасами, продовольствием и ранеными. Но не из жалости, видимо, давал нам Ковпак эту передышку. Мне казалось, что и кони понимали это. В ласковом перефыркивании слышен был бодрый солдатский призыв: «Готовьсь, братцы, готовьсь. Отдыхай, пока можно, а завтра марш-марш!..»

Я бродил ночью улицей незнакомого села и думал: «Хорошо людям... они знают лишь то, что отдых дается им перед новым тяжелым переходом. Да и то зна-

ют ли?.. Хорошо солдату. Он знает, что воевать надо, а если надо, то уж лучше воевать под началом командиров, которым веришь, таких, которые никогда не подводили тебя под пулю без нужды». И я вспомнил слова Кольки Мудрого, сказанные еще во время Сталинского рейда, в первые дни моего пребывания в отрядах Ковпака:

«Вот сидят дед Ковпак и комиссар Семен Васильевич и маракуют насчет моей жизни и дел моих солдатских. И еще ни разу не было, чтобы они в своих мыслях маху дали. Вот оно и понятно, откуда у меня, у Кольки Мудрого, смелость берется».

Да, вот откуда смелость... Вера в своего командира на войне значит многое, а в войне партизанской, пожалуй, все. Но прошло всего полгода, и я почувствовал, что мне уже мало этой слепой веры в авторитеты. Правда, последние месяцы многие пружины, двигающие наш коллектив, были в моих руках. Разведка, подбор кадров, контрразведка. Но не все. Прием решений на марш, на бой, нацеливание отряда, — старик ревниво хранил и никому не доверял этих потайных своих замыслов. «Да и есть ли они?» — заползали в душу крамольные мысли. «Может быть, просто гуляем мы, как бог на душу положит? А неуязвимость, неуловимость, непобедимость ковпаковского отряда — это случай, тот самый случай, который так часто выкидывает на войне свои фокусы. Везет старику, а Кольки и Ваньки верят, что все это потому, что вот как здорово маракуют командиры насчет их победоносной солдатской жизни...» И еще много думал я в ту ночь, шагая по улицам украинского села Крымок, мимо часовых, по-егерски отдававших честь ручниками и карабинами, в ясную звездную ночь, но не тихую, ночь, наполненную всхрапыванием лошадей и бряцанием оружия.

Может, и обо мне думают хлопцы что-нибудь такое... «Вот, мол, все спят, а товарищ подполковник не спит, по селу ходит, насчет нашей жизни маракует...»

И пойдут завтра в бой хлопцы весело и уверенно...

Как несложен и прост этот механизм человеческо-

го доверия. И как трудно, должно быть, человеку, на чьи плечи люди складывают эту почетную, но тяжелую ношу... Давай спать, хлопцы, ведь сами Ковпак и Руднев насчет нашей жизни маракуют, и еще не было ни разу, чтобы они в этом деле маху дали...

Лошади пофыркивали, часовые и патрули негромко позвякивали оружием. Заставы, вероятно, подошли к своим местам. Откуда-то, из чащи леса, изредка доносились еле слышные одиночные выстрелы. Намечая заставы, мы с Базымой наиболее сильную выставили под самый Радомышль. От преследовавших нас по пятам коростеньских частей, с севера, отряд прикрылся рекой, а в Радомышль легко могли быть подброшены войска из Житомира. Киев все еще был для меня загадкой.

Под Радомышль в село Березницы вышла заставой четвертая рота Пятышкина — директора средней школы города Путивля. Базыма не без основания звал его «коллега».

Я так и не уснул этой ночью, в неясной тревоге болтаясь по улицам Крымка. На рассвете зашел в хату, и только стал умащиваться на отдых рядом с Коробовым, как часовые подняли шум. Прямо по улице катила машина. Пулеметчики комендантского взвода, Гаврилов и Кириллов, уже поставили в воротах ручник, но с машины крикнули пароль и затормозили у штаба. Машина — обыкновенная полуторка «ГАЗ» — была захвачена четвертой ротой в Celeзнице еще ночью. Но, выполняя мое требование — обязательно достать «языка», который сейчас мне необходим был дозарезу, — Пятышкин задержал ее до утра. Он надеялся, что «язык» сам придет к нему в руки и его машиной доставят в штаб молниеносно и вполне комфортабельно. Расчет его оказался верным. Действительно, только рассвело, как прямо на секреты, выставленные ротой, напоролся человек в штатском, но с оружием. Когда хлопцы заговорили с ним, он отрицательно замотал головой и забормотал:

«Их бин бухгальтер... — А затем задал вопрос: — Зи зинд руссише полицай?» — чем помог часовым

выйти из затруднительного положения, бить ли его сразу прикладом по черепку, или немного подождать. Хлопцы радостно загорланили: «Ияа, ияа, руссише полицай, пойдем, пойдем, пан» — и привели его к Пятышкину, который, задав немцу несколько вопросов и выяснив, что он всего полчаса, как вышел из Радомышля и шел в Березницу к «девушка Маруся», — сразу отправил немца на машине ко мне.

Читатель, вероятно, уже знает из книг, очерков, фильмов о войне, что такое «язык». Это то, чем блистают разведчики, очеркисты и драматурги. Разведчикам «язык» дает право на лишние сто граммов, и по величине, значению, а также характеру начальника — на медаль или орден; драматургу он нужен, как воздух, так как только при помощи «языка» можно выпутаться из самых замысловатых перипетий и коллизий военного сюжета, который уже стопудовой гирей висит на капризном пере автора, для очеркиста... Ну, словом, читатель знает, что вслед за «языком» загремят пушки, мы пойдем в атаку или контратаку, и все будет в порядке... Но читатель не знает, что только редкий «язык» бывает таким, каким его изображают драматурги и какого хотелось бы заполучить начальникам.

Как и подсказывало мне мое чутье, лишь только я взглянул на тщедушную фигурку пятидесятилетнего немца, выволоченного хлопцами за шиворот через борт полуторки, — этот «язык» оказался как раз одним из многих, никуда не годных для военных целей немцев. Бухгалтер какой-то фирмы, имевший в Радомышле свое отделение как филиал, он понятия не имел о войне, «языках» и немецких группировках. Шел он действительно к «русская Маруся» и набрел прямо на Пятышкина, тихо занявшего Березницу ночью. Вот и все. Военных сведений от бухгалтера мы не получили.

Во второй половине дня к Тетереву с севера подошли немецкие батальоны, двигавшиеся по нашим следам из Коростеня; в это же время и в Радомышль стали прибывать автоколонны. Немцы охватывали нас

с севера, юга и запада. Но Киев, Киев... Вот что было непонятно! Может быть, путь туда оставался открытым? Может, немцы не ждали от нас такой смелости, а может, и хотели прижать нас поближе к Киеву, к Днепру? На расстояние одного марша на восток путь пока был свободен. Эти данные разведка успела собрать, и они были достоверны... Во всяком случае на девятнадцать ноль-ноль... Что же случится за ночь, за завтрашний день — никакой разведчик предсказать не может, если только он не работает доверенным лицом во вражеском штабе.

Заставы уже ввязались в бой и, судя по приближающимся выстрелам, отходили. Мы подбросили им еще по одной роте, стараясь оттянуть время до вечера. Завязывать бой всерьез нам не хотелось. Может, поэтому, когда я доложил свои соображения по разведданным, Ковпак, переглянувшись с Рудневым, недолго думал.

— Давай чеши на восток. Базыма, стоянку пошукайте, щоб для обороны була пидходяща.

— Всегда выбираем такую, — говорил Базыма, водя карандашом по карте.

— Не такую, як всегда. А такую, щоб большой бой можно було держать.

Базыма поднял глаза на комиссара. Тот утвердительно кивнул головой. Ковпак продолжал:

— Все равно от цих батальонов не одчепимось. А з Киева пока еще ничого нема. Так треба зараз коростеньским и житомирским по шиям накласты, тоди киивским страшнище буде. Поняв?

— А, тогда другое дело...

Мы склонились над картой. Не выдержав, к нам подошел Руднев и тоже облокотился на стол.

— Будем бить по частям. Нельзя дать им подтянуться из Киева, тогда у противника будет очень большой перевес... Очень трудно будет выполнить...

— Что выполнить? — спросил я.

— Еще с сорок первого года в нашей части заведен обычай: никогда не спрашивать, куда идем и зачем идем!

— Знаю...

— А все же не выдержал, спросил?

— Не выдержал, — смутился я.

— Ну, ладно. Теперь уже можно. Очень трудно будет выполнить приказ товарища Сталина. Вот поэтому надо бить выделенные против нас войска по частям. Понятно?

— Не совсем...

— Завтра необходимо во что бы то ни стало дать им бой. А так как мы более слабая сторона и нам надо беречь силы для будущего дела, то надо сделать так, чтобы на нашей стороне было преимущество обороны. В общем, если заставить немцев наступать, выиграем не только завтрашний бой, а всю операцию.

— А как их заставить?

— Вот в этом-то весь секрет. Но если завтра немцы поведут на нас наступление, значит, половина дела сделана... Ну как, выбрал позицию? — спросил он начштаба.

— Я думаю, Кодра. Местность лесистая. Наступать заставим по лесу...

— Вот именно, заставим... — уже про себя говорил Руднев, впившись в карту, где было черным квадратиком обозначено селение и стояла подпись: «Кодра».

— Наступать заставим только из лесу. По грязи, по болотам. Хорошо! Высоты наши...

— Затем, Семен Васильевич, переход небольшой. Успеем до утра изготовиться, занять оборону, разработать огонь...

— Хорошо...

— А как же заставить немцев наступать именно завтра?

— Что скажешь, разведчик?

Я задумался. За окном урчал мотор немецкого самолета. Иногда в небе раздавались глухие очереди, опереженные резкими разрывами пуль «дум-дум» по крышам, заборам, улицам. Один сарай загорелся.

— А что если нам двинуться засветло? Так, чтобы разведчик засек?..

— Обстреляют. Потери будут. А то еще вызовет

бомбардировщиков... — задумчиво говорил Базыма, размечая на карте местность вокруг Кодры.

— Надо точно рассчитать!

Руднев тряхнул головой и сдвинул шапку набекрень. Это было признаком того, что он принял решение.

— Когда солнце заходит?

— Часов в восемь.

— Точнее — часов, минут?

— А дьявол его знает...

— Эх, вы, вояки. Штатская команда, — вздохнул Руднев. — Надо отвечать точно: двадцать часов шестнадцать с половиной минут. Пиши приказ, начштаба: выступать рассредоточенно авангарду и ГПЗ без обоза двадцать часов пятнадцать минут. Успеют заметить, а повредить не успеют.

— Для большего впечатления в голове пустить скот.

— Правильно! Павловскому выгнать «пятый батальон» ровно в двадцать. Все-таки четыреста голов. Если не разглядеть, что такое, примут за батальон или крупный обоз. Действуйте!

Руднев вышел из штаба.

Скот, отбитый нами еще в Ровенской области, более полутора тысяч голов, в насмешку назывался «пятым батальоном». Обычно он шествовал в хвосте колонны, подгоняемый штрафниками. Гонять стадо было тоже одной из форм наказания. В зависимости от провинности в скотогоны назначали на время от пяти дней до месяца. Иногда даже командиров. Это было самое тяжелое моральное наказание, и «пятого батальона» боялись, как огня. Гонявший скот долгое время считался опозоренным человеком, и нужно было совершить что-то уж очень лихое, чтобы избавиться от презрительной клички «скотогон» или «комбат пять», или какого-нибудь другого «лестного» прозвища. Сегодня же пятому батальону суждено было играть важную военную, можно сказать, оперативно-тактическую роль в замыслах нашего командования. Конечно, мы подвергали бедных коров и

быков опасности обстрела, а может, и бомбежки, но ведь коровы — это все же не люди.

Две ночи подряд мы делали небольшие переходы. В Кодру я прибыл с разведкой часа в два ночи, а к пяти утра весь отряд разместился по квартирам. Обозы замаскированы, боевые роты и батальоны заняли заставы, посты и основную линию обороны. Мы полагали, что использовать артиллерию противнику не удастся; лес подходил к самому селу, лежавшему в глубокой лощине, и рельеф был такой, что достать нас немец мог только минометами, но у минометов нехватило бы дальности. Правда, противник мог еще бомбить село, но только наобум, без уверенности, что именно в этом селе находятся наши главные силы. Вообще же, с точки зрения обычной армейской тактики, наша позиция была явно невыгодной, больше того, мы сами залезали в ловушку. Но наступление немцев из лесу исключалось. Следовательно, из Кодры шли всего три дороги, да и то лесные. В этом-то и заключалось наше главное преимущество. На эти три дороги мы выдвигали на четыре-пять километров сильные заставы, а в километре от села располагались главные силы обороны. Таким образом Руднев заставлял немцев давать бой, когда он хотел, то есть завтра, и где он хотел, то есть в лесу, да еще потопать по снегу четыре километра до встречи с главной обороной.

— Пусть даже сомнут они наши заставы. Пусть! Но это значит, что они развернутся в цепи перед нами, затем либо увлекутся преследованием, либо измотаются, продираясь сквозь лес, где за каждым деревом им будет чудиться партизан.

— Словом, к главной обороне доползут не все сразу и уставшие, потерявшие связь...

— А может, и управление.

— Но вообще позиция рискованная...

— Чего больше, — выгоды или риска?

Мы с Базымой задумались.

— А что скажет Кутузов? — кивая в сторону Войцеховича, сказал комиссар.

— Я думаю, что выгоды больше, если немец глупее. А если... — он закашлялся.

— Немец не глупее. Но зато русский смекалистей.

— Э, что говорить! Оборону заняли — все равно бой принимать.

— Ой, не кажи, Григорий Яковлевич, — впервые вмешался Ковпак, — бой можно по-всякому повернуть. От подкинуть на заставы силы, або зробыть заставы двойными, отут одну и отут — це буде бой на затяжку, а так як зараз — це буде бой на разгром... Можно ще по лесу автоматчиков порозкидать, це буде...

— Бой кукушкой. Вроде финской тактики...

— Ну да... А ище можно на ложное направление затягнуть... А самым балочками та просеками...

— А авиация?

Дед задумался...

— Ця авиация мени зараз в печинках сидить... Ех, було в гражданку. Оторвался от противника и пишов, и пишов...

— Так чего же все-таки больше — выгоды или риска?

— А це писля боя побачымо, — усмехнулся Ковпак.

— Это нужно сейчас решить, — настаивал Руднев.

Ковпак насторожился.

— Надо сейчас?

— Для того, чтобы знать, сколько и какие роты оставить в резерве.

— Ну, в резерве третью, восьмую.

— Как всегда? А я думаю, что третью надо в обход послать, чтобы ударила немецкие главные силы по шее. А в резерве оставим вторую и шестую.

— Тогда, пожалуй, риска больше, — сказал начштаба.

— Вот видите...

На том и порешили.

Часам к двенадцати вернулись разведки, отметившие колонны немцев по всем дорогам, а часа в два дня на заставах начался бой. Через полчаса он затих, а еще через час снова вспыхнул и, уже больше не затихая, все приближался. По звукам боя мы узна-

вали путь отходящих застав. Оборона пока молчала. Самое сейчас важное для Ковпака было разгадать, на каком из трех направлений немцы наносят главный удар. Для меня же, как всегда, главным было достать «языка». Пусть он не даст полезных сведений, которые могли бы помочь нам в сегодняшнем бою — бой уже достигал своей высшей точки, но, решая эти сегодняшние задачи, я не мог забыть о Киеве, моем родном городе. Кроме того, что он очень интересовал фронтовое командование, в его расположении находилась четвертая и самая главная группа противника, предназначенная действовать против Ковпака. Где она? В Киеве? Или на пути? Или же включилась и ведет бой? Или ее берегут для окончательного разгрома наших сил?

На мое требование «языка» Ковпак разразился потоком ругани. Бой уже шел на всей линии обороны, и это было, конечно, полное окружение. Ковпак до сих пор не решил, куда бросить автоматчиков в обход.

— Пора, Сидор Артемович! Пора!— сказал Руднев.

— Сам бачу. Я думаю на Кульбаку они напирают?!

— Правильно...

Через две минуты рота Карпенко скрылась в лесу. Слева в обход пошла восьмая.

— Клещи, одним словом, — невесело засмеялся Руднев.

— От, раскокают нам Карпенка, будут тогда клещи. Ты знаешь, что тоди буде в отряде?

— Не раскокают. Пошел! Хорошо пошел!

Лесное эхо доносило сплошной рев автоматов. В третьей роте было восемьдесять шесть автоматчиков плюс четырнадцать ручных пулеметов. Даже обозники третьей роты считали для себя позором ездить с винтовками. Обязательно автомат как символ быстроты натиска и ближнего боя.

— Только бы подошли незаметно. Не потратили бы первый диск впустую.

— Не чуешь? Ручными гранатами действуют. Значит...

— Значит, накоротке...

— Метров тридцать — сорок...

— Нет, ближе. В лесу на тридцать метров не бросишь...

За углом в переулке стояла моя тачанка. Не вытерпев более неизвестности, мы с Коробовым вскочили в нее и понеслись на участок Кульбаки. Улица уже простреливалась из леса пулеметным огнем. Мы свернули в кривые переулки и, колеся по ним, доскакали до крайней хаты, где был штаб Кульбаки. Кульбаки там не оказалось. Он был в бою. Оставив у хаты Коженкова с лошадьми, мы через огород махнули прямо в лес на выстрелы. Батальон Кульбаки отличался от других тем, что очень хорошо был оснащен станковыми пулеметами. Еще в Сумской области Кульбака добыл более десятка «максимов», натренировал расчеты, приспособил их к партизанским боям. Поэтому-то мы и поставили его в обороне там, где ожидали наибольшего нажима противника. Все вышло по расчету Ковпака. Преследуя нашу отходящую заставу, передовой батальон немцев дошел к главной обороне Кульбаки с потерями, цепи шли неровно, солдаты сбивались в кучи вокруг офицеров, тяжелое оружие отстало. Кульбака подпустил их вплотную к станкачам, выставленным в ряд на склоне бугра, и сразу положил свыше полусотни немцев.

Наступление их затормозилось. Немцы стали вытаскивать раненых офицеров, станкачи били по ним и увеличивали потери. Но сзади спешил на помощь свежий резервный батальон. Немцы, видимо, решили эшелонировать свои силы, и вслед за первым батальоном шел второй. До сих пор в борьбе с партизанами они такого боевого порядка не применяли, и Кульбаке, пожалуй, пришлось бы туго. Батальон первого эшелона понес большие потери, но он нащупал силы, порядки и огонь Кульбаки, стоявшего крепко. А батальон второго эшелона мог просто обойти Кульбаку по опушке и ударить по селу, штабу и обозу в месте, где почти не было никакой обороны.

Вот тут-то и выручил Карпенко. Он успел зайти

в тыл залегшим немцам первой цепи и встретил резервный батальон на марше. Немцы шли густой колонной, шли быстрым маршем, почти рысью, торопясь на выручку своим передовым силам. Шли по дороге, где час перед этим наступали свои, поэтому двигались без разведки и наблюдения. Эта марширующая сто тридцать шагов в минуту колонна с размаху напоролась на восемьдесят шесть автоматов и четырнадцать пулеметов Карпенко. Стычка произошла лицом к лицу. В первые же несколько секунд передовая рота немцев была уложена вся, во второй остались в живых лишь те, кого заслонили от потока пуль тела их товарищей, третья рота обратилась в бегство. Это был, пожалуй, единственный случай, когда Карпенко не ругал своих хлопцев за длинные очереди, потому что даже из половины диска, выпущенного в толпу фрицев, почти каждая пуля находила свою цель.

Мы прибежали к обороне Кульбаки, когда бой еще продолжался, но это было уже не наступление врага, не наша оборона, а просто ловля немцев по лесу и их избиение. После боя в селе Выползово, под Курском, зимой 1941 года, где танки Алеева уничтожили огромное количество немцев, я нигде не видел столько вражеских трупов. Перед одними лишь станкачами Кульбаки их было семьдесят три — уложенных рядами, в касках, шубах и валенках.

Охваченные общим порывом, мы с Коробовым тоже стали гоняться за немцами, которые группами по три — пять человек метались по лесу, как угорелые, повсюду натыкаясь на партизан. Так прошло еще около часа. До вечера оставалось немного. На двух других направлениях бой утихал и отдалялся. Мы дошли до участка, где рота Карпенко подстерегла немецкий батальон второго эшелона. Узкая лесная дорога была забита трупами, валялись они и в лесу. Может быть, людям, не воевавшим, но слышавшим много сводок с подсчетами потерь противника, это и покажется обыденным. Но тот, кто знает цену не только своей крови, но и крови противника, поймет

меня. Легко оперировать сотнями и тысячами на бумаге. Люди, не убившие ни одного немца, очень гнушались цифрами меньше чем с двумя нолями. Нам же понятна была эта точность настоящих солдат, подсчитывающих каждого убитого врага.

И у меня есть свой счет. Пусть лично я убил меньше немцев, чем знаменитый снайпер, но он у меня есть. На освобожденной теперь земле я найду могилу каждого убитого мной фашиста — не потому, что она мне дорога, а потому что в ней лежит результат моего солдатского труда... Не артиллерия и авиация, не сложная механика войны работали за меня, а только колоссальное напряжение воли, меткий глаз и пуля, выпущенная в цель, могли дать этот маленький, но верный результат. Да еще риск. Риск собственной жизнью. А жизнь — это не пальто отдать, говорил Мудрый, или Колька Шопенгауэр, как любил называть его Базыма.

Коробов носился с аппаратом, торопясь до сумерок заснять это лесное побоище, я торопился собрать солдатенбухи, медальоны и другие документы. «Языков» пока не было. В пылу боя автоматчики Кульбаки и Карпенко не брали пленных.

Мы переворачивали немцев, потрошили их карманы, когда мимо проходил взвод третьей роты, возвращавшийся из боя. Несмотря на то, что победа была полная и небывалая, люди шли медленно и молчали.

— Прямо в голову, — услыхал я слова Шпингалета, шедшего навстречу Намалеванному.

«Неужели Карпенко?» — мелькнула у меня мысль. За поворотом дороги шла группа автоматчиков. Они поддерживали человека, который нес на руках чье-то безжизненное тело.

— Карпенко! Недаром Ковпак так тревожился, — сказал мне Коробов.

Я бросился навстречу идущей роте.

В это время, чуть не сбив меня с ног, пронеслась тачанка. Ездовой хлестал лошадей и, не доехав несколько шагов до идущих, круто сдержал коней.

Мы подошли к автоматчикам. В центре группы стоял Карпенко и держал на руках Кольку Мудрого. Черные волосы его слиплись от крови и снега, скрывая маленькую ранку. Лишь на затылке, замерзая на вечернем морозе и блестя снежинками, выступала кровь.

— Жив?! — спросил запыхавшийся ездовой.

— Конец. Пропал Колька. Эх...— положив безжизненное тело на подушки тачанки, сказал Карпенко.

Автоматчики молчали.

— Шагом марш! — скомандовал Карпенко.

Подвода тронулась. В двух шагах от нее своим привычным шагом, положив обе руки на автомат, висевший на груди, шел Карпенко.

Сзади пристраивались автоматчики. Из леса вышла вся третья рота, в полном строю, молча шествовавшая за повозкой. На подушках, взятых заботливым ездовым для раненого, качалось бездыханное тело Николая, Кольки Шопенгауэра, философа и балагура.

Так вот какой ценой досталась наша победа... Но этого было мало. Когда третья рота вошла в село в переулке, где я оставил Коженкова, я услышал голос Базымы:

— Володя Шишов ранен...

— Тяжело?

— Смертельно... До завтра не доживет.

Володя лежал на моей тачанке и своими чудесными голубыми глазами смотрел на небо. Оно озолотилось заходящим солнцем, скрывавшимся за вершины леса, где только что шел бой.

Я подошел к Володе. Он узнал меня и хотел улыбнуться.

— Видите, не уберегся я... товарищ подполковник...

— Больно, Володя?

— Нет... Жалко только умирать...

Базыма не выдержал и отошел к лошадям.

— А может, и не умру?.. Вот мы тогда прокатимся, товарищ подполковник... Вы после войны командовать кавалерией будете... И я к вам служить пойду.

— Хорошо, хорошо... Потерпи, друг. Поедем в санчасть. Перевязку сделаем...

— Аа-а... — зевнув, сказал он. — Хорошо, раз перевязку, значит хорошо.

Тачанка двинулась. Базыма и я шли с боку и поддерживали ему голову. До штаба он ни разу не вскрикнул, не застонал, не скривился. Только из уголков детских глаз бежали одна за другой слезы вниз по огрубевшим обветренным щекам, на которых пробивался еле заметный золотистый пушок.

Когда моя тачанка стала в ряд с тачанкой Мудрого и Базыма склонился над лицом Володи, он уже был мертв. Мы положили их обоих рядом; безмолвным караулом стали вокруг бойцы третьей и восьмой.

Нам нельзя было оставаться здесь. Мы с Базымой пошли в штаб, чтобы разработать ночной маршрут на восток. Через час колонна двинулась дальше.

XXVI

Ночью, на марше, дьявольски хотелось спать. Меня переутомили бессонные ночи и напряжение последних двух дней. Засыпая на тачанке, я успел подумать: «Нет, все же Ковпак — мудрый старик... Теперь по крайней мере хвост коростеньских батальонов отстанет от нас... Да и не многие из наших преследователей унесли ноги. А как же Киев? Киев... Киев...» И вот наша тачанка с Сашкой Коженковым на облучке и сумасбродным корреспондентом «Правды», дремавшим на моем плече, почему-то свернула в сторону от колонны и мчится уже по полям через долины и буераки. Под нами уже замелькали верхушки деревьев. Что это? Вероятно, я уснул и не слыхал, как пришли самолеты из Москвы... Это я лечу через фронт. Но почему лечу? Ведь не было вызова? А-а-а... Это я был ранен в кодринском бою и меня везут на Большую землю вместе с Володей Шишовым. Да, но почему же нас не сняли с тачанки, а погрузили в «Дуглас» вместе с лошадьми? И теперь та-

чанку покачивает на воздушных ухабах... Наверное, мы летим выше трех тысяч метров, холод пощипывает щеки, пальцы на ногах окоченели, а лошади пофыркивают на морозе. Вот машина круто переходит в пике, и внизу я вижу город. Москва? Нет, это же Киев. Видно изогнутое колено Крещатика и дальше Красноармейская, Сталинка, Соломенка... Машина, взвыв моторами, уходит ввысь. Под крылом мелькнула фигура, высоко держащая крест над головой. Владимирская горка и Днепр. Да, но ведь посадка запрещена. Надо прыгать, прыгать... Первым будет прыгать Коробов, за ним я, а вот Коженков, ведь он никогда в жизни не прыгал с самолета. Ничего. Парашют автоматический. Но тогда мне надо прыгать последним; я вытолкну Сашку пинком ноги, как меня когда-то толкал майор Юсупов. Но как же с лошадьми? Они стоят, весело помахивая хвостами, а на спинах, как громадные вьючные седла, привязаны парашютные мешки. Наконец прыжок! Мы приземляемся где-то в районе Аскольдовой могилы, и вот я уже иду по улицам Киева. Крещатик. Посреди улицы маршируют немецкие войска, шныряют тупорылые машины, на тротуарах группами и в одиночку разгуливают эсэсовцы. Странно, что они как бы не замечают меня. Навстречу идет немец-бухгалтер, тот самый, что позавчера на рассвете шел на свидание к «русская Маруся». Неужели хлопцы из комендантского взвода выпустили его? Он смотрит на меня пристально и подходит все ближе и ближе. Кажется, узнал?! Да, ведь на мне его теплый, зеленого драпа, пиджак с кожаными плетеными пуговицами. Толпа окружает нас. Рядом я слышу голос: «Это я, Маруся!» Немец орет, страшно раскрыв пасть со вставными зубами: «А, русская девочка Маруся!» Я бросаюсь в толпу, бегу, падаю и... просыпаюсь. Тачанка едет медленно. Коробов трясет меня за плечо. На облучке — неизменная спина Саши Коженкова, а рядом с ним, лицом к нам, неясная фигура, говорящая: «...а звать меня Маруся». Я протираю глаза в недоумении. Коробов говорит:

— Никак не добудишься тебя. Ты так кричал. А тут девушку привели.

— Какую девушку?

— Черемушкин и Мычко ходили в разведку по следу разбитых батальонов. Сведения они уже доложили комиссару, а вот ее...

— Русская девушка Маруся? — еще не проснувшись окончательно, говорю я.

— А кто ее знает, русская она или хохлушка. Вот садись на мое место и в приятном визави начинай разговор тет-а-тет. Саша, — обратился он к нашему кучеру, — помни, мы оглохли и онемели, — и, откинувшись в угол сиденья, Коробов притворно захрапел.

Все еще не понимая, сон это или явь, я буркнул непрошенной визави:

— Ну что ж, давайте знакомиться, что ли.

— Я Маруся, — громко сказала она.

— Какая Маруся?

Лица не было видно. Я судил по голосу — он принадлежал женщине лет сорока, и по шершавой руке — это была рука труженицы.

Вместе с улетевшим сном прошло и минутное раздражение, а на смену ему пришло любопытство — верховой конек разведчика.

Я постарался подавить его и с нарочитым безразличием, уже искусственно зевая, стал задавать обычные вопросы.

— Кто, куда, зачем, почему, откуда?

Да, это была простая украинская женщина Маруся, она очутилась в тылу у немцев с семьей, детьми: большими, которые ушли в партизаны, и маленькими, которые остались дома и хотели пить, есть и жить...

Ответив на мои вопросы, она продолжала:

— Я подпольщица, товарищи. Меня прислал комиссар Могила... Тут отряд такой действует. Мы уже три дня, как о вас слыхали, шли на соединение по вашему следу, да немцы помешали, — те, что от вас тикали из Кодры.

— Большой у вас отряд?

— Человек тридцать. Они в бою задержались.

Есть раненые и убитые. Я связная... Товарищ Могила приказал с вами связаться и вас предупредить. Дорога, по которой вы сейчас идете, заминирована. Еще с сорок первого года мины лежат. Бои тут большие шли за Киев. Ох, я болотом шла, по воде. Боялась — утопну и задание товарища Могилы...

— Постой, Маруся... Дай сообразить. Где минные поля?

Она быстро и толково объясняла мне приметы и ориентиры, и мы с Коробовым в свете электрофонаря лихорадочно засекали минные поля на карте. Выходило, что всего лишь несколько сот метров отделяет нас от них. «Если только они есть», — шепнул мне Коробов.

Я хотел что-то спросить Марусю, но почувствовал, что женщина склонилась ко мне на плечо и тело ее обмякло. Она спала... или притворялась, что спит. Юбка у нее была мокрая до колен.

— Догоняла нас, — сказал Коробов. — Черемушкин подобрал.

Я крикнул Черемушкина, ехавшего с группой связных.

— Где подобрали? — облокотившись на луку его седла, спросил я шопотом.

— Да возле Кодры. Мне ее скотогоны передали.

Еще раз взглянув на карту, я понял, что времени оставалось в обрез. Голова колонны уже подходила к минным полям.

— А может быть, только для того, чтобы задержать нас? Украсть время?

— Надо доложить Ковпаку.

— Некогда, — не успеем!

Я подозвал Семенистого, приказал скакать в голову колонны и остановить ее. Хлопец птицей понесся вперед. Знал ли пацан, что, обгоняя колонну, он скачет по минам?

Думаю, что знал.

Несколько минут прошло в томительном ожидании, будет ли взрыв. Но вот движение стало замедляться с небольшими перерывами. Это колонна, растянув-

шаяся, как меха двухрядки у лихого гармониста, сжималась, подтягивая середину и хвост к остановившейся голове. Бессильно склонившись ко мне на колени, спала женщина. А я думал. Конечно, одновременно с Семенистым был послан другой связной к Ковпаку и Рудневу с донесением, но колонну остановил я, и решать надо было самому. Возвращаться обратно? Минует ночь, и завтра снова придется принимать бой у Кодры. Или гнать колонну на мину? Решение не приходило, а время шло. Вот уже полчаса, как стоит колонна, а связной все еще не вернулся от Ковпака. «Чего молчит старик?» — думал я с обидой, забывая о том, что у Ковпака было для раздумья на десять минут меньше времени, чем у меня. А я сам так и не мог ничего придумать. Я уже собирался гнать второго связного к командиру, но за нами, все приближаясь, раздавались рев и мычание скота. Впереди скакал связной. Он сказал запыхавшись:

— Дед приказал: «Итти по маршруту, не останавливаясь, впереди гнать скот».

Еще через четверть часа колонна двинулась. Ехали молча. Колонна шла тихо, тише, чем обычно, люди ступали осторожно по вытоптанной коровами земле. Мы с Коробовым ждали взрывов, но их не было. Уже прошли более километра. Маруся все спала. Ну, что ж. Провокаторы и изменники ведь тоже могут уставать. «Может быть, это и лучше», — думал я, ощупывая рукоятку револьвера в расстегнутой кобуре. Лучше для нее.

Но мины были. Несколько взрывов раздалось впереди. Мины были небольшие и рвались не все. Так двигались мы по минному полю около часа. Шли, как по раскаленной сковороде. Люди жались узкой ленточкой, стараясь ступать ногой в след повозок. Все обошлось благополучно. Погибло несколько коров, которых тут же пристреливали. Павловский заставлял старшин рот свежевать их на ходу, грозясь не выдавать неделю мясного пайка тем, кто отказывался брать готовое мясо. Не меньше сотни коров разбрелось в стороны, но даже скупому Павловскому не

взбрело в голову посылать людей загонять их в гурт. Он только ахал и чертыхался.

— Пропадае добро, чорти його батькови в печинку. Ох, пропадае... — жалобно говорил он мне, со вздохом показывая на маячивших среди поля коров. Они, никем не подгоняемые, бродили по полю, копытами разгребая подмерзшую землю и выкапывая из нее коренья с зелеными побегами.

Словом, все обошлось благополучно. Только история с минным полем украла у нас по крайней мере два часа. Маруся, спасшая несколько жизней, свернулась на облучке, который ей уступил Коженков, устроившийся где-то на крыле тачанки. Она не просыпалась даже от глухих взрывов, расчищавших наш путь. К переезду железки колонна подошла незадолго до рассвета, а мы рассчитывали форсировать ее ночью. Может, это и было к лучшему. Охрана спала, а трех патрульных с ручным пулеметом Федя Мычко уничтожил одной гранатой. Разведка ворвалась в будку и в несколько минут расчистила путь. Главные силы форсировали переезд уже засветло. Коробов, обрадовавшись свету, щелкал аппаратом, я тоже не мог удержаться от соблазна. Но у меня была другая работа. Разведчики не успели перебить всю охрану, и уже при дневном свете, когда подошел обоз, ездовые, забегавшие в будку, вытаскивали по одному фашисту то с чердака, то из бочки, из которой торчали ноги в кованых ботинках, то из кустов. Но это были не немцы, а эльзасцы. Батальон их охранял этот участок железной дороги и большой железнодорожный мост через Тетерев.

Миша Тартаковский беспомощно разводил руками. Пленные либо совсем не говорили по-немецки, либо говорили на таком диалекте, который моему переводчику был явно не под силу.

Эльзасцев нам все же удалось кое-как допросить тут же на переезде, через который на галопе неслась колонна. Я, кончив допрос, подошел к Коробову. Через переезд прошла на рысях батарея, а затем пошли повозки штаба. Новая тачанка Ковпака, по-

даренная ему Карпенко еще в Ровенской области из имений князя Радзивилла, подпрыгивала на рельсах и подмостках переезда. Дед в мадьярской шубе восседал на кожаных подушках, как китайский бог. Его ездовой, Политуха, щелкал бичом и держал вожжи по-ямщицки. Эта забавная картинка мелькнула в визире моего фотоаппарата и исчезла раньше, чем я успел нажать спуск.

За штабом всегда двигалась санчасть — медперсонал, повозки с медикаментами и ранеными.

Сегодня вслед за обозом санчасти шла повозка, где покрытые с головой лежали Колька Мудрый, лихой автоматчик третьей роты, и Володя Шишов. Их не успели похоронить в Кодре и везли с собой.

XXVII

За железной дорогой начались сплошные леса. Они дали нам возможность двигаться днем. К полудню колонна вышла под село Блитча. Выход к населенному пункту среди бела дня заставил меня принять меры для соблюдения особой осторожности и, как мы говорили, «добавить внезапности». Взвод конников под командованием Саши Ленкина я послал в обход села, и таким образом все дороги были перехвачены. На выходах поставили посты. Из села никто не мог выйти. Это давало мне надежду, что киевская группа, которой мы все же опасались, хотя бы до вечера потеряет наш след. Немцы засекли нас на железной дороге возле станции.

Но после Кодры у противника, видимо, пропала охота ходить по нашим следам лесными дорогами. Значит, можно было на время остановиться в открытом месте. Село Блитча, расположенное на берегу реки Тетерев, — типичное украинское село на Киевщине. Проверив, что все возможные выходы прикрыты конниками, я стал искать квартиру, и тут мое внимание привлекли телефонные столбы, тянувшие

по улицам села бесконечную железную проволоку. Проволока эта привела меня к площади, в центре которой был красивый домик под черепицей; в селах Киевщины в таких домиках обычно помещаются сельсоветы и правления колхозов. К этому-то дому и шел телефонный провод. Сейчас здесь была сельская управа. Кинув повод на столбик «ганочка», я вошел в дом. Близ стола висел телефон, похожий на старинные стенные часы с боем. Деревянное коричневое сооружение с блестящей ручкой, огромной черной трубкой и зеленым шнурком! Конник и квартирьеры уже успели перевернуть в управе все вверх дном. Со стены глядела фигура Гитлера; узнать его можно было лишь по прическе — шутники уже выкололи ему глаза и подмалевали бакенбарды. На полу валялись бумаги и дела управы. Все было в хаотическом беспорядке. Один только телефон был на месте и в полной исправности. Рядом с ним, как охотничий лягаш на стойке, сидел на табуретке Михаил Кузьмич Семенистый и никого не подпускал к аппарату. Видимо, ему до сих пор памятна была дедова «прочуханка» за новогодний разговор с давид-городковским гестапо.

— Товарищ подполковник! Никого не допускаю. Что прикажете с ним делать?

Я остановился перед сооружением, соображая, нельзя ли как-нибудь использовать этот предмет культуры.

В коробке заурчали звонки.

— О, опять звонит, — с детской наивностью проговорил Семенистый. — Вы сразу не снимайте. Я уже слухав. Там всякие разговоры идут из району. А только когда шесть раз дзенкнет, — тогда будет нас вызывать: «Блитча, Блитча...» Только я не отзывался.

— А говорил что-нибудь?

— Не, я ж понимаю теперь это дело. Я вон трубку платком носовым замотал, щоб не засмеяться. Я только слухал все. От комедия...

— Так, говоришь, Блитча — шесть звонков?

— Ага! Как шесть звонков, так сразу кричить: «Блитча, Блитча...» А пять — Леоновка. Только Леоновка отвечает, а я молчу.

— А что отвечает Леоновка?

— Он говорит: «Леоновка, выслали сметану в район? Вахмайстр требовал двойную порцию». Готовят бал какой-то. Будут на мосту бал справлять со сметаной.

— На мосту? Бал со сметаной? Ты чего-то привираешь, Кузьмич?

— Ей-бо! Так и говорили! Это первый раз. А другой — все спрашивали Леоновку, почему Блитча не отвечает.

Больше ничего я не добился от Михаила Кузьмича. Но из его рассказа я понял, что на одном проводе есть несколько аппаратов, и это дает возможность слушать все разговоры, во всяком случае до тех пор, пока в районном центре — Ивановке, — находившемся от нас километрах в десяти — двенадцати, еще не знают о нашем пребывании здесь. А это не так уж плохо для нового вида получения разведданных. Я понял также, что поспать уже не удастся, а надо вооружаться терпением и сидеть энное количество времени с телефонной трубкой и слушать. Неизвестно почему я вспомнил Крылова:

Навозну кучу разрывая,
Петух нашел жемчужное зерно...

и, прикрыв для верности еще ладонью трубку, обмотанную тряпкой, и цыкнув на возившихся конников и связных, отпустил кивком Семенистого. Хлопцы поняли и на цыпочках, по одному, вышли из бывшей конторы колхоза, затем немецкой управы, а в настоящее время помещения 2-го отдела штаба Ковпака.

Через несколько мгновений деревянная бандура опять нежно заурчала, и я услышал грузный низкий голос, принадлежащий человеку, всю жизнь говорившему на языке Тараса Бульбы, Шевченко и многих других.

— Блитча, Блитча! Та слухай, Блитча. От бисовы диты, знов самогонку пьють. Скильки раз наказував хоч виконавця оставляйте коло телефону... А тут...

И снова заурчала нежно коробка. Я считал: раз, два... Пять звонков.

— Леоновка. Леоновка? Шо там Блитча не видповидае?

— Не знаю, — отвечала Леоновка сонным фальцетом.

— А сметану послали?

— Я ж говорыв, послалы.

— Ну, посылай ще!..

Похоже было, что обладатель баска собирался утопить в сметане весь районный центр во главе с вахмайстром жандармерии. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Разговор шел о всяких хозяйственных мелочах. Район жил обычной хозяйственной жизнью. И если бы не часто упоминаемая высокая персона вахмайстра, можно было бы подумать, что никакой войны нет и не было, а мы слушаем нудную телефонную болтовню райзо с периферией в передышках между двумя текущими кампаниями, когда начальники звонят своим подчиненным только со скуки и по мелочам.

Я уже стал подремывать у трубки, как вдруг в обычные сонные разговоры вплелась нотка тревоги.

— Блитча, Блитча!.. От чорт! Леоновка... А ну, срочно коменданта полиции к телефону. Вахмайстр буде говорить.

«Ага, — отметил я про себя первое полезное разведданное, полученное при помощи этой бандуры. — Значит, в Леоновке есть полиция. Послушаем еще нежный голосок вахмайстра».

Через несколько минут в трубке послышался хохлачий голос, пытавшийся подражать немецким интонациям:

— Комендант полицайшафту, дорфу Леоновка, Мазуренко слухае.

К моему удивлению, с ним заговорил женский голосок. Это уже интересно... Ого!..

— Герр Мазуренко, вернулись ли люди из леса?

— Вернулись...

— И что же?

— А ничого. Пишлы по хатам.

Теперь я начинал понимать. Где-то за спиной девичьего голоса зарычала, взвизгивая и подвывая, немецкая речь. Девушка-переводчица после паузы сказала внушительно:

— Герр Мазуренко. Герр вахмайстр говорит, что вы осел!

— Що такое ос-сел?

— Ну, ишак. Кинь такий с вухами.

Молчание. Снова немецкая речь.

Нежный голосок:

— Вахмайстр говорит: немедленно собрать всех людей, прибежавших, слышите, прибежавших из леса...

— А це вирно. Действительно, люди прибиглы. А я и не разошолопав...

— Ай, Мазуренко, Мазуренко! Собрать всех и допросить, что они видели в лесу. Какое войско?

— Войско?

Снова рычит немец.

— Послали, Мазуренко?

— Ни ще!

— Посылайте. А сами не отходите от телефона.

Теперь мне уже не до сна. Базыма, заинтересовавшись моими сообщениями, положил передо мной чистый лист бумаги и всунул в руку карандаш. Я стал записывать.

— Послали?

— Вже. Ну, ище що?

— Слушайте внимательно. Снарядите своего человека и немедленно посылайте в Блитчу. Надо выяснить, кто там и почему не отвечает Блитча.

— Добре.

Проходит полчаса. На заставы полетели распоряжения Базымы. Задерживать всех идущих из Леоновки и доставлять в штаб.

По линии прекратились всякие сельскохозяйственные разговоры.

— Леоновка. Послали?

— Послав.
— Кого?
— Кривого Микиту.
— Верхом?
— Не-е...
— На подводе?
— Не-е...
— А как же? — нервничает девица-вахмайстр.
— Пишки...

Не кладя трубку, она переводит это по-немецки. И сразу же в трубку несется оглушительная немецкая ругань. Я успеваю передать трубку Ковпаку, Базыме, Войцеховичу, стоявшим за моей спиной и до сих пор следившим за моим карандашом, протоколировавшим на бумаге разговор. Сейчас дело принимает веселый оборот.

— Молодец Михаил Кузьмич, — говорит Ковпак.

— Почему? — спрашивает Базыма.

— А що захватив в плен оцю бандуру, — отвечает командир.

Семенистый, торжествуя, вытягивается, и глазенки его смеются.

Снова начинает говорить переводчица. Из ответов я точно устанавливаю все приметы Кривого Микиты: он черноусый, на левой ноге деревяжка, за поясом топор, в шапке; и Семенистый летит на заставу сообщить приметы.

Часа через полтора в штаб приводят Кривого Микиту. Все приметы сходятся.

— Здоров, Мыкыта, — говорит ему Ковпак, как старому знакомому.

Тот с недоумением смотрит на нас всех.

И тогда Ковпак, наслаждаясь, продолжает:

— Ну, Мыкыта, пидийди сюда. Расскажи, куда тебе Мазуренко, комендант полиции Мазуренко, посылав. В Блитчу? А чого посылав? В розвидку? Вийшов ты из Леоновки и думаешь, пиду я, все узнаю, а потом назад вернусь. А того не думав, що ты ще з Леоновки не выйшов, як мы все чисто зналы, — даже на який нози у тебе ноги нема.

Микита смотрит на Ковпака и молча плюхается на пол.

— Не погубите, пане, товарищу, чи хто вы будете...

— В комендантскую, — машет плетью Ковпак.

Через час Иванково требует послать новую разведку. Теперь идет женщина. Затем верховой. К концу дня пять посланных в разведку сидят у нас.

Под вечер мы узнаем, что в Иванково из Киева прибыли мотоциклисты и одна машина.

Вот он Киев! Я поручаю свой пост у трубки Тартаковскому, а мы удаляемся с Базымой на квартиру командира. Надо обсудить создавшееся положение. Надо приготовиться на завтра к бою. Уже видны щупальцы киевской группировки. Теперь мы спокойны. Все начинает проясняться. А раз есть ясность, все будет хорошо. «Ведь недаром Ковпак и Руднев, Базыма и Вершигора маракуют о нашей жизни», — сказал бы Колька Мудрый.

Он лежит сейчас в братской могиле на площади в Блитче вместе с Володей Шишовым.

А в штабе его командиры маракуют о жизни живых, зная, что чем лучше будет продуман завтрашний день, тем меньше прольется нашей, а больше вражеской крови.

Величайшая экономия людей — вот почему не спим мы в эту ночь. Бодрствуют разведчики, под покровом ночи рыскающие под Иванковым, Леоновкой, на шоссейках, ведущих к Киеву. Бодрствует Миша у телефона-бандуры, исписывая стопку бумаги болтовней бестолковых районных воротил.

В районе тревога. Воротилы что-то знают, но еще нет у них ничего определенного. Знают, что не отвечает Блитча, знают, что в иванковские леса прорвалась большая группа партизан. У страха глаза велики. В Иванкове паника. Пусть паникуют. Руднев решает: давать бой киевской группировке под Блитчей. Но для этого надо раздробить эту группировку на части. В сторону Киева высылаются роты с минерами: под Дымер, Дарницу и Бровары.

Главная задача — подорвать железнодорожный мост через Тетерев. Рвет Кульбака и приданные роты. Общее командование поручается Павловскому, комиссаром — Панин. Это важная задача, но ее не поручили мне, и я к ней совершенно холоден и безразличен. Меня сейчас больше интересует Киев.

Роты первого батальона участвовали в кодринском бою, брали железку и мост, второй батальон Кульбаки тоже дрался в эти дни. Вся оборона Блитчи поручена третьему и четвертому батальонам. А так как третий батальон обороняется от Иванкова, то пусть он и жжет мост, тот самый, в честь постройки которого иванковским властям понадобилось столько сметаны.

Командир третьего батальона (Шалыгинского партизанского отряда), бывший предколхоза, потом секретарь райкома, Федот Данилович Матющенко, приходит в штаб ругаться. Ему уже известно, что мост построен из свежего лесоматериала, который не горит, что длина его 148 погонных метров.

Федот Данилович просит помочь зажигательными средствами, а еще лучше толом. Но Ковпак в последние дни стал скуп на взрывчатку. Давно нет самолетов, а впереди, видимо, много работы.

— Соломкою, соломкою, Матющенко, — поучает он комбата три.

— Сам знаю, що соломкою. А як не загориться?

— Ну, дам тебе еще три десятка термитных шаров.

— Так вони не запалюють дерево.

— Ну, солому подпалишь!

— Це я можу и серником и катюшею.

Матющенко кончил Артемовку. Ему нечего объяснять горючие качества соломы. Но они долго рассуждают на эту тему, пытаясь переспорить друг друга, — два хитрых хохла, а Руднев и Базыма, улыбаясь, слушают затянувшийся диспут.

— Ну, дай ему еще один ящик взрывчатки, Сидор Артемович!

Дед сердито сопит:

— Добре. Дам ящик. Кажи спасибо комиссару. Ни за що сам не дав бы.

Матющенко — мужичок в штатском костюме, с военной смекалкой и суворовским умением. Как все настоящие люди, впервые столкнувшиеся с военным делом только в боях, не умеет козырять, не имеет выправки и бравого вида, не имеет властного голоса, но зато понимает противника, знает своего солдата и умеет воевать, а не разговаривать о войне. Низенького роста, чернявый, с изогнутыми, как крылья хищной птицы, бровями, горбатым носом, коренастый, медлительный.

Выторговав тол, он довольно ворчит и собирается уходить. Тут я только вспоминаю, что до сих пор мы возим с собой немецкий кинофильм, изрядно надоевший нам. Я передаю его Федоту Даниловичу, обещая ему, что он будет гореть лучше термитных шаров.

XXVIII

В этот же день насмешил нас всех Бережной. Я послал его во главе усиленного взвода разведки по нашему следу. Поставил ему задачу дойти до Кодры или до соприкосновения с противником и получить полные данные о коростеньской и житомирской группировках. Приказал посылать с дороги донесения связными. Первое донесение пришло с переезда, где мы громили эльзасцев. Бережной сообщал данные об охране, о количестве эшелонов, идущих в обоих направлениях, а также и то, что к вечеру он форсирует дорогу и за ночь пройдет до минного поля, заминирует дорогу и обратно.

В конце донесения была приписка:

«Еще имею честь донести, что разбитые части пятого батальона (до одного эскадрона) под испытанным командованием быка Васьки, преодолевая препятствия и трудности, движутся в направлении дислокации в/ч. Есть полная уверенность, что к утру прибудут и вступят в строй. Ходатайствую о представлении к награде».

— В чем дело? Какой еще бык Васька? — недо-

вольно сказал начштаба. — Это ты, дед-бородед, свои коды разводишь? Какие, кому награды?

Я долго вертел донесение, пока понял, что никакого кода тут нет. Вспомнив коров, которые разбрелись по минному полю и были оставлены нами на произвол судьбы, и вспомнив, что стадо мы в шутку звали пятым батальоном, я расхохотался.

Базыма плюнул и отвернулся.

Когда в штаб зашел Павловский, мы выяснили, что в числе отставших, и как мы считали погибших рогатых, был и бык Васька, необычайно умное и выносливое животное с маленькими злыми глазками. Он умел отличать своих постоянных скотогонов от штрафников, последних он не жаловал, видимо считая их гастролерами, и пытался чужака поддеть рогом. Павловского он любил, может потому, что стоило помпохозу появиться на постое возле стада, как скотогоны тащили сено, солому или шумно гнали коров на водопой. Бык узнавал каким-то своим бычьим умом главного хозяина и, ласково мыча, подходил к нему, хлопая себя по спине хвостом, и наклонял красивую голову, как бы грозясь боднуть. Но Павловский говорил ласково: «Васька, дурный, Васька!» Тогда бык опускался на одно колено, подставлял голову, которую помпохоз почесывал между рогов, одновременно ругая скотогонов за разные погрешности. Когда он не замечал быка, тот сам подходил к хозяину и одним рогом поддевал его под пояс или почесывал ему спину, напрашиваясь на ласку, пока не услышит знакомое: «Васька, дурный, от дурный...»

Я показал помпохозу донесение Бережного.

— А що, я не казав? Васька выведе! Як только сам на мину не нарветься, то выведе...

Действительно, ночью со стороны леса показались коровы. Часовой, увидев движущуюся по дороге массу, выстрелил, и если бы не рев Васьки, дело кончилось бы плачевно для уцелевших от мин рогатых.

Вернувшийся на другой день Бережной рассказал, что накануне он встретил около сотни коров, шедших по следу колонны. Впереди шел Васька, принюхиваясь

к дороге и вытягивая вперед голову, ласково помыкивая на послушно шедшее за ним стадо. Он-то и привел стадо в Блитчу.

Это событие дало нам возможность разрешить одну небольшую проблему, с некоторых пор беспокоившую Руднева.

Дело было в том, что многие партизаны у нас ходили в немецкой одежде, и к ней в отряде выработалось определенное отношение. Но некоторые лихие хлопцы стали перегибать. Уже можно было встретить ребят, у которых вместе с мундиром оставались погоны, отличия и награды. Это было форсом ненужным и немного рискованным. Конечно, можно было запретить носить все эти побрякушки приказом сверху, но Руднев не хотел — ждал удобного случая.

Он-то и подвернулся. Утром мы собрались в штабе и еще раз, смеясь, перечитывали донесение Бережного: «...Есть полная уверенность, что к утру прибудут и вступят в строй. Ходатайствую о представлении к награде...»

— Придется награждать, — вытирая выступившие от смеха слезы, говорил Базыма.

Комиссар тоже хохотал, а затем вдруг призадумался, а потом крикнул:

— Дежурный!

Дежурный явился из соседней комнаты.

— Собрать все гитлеровские награды, кресты, медали...

— Да их в комендантском целый ящик, — сказал Тутученко.

Руднев выразительно посмотрел на него, и тот умолк.

— Исполняйте!

Через полчаса дежурный притащил полные карманы немецких, мадьярских, румынских крестов и медалей. Их нанизали на длинную ленту и вручили Павловскому, который тут же нацепил их на шею своему любимцу.

Связные мальчишки не замедлили разнести по ротам весть о награждении Васьки, и в полдень на пло-

щади собралось много партизан, которые покатывались со смеху, указывая пальцами на быка. А он, важно потряхивая звеневшими орденами, шествовал впереди «пятого батальона» к реке. Смеху было много, а главное больше никому из молодых партизан и в голову не приходило напяливать на себя вражеские ордена.

Следующие несколько дней пребывания в Блитче были полны событиями самыми разнообразными: военными, стратегическими и тактическими; разведывательными; диверсионными; поимкой шпионов; комическими и уморительно-драматическими.

Несмотря на то, что немцы два раза предпринимали наступление на нас, что шли бои и лилась кровь, все же Блитча у большинства из нас осталась в памяти как что-то свежее, веселое и радостное. Может, потому, что это была настоящая Украина, а не помесь польско-белорусско-украинского влияния, которое сказывается в Полесье, а может, потому, что в эти дни полностью вступила в свои права пришвинская весна воды. Просыхала земля, запахло почками и пахотой, дни стояли солнечные, с юга дул легкий сухой ветер. На второй день вскрылась река, и по Тетереву пошел лед.

Мы с Коробовым разместились в хорошей хате под черепицей, на самом берегу обрыва, под которым шуршали и оглушительно лопались льдины. К концу дня по реке шло уже мелкое крошево. В первую ночь Ковпак и Руднев пошли на большой риск. Большая часть боевых рот была разослана на задания. Прикрывать обоз, штаб и санчасть оставалось очень мало сил. В эту ночь одновременно рвали мосты: железнодорожный — Павловский и Кульбака, иванковский — Матющенко, дымерский — Пятышкин. И во все стороны были посланы разведки. Антон Петрович Землянко переправился на северный берег Тетерева и рыскал вдоль побережья. Бережной ушел по нашему следу на Кодру, проверить, нет ли преследования. Если бы немцы подтянулись на следующий день и повели наступление, нам пришлось бы несладко. Большая

часть боевых сил в расходе наличных нехватило бы, чтобы занять оборону вокруг села, а сзади — вскрывшаяся река. Но обычно осторожный Ковпак шел на этот риск, верно рассчитав, что одновременный удар в радиусе свыше ста километров собьет противника с толку. Он ошибся в одном: немцы все же нащупали нас в Блитче, но позже, а самый рискованный день мы провели относительно спокойно.

К вечеру стали возвращаться боевые роты. Первым — Матющенко, он дотла сжег вновь построенный иванковский мост и разогнал собравшихся на банкет строителей. Ночью вернулся Павловский, тоже с удачей. Важная магистраль Киев — Ковель была перерезана. Правда, батальон Кульбаки, стоявший заслоном со стороны Киева, сильно потрепали подоспевшие немецкие части, но мост все же взлетел на воздух.

Но уходить Ковпак не торопился — не вернулся еще Пятышкин, он оперировал под самым Киевом.

На третий день пришлось принимать бой. На этот раз основной удар немцы нанесли по батальону Матющенко. Он принял удар в обороне, а затем погнал фрицев и прижал их к реке. Пришлось немцам купаться. Из Блитчи с нами ушло много жителей. Из них мы в дальнейшем составили саперное отделение. Это имело свой резон, потому что в Блитче жили потомственные сплавщики и боцманы, гонявшие плоты по Тетереву и Днепру. Уже после войны я встречался с ними, и они рассказывали, что все лето хлопцы-пастушки находили в прибрежных кустах и песчаных островках, поросших верболозом, вымоченные и высушенные трупы немцев, застрявшие в половодье в ветвях. Когда вода сошла, они так и остались висеть на деревьях и кустах, словно какие-то чудовищные, уродливые плоды, взращенные войной.

Днем светило солнце, ночью играли звезды, перед утром прихватывал весенний игривый морозец. Играли гармошки, и всю ночь раздавались голоса, песни и хихиканье девчат. Весна брала свое.

Мы в штабе не придавали особенного значения

боевым действиям Матющенко и лишь на следующее утро выяснили, какой опасности подвергались мы, если бы Матющенко дрогнул и нам пришлось бы отступать через Тетерев. На северном берегу перед Блитчей есть большая — до километра в ширину — пойма реки, примыкающая к лесу. Ночью из Иванкова возвращалась группа разведчиков Матющенки, посланная туда два дня назад. Хлопцы ушли по льду, а обратно возвращались уже, когда тронулся лед. Моста тоже не было. Поэтому они вышли к лесу напротив Блитчи, надеясь пробраться к реке у села и там как-нибудь переправиться. Подошли они к реке на рассвете и рассчитывали, что из села им удастся вызвать лодку. Хозяин нашего дома принял партизан за немцев, и в тумане я увидел приближавшуюся к селу цепочку людей. На всякий случай мы выставили пулеметы, но огонь открывать приказал я лишь тогда, когда «враги» подойдут к берегу реки. Пока они путались по пойме, обходя вымоины, полные талой воды, уже совсем рассвело, и хлопцы, лежавшие за станкачами, узнали своих. Хозяин мой был сконфужен ошибкой не менее меня. Разведка принесла известия о том, что вчера большая группа немцев расположилась в обороне по опушке леса, ожидая, видимо, что наступавшие с юга части погонят нас через реку на лес. Туго пришлось бы нам, если бы нас прижали к реке. Разведчики привели с собой пленного. Он оказался полицаем, но группу немцев он тоже видел. Я только начал допрос, как в хату вошел Ковпак. Мне было неловко перед командиром, что я поддался панике, но когда Ковпак услыхал о вчерашней засаде, он сразу стал серьезным и кивнул мне:

— Це добре, що ти станкачи на берегу поставив. Треба добавить.

Я ободрился.

Дед сам начал допрашивать полицая. Тот все вопросы понимал по-своему, много раз повторяя, как его силой записали в полицию, и тянул обычную жалобную канитель, которую всегда разводят нашкодившие, безвольные люди, попавшиеся с поличным.

— Ты не переживания свои рассказуй, а кажи, скильки нимцив в лиси и що воны роблять! — говорил Ковпак, лаская плеткой полицая. Тот сразу стал говорить точно, ясно, кратко и вразумительно.

Немцев, видимо, было до батальона. Сегодня они предприняли наступление с севера. Наступление это выглядело смешно. Немцы шли по открытому месту, да еще вдобавок наш берег командовал над их берегом. То ли батальон не имел связи с наступающими с юга частями, то ли немцы не знали, что тронулась река, но они были видны нам, как на ладони. Мы легко погнали их. Со стороны Матющенко они вновь пытались наступать, но не особенно активно. Видимо, новые части знали, какая участь постигла их предшественников вчера, и не лезли на рожон, предпочитая постреливать из пулеметов с далекой дистанции, да наудачу кидали в село по одной-две мины.

В Блитче мы простояли несколько дней. Тут нас догнал отряд Могилы, который на время присоединился к нам. Держалась ясная, солнечная погода, из земли полезли зеленые побеги, на деревьях набухали почки. В Блитче я возобновил занятия фотографией. В предшествующие весенние дни мне почти не пришлось снимать. Днем было много дел с разведкой, а ночью я вел колонну на восток, на Киев. Кроме того, я никак не мог привыкнуть к новой обязанности — подписывать бумаги на расстрел людей. В Блитче все изменилось. Яркие, солнечные дни заставляли забыть на время о смерти, и хотя мы, приближаясь к Киеву, ежедневно вели бои, но это были как раз те дни, когда смерть кажется невозможной, несмотря на множество гибнущих вокруг. Уверенность в успехе операции не покидала Ковпака и Руднева.

Ковпак собрал блитченских лоцманов и сплавщиков и спросил:

— За сколько часов можете построить мост через реку?

Плотный, круглолицый Яковенко ответил вопросом:

— А що возить?

— Подводы, пушки...

— А танки будут? — деловито осведомлялся Яковенко.

— Танки? — серьезно переспросил Ковпак, затем, подморгнув мне, ответил лоцманам: — Танки пойдуть у другому мисци.

— Ага, ну так — за пять часов.

— Гляди, не промахнись. У нас за такие ошибки по с... дают.

— Понятно.

Все мужики были посланы на берег, где еще с мирного времени лежали заготовленные для сплава комли сосен. Из них дружно принялись вязать плот длиною в семьдесят пять метров. К вечеру мост был готов. Еще не спустились сумерки, как мы начали переправу. Форсировав Тетерев, взяли курс на север, уходя от Киева в овручские леса. С нами шел отряд Могилы, названный отдельной ротой. Лишь подпольщица Маруся, пройдя с нашей колонной три километра, свернула по лесной дороге вправо. Она шла по заданию Ковпака и Могилы в Иванков на связь с подпольщиками, имевшими в Киеве свои явочные квартиры и подпольный центр. Я проехал по дороге верхом с ней рядом несколько минут, а затем остановил коня.

— А знаете, Маруся, не окажись тогда мин, я бы застрелил вас как провокатора.

Она положила руку на шею лошади.

— Знаю...

— Не страшно?

— Нет. Я ведь знаю, что рано или поздно, а погибать на таком деле нужно.

— Почему же погибать?

Не ответив на мой вопрос, она задумчиво продолжала:

— Не хотелось бы только, чтобы от своих. Уж пусть лучше от вражеской пули... Прощайте...

И, пожав мне руку, быстро пошла по лесной просеке.

Я поглядел ей вслед еще несколько мгновений, потом, повернув коня, пустил его в галоп вдогонку уходившей колонне.

XXIX

После Блитчи мы несколько дней двигались на север. Форсировали реку Уж, оправдывающую свое название. Протекает она по совершенно ровной местности в крутых берегах, и, если б не сплошные извилины, в которых клокочет весенняя вода, ее можно было бы принять за канал, вырытый руками человека. Это была северная часть Киевщины, песчаная, покрытая невысокими дюнами. Они уже не пересыпались ветрами, а заросли мелким ельником и лишаями колючих трав, растущих на песке. Кое-где попадались болота и рощи. Ни больших рек, ни важных дорог, за исключением забытого шляха, идущего из Чернигова на Овруч, Ельск — Мозырь. Единственная железная дорога, связывающая эти города, не работала — мосты через Днепр и Припять были взорваны еще в начале войны.

На подходах к Ужу, ведя разведку, я все чаще слышал от местных старожилов название «Толстый Лес». После встречи с отрядом Могилы я по заданию Руднева включил в общий круг вопросов, которые нужно было выяснить о противнике, еще один: действуют ли в этих краях какие-либо партизаны? И почти все опрошенные жители отвечали:

— О там, за Шепеличами, есть Толстый Лес, там, слышно, есть партизаны.

И это вполне понятно. Где лес, да еще и «толстый», там должны быть партизаны. Лишь позже я узнал, что название «Толстый Лес» носило село, стоящее посреди чистого поля. Рядом с ним раскинулись села Тонкий Лес, Долгий Лес и еще много других.

Правда, недалеко от Толстого и Тонкого Лесов начинались действительно дремучие леса, идущие на север и восток от Припяти, Мозыря и Барановичей.

Мы дошли до этих мест в конце марта. Расположившись лагерем на южной окраине лесов, заняли окружающие села. Павловский, рвавшийся в бой, выпросил у командования три роты на «хозяйственную операцию», и налетом на райцентр Большие Шепеличи захватил склады муки, овса, табаку, соли.

Наступала весна травы и леса.

Погода становилась все лучше, и мы иногда останавливались на дневные стоянки не в селах, а в лесу. Как-то на дневке я, бродя вокруг лагеря, вышел на небольшую лесную поляну. В низинах еще держался снег, а на песчаных буграх было уже сухо, кое-где проглядывала зеленая трава.

Чувство неудовлетворения, которое не покидало меня за последние дни, и сознание не выполненного до конца долга раздражало меня. Вдали, как пчелиный рой, гудел голосами лагерь. Приглушенные лесом песни были особенно стройны и печально-мелодичны. Я перешел на другую сторону поляны, и звуки стали затихать. А затем слева от меня послышался треск сучьев и громкий голос Володи Зеболова. Он, как всегда, оставшись наедине, читал стихи. Через несколько минут на поляну вышел Руднев. Он ходил некоторое время по поляне нервной походкой, покручивая ус, потом, привлеченный голосом Зеболова, подошел к нему. Володя не замечал его и, яростно жестикулируя своими култышками, выкрикивал:

Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря!

— О чем шумишь, ярый враг воды сырой? — спросил комиссар, подходя к нему.

Зеболов улыбнулся.

— Да так, о жизни, товарищ комиссар. Сколько мужчин в Советском Союзе?

— Много, Володя, много...

— Я вот и думаю, что если бы каждый здоровый мужик убил одного немца.

— Как, сразу в один день? — засмеялся комиссар.

— Ну, не в один день, но все же в ближайшее время.

— А кто снаряды будет делать, патроны?

Володя молчал.

— Знаешь, дружище, французы подсчитали еще в прошлую войну, что на каждого солдата, лежащего в окопах, работают восемьдесят два человека.

— Восемьдесят два? — удивленно спросил безрукий солдат.

Комиссар сел рядом с ним и положил ему руку на колено.

— Так-то, брат. А мужчин без малого сто миллионов, отбрось стариков и детей, затем делающих снаряды и патроны...

— Это я все понимаю, но все-таки что было бы, если бы каждый здоровый мужчина убил немца, одного немца. Ну хотя бы из тех, кто не делает ни снарядов, ни патронов?

— Да пожалей же хоть немцев, кровожадный ты человек. Если бы каждый убил немца, война кончилась бы на другой же день.

— Вот видите.

Они помолчали. Затем Руднев, смахнув набежавшую тень тоски, в последние дни часто омрачавшей его красивое лицо, повернулся к Володе:

— Что легче — воевать или переживать войну в тылу?

— Смотря кому...

— Ну, допустим, человеку честному и не трусу...

— Не знаю...

— А мне кажется, что во время войны для человека с чистой совестью самое легкое дело быть на фронте...

— Ну да? А кто же будет родину любить? — криво усмехнулся Володя.

Руднев, казалось, не слышал его и продолжал:

— От войны страдают больше всего: из вещей — стекла, из животных — лошади, а из людей — жен-

щины и труженики тыла. Да, вот эти восемьдесят два человека, работающие на каждого из нас...

— Ну, товарищ комиссар, всякая тыловая... — Володя запнулся.

— Сволочь? Да? Сволочь — это верно, а вот мать, у которой трое — пятеро детей голодают, а она с утра до ночи делает тебе патроны, хлеб, гимнастерку, — это герой, перед которым ты должен стать на колени, Володя... И ничем, никаким своим военным героизмом ты не поднимешься выше ее... В чем наш военный подвиг? Научиться не бояться смерти, привыкнуть к мысли о том, что тебя могут убить, уметь перенести боль, боль ранения — вот ты и герой. Душа у тебя чиста. Ты воин — защитник родины, на тебя вся страна смотрит, даже если ты добежал до Волги, все равно на тебя делают патроны, на тебя работают ученые, за тебя молятся старушки...

— Нужны мне их молитвы...

— Нужны или нет, а это так... Эх, если бы можно было никогда не воевать, не содержать этих дорогостоящих армий и не тратить золото на награды героям... И чтобы самые храбрые люди были эпроновцы и... милиционеры.

Володя угрюмо молчал.

— Или если бы можно было воевать без этого чувства долга перед тылом, который все отдает тебе, последний кусок хлеба, железа и тяжелый изнурительный труд. Не будь этого, я согласен воевать хоть всю жизнь. Война обогащает человека, закаляет характер, соскабливает грязь себялюбия, обмана и угодничества, делает тебя человеком высокого роста, вырабатывает волю, учит ценить жизнь.

— Ценить жизнь?..

Володя вскочил с пенька, изумленно глядя на комиссара.

— Да, да, только то, что можно потерять каждый миг, становится бесценным...

— А как же храбрые милиционеры?

— Да, можно было бы воевать всю жизнь, если бы не это неловкое чувство перед теми восьмидесятью

человеками, за счет которых ты чувствуешь себя героем... Чувство долга̀ и до́лга...

— Как это долга̀ и до́лга?

— Ну, долга̀, вины то есть. Я все время как бы виноват перед ними, виноват, как дармоед, выдумавший себе шинель с блестящими пуговицами, вероятно для того, чтобы ими прикрыть свою совесть...

— Вы виноваты, товарищ комиссар! Семен Васильевич! Да бросьте вы меня разыгрывать...

У Зеболова на глазах блестели слезы.

— Нет, я не разыгрываю тебя, Володя, милый ты мой солдат... — тихо и печально сказал Руднев. Он стоял, опершись плечом о ствол старой сосны, перед безруким автоматчиком.

Я тихо отошел в сторону. Было стыдно за мое невольное подслушивание, радостно, что я слышал этот разговор, больно, что не все, кому довелось командовать жизнью людей на войне, были подобны Рудневу. И я подумал: «Вот какими должны быть те, у кого в руках тысячи человеческих жизней...»

XXX

На второй день стоянки недалеко от Долгого Леса я нашел большой выгон, пригодный для посадочной площадки. Песчаная почва уже успела подсохнуть, грунт был твердый. Смущало меня одно обстоятельство: рядом с выгоном были карьеры, где добывали камень. Они представляли собою глубокие ямы, выбитые динамитом. Зазевайся летчик и посади самолет не точно в указанном кострами месте — от машины не собрать и винтиков. Ковпак, как всегда решительный в таких случаях, приказал подготовлять площадку, а сам дал радиограмму с координатами. Все же, опасаясь соседства карьеров, я собрал все имевшиеся электрофонари с красными и зелеными шторками и расставил по краям поля сигнальщиков, указывающих дополнительно границы посадочной площад-

ки. Была она немного поката в одну сторону, немного тесновата, но в общем хороша.

В первый вечер мы не слишком надеялись на прибытие самолетов, но все же для очистки совести зажгли костры, так через часок после наступления темноты. Дежурила шестая рота, натренированная в этом деле. Не успели еще завязаться бесконечные разговоры у костров, как мы услышали рокот моторов.

— Не может быть, чтобы в первую ночь, да еще так рано! — заметил комроты майор Дегтев.

— Немец проходящий, — сказал Деянов позевывая.

— Вот он тебе, проходя, сбросит полтонку, — с тревогой сказал кто-то из темноты.

— Ага, — шептал Деянов, задирая голову к звездам и напрягая слух. — Разворачивается.

От костров стали одна за другой отделяться фигуры и исчезать в темноте.

Бойцы шестой, не особенно боевой, роты уже не раз получали бомбовые гостинцы во время своих бесконечных дежурств.

В небе машина делала круг над нами, заходя где-то над лесом и снижаясь.

— Гасить костры! — скомандовал майор Дегтев. Но у костров уже почти никого не было. Один-два смельчака попытались выполнить команду, однако огромные поленья еще ярче вспыхивали оттого, что их шевелили, а вверх летели искры.

Самолет шел прямо на костры, резко снижаясь, почти пикируя.

«Почему так тихо?» — думал я, готовый броситься в карьеры, где было меньше шансов угодить под осколки. И вдруг, сразу выключив мотор и включив две фары, машина пошла на костры. Теперь ясно: это «Дуглас»! Сейчас он, как обычно, пройдет на бреющем над кострами и осмотрит площадку, а пока будет делать заход, я успею собрать разбежавшихся людей.

«Надо осветить карьеры и выпустить две белые ракеты». Я заорал: «Все по местам!» — и выбежал

на поле в тот момент, когда машина подходила к первому костру.

Вдруг сразу за костром «Дуглас» подпрыгнул раз — сильно, другой — меньше, и, тормозя, взревели моторы. Пока я стоял в недоумении, машина уже бежала прямо на меня, замедляя ход. Не успели найти красную ракету, чтоб предупредить (это все равно было бы поздно), как самолет затормозил метрах в двадцати от меня и, постояв несколько секунд, деловито стал разворачиваться в сторону крайнего костра, освобождая посадочную площадку.

— Лунц, щоб я вмер, Лунц! — услышал я сзади восторженный голос Ковпака. Дед лежал на земле, подстелив свою мадьярскую шубу. Я его не заметил.

— Да, похоже, — и я подбежал к самолету. Выключив моторы, из кабины стали вылезать люди в меховых комбинезонах. Это был действительно Лунц.

Когда улеглось первое волнение, были произнесены первые слова приветствий, Ковпак крепко потряс руку Лунцу, а затем отвел его в сторону, очевидно желая, чтобы не слышали его подчиненные.

— Сам садыв машину?

— Сам.

— А чого не раздывывся?

— А что?

— Все летчики первый раз раздывляються, а потом...

— А что его там увидишь? Это так, для очистки совести...

— А що, хиба летчик свою смерть николы не бачыть?..

— Правильно. А кроме того, у нас с вами уговор: если вы даете радиограмму, значит, машину садить можно...

Ковпак молчал. К ним подошел Руднев.

— Семен Васильевич, от товарищ Лунц до нас прилетив...

— Вижу! Хорошо сели, товарищ. Только очень уж неожиданно...

— Доверяю вам. Такой уговор. Все равно ночью садишься вслепую.

— Доверие — большое дело. Надо чувствовать плечо соседа, с которым лежишь в цепи, идешь в атаку...

— Так це ж в пехоти, Семен! А то ж авиация, все равно, що кавалерия або матросня. Так у нас було в ту войну.

— А в эту иначе, товарищ Ковпак, — серьезно ответил Лунц.

«Да, надо чувствовать локоть товарища», — думал я всегда, вспоминая эту посадку Лунца.

На следующий день немцы повели наступление. То ли их раздразнил Павловский своей «хозяйственной операцией», то ли пронюхали о посадке самолета в степи, но на села, занятые нами, наступало несколько рот, подброшенных на машинах из Чернобыля и Овруча. Мы дали бой. Нам надо было удержать выгон еще хотя бы на эту ночь. Лунц вчера прилетал в разведку, на сегодня нам обещали три машины с посадкой. Это значило, что человек пятьдесят раненых полетят на Большую землю. Правда, в результате этого боя мы имели еще на одну машину раненых, но площадку удержали.

Последней машиной улетел в Москву Коробов. Мне было жаль расставаться с этим смелым корреспондентом. Но я понимал, что больше ему у нас делать нечего... Какая корысть, если он сломит у нас шею? Может быть, многие из нас погибнут, а он расскажет о нас.

— Будь здоров, Леша!

— Ты что печален, Петрович? — участливо спрашивал он.

— Да так...

— В Москву хочется?

— Конечно. Но я не об этом... Обидно все-таки. А вдруг так: нарвешься на беззубую и... «песен про нас не споют». Мы ведь не заслужили этого...

— Ну, брось, все будет в порядке.

— Письмо передай.

— Завтра утром буду у твоих, поцелую Женьку...

Вдалеке в звездное небо взлетали трассы пулеметных очередей. Это перестреливались немецкое оцепление и наша оборона.

— Как думаешь, сможет Лунц набрать высоту? — спросил я Коробова.

— Нет, конечно. Проскочим на бреющем. Не успеют изготовиться.

Замолчали. Я вспомнил о наших мечтах, о проекте, который вез Коробов в Москву.

Прощаясь у самолета Лунца, я пожал ему еще раз руку и отвернулся. На сердце было невесело.

— Да что ты, Петрович?

— Да так, Леша! Понимаешь, обидно, если... «и сказок про нас не расскажут».

Взревели моторы. Корреспондент «Правды» скрылся в люке. Меня ветром отбросило в сторону.

Вздымая пыль, машина Лунца на бреющем ушла на восток.

Еще через минуту небо в той стороне рассекли снопы огненных нитей.

Мы ждали, не услышим ли взрыва и не полыхнет ли в небо огонь.

Трассы потухали, горели звезды, наступила тишина.

— Пролетив, — вздохнул Ковпак. Затем еще раз прислушался и, вывернув руку тыльной стороной, глянул на светящийся циферблат. — Можно снимать оборону.

Во все стороны разлетелись связные с приказом Базымы.

Мы уходили в леса.

XXXI

Мне уже не улыбалась лесная жизнь. Лихость партизан Ковпака, всего полгода назад представлявшаяся сверхъестественной и богатырской, стала теперь обычным, нормальным делом, а осторожность комиссара казалась излишней. По всему чувствова-

лось, что командование считало рейд законченным и подыскивало базу для организации нового аэродрома.

На восток от нас была Припять, на запад — Овруч, железная дорога на Мозырь и бесконечные леса и болота, полностью очищенные от немцев и полиции. На сотни километров вокруг здесь хозяйничали партизаны.

Отряды и соединения Сабурова, Маликова, Бегмы и других вожаков навели там свой порядок. Заканчивающийся сейчас рейд как бы расширял этот край. Соединение Ковпака обошло партизанский район на 150—200 километров дальше внешней окружности партизанской зоны. Мы проходили по местности, где уже была подготовлена почва для партизанских дел, — слухами, подпольными организациями и бурлившим в народе сочувствием. Но открытых и активных действий партизан до нас там еще не было. В очень немногих точках нашего пути побывали разведчики и диверсанты осевших в лесах соединений, но они проходили тайком, по ночам, молниеносно скрываясь при первом появлении врага. Действующих отрядов, за исключением отряда Могилы, не существовало. Да и этот «дикий» отряд до соприкосновения с отрядом Ковпака действовал на Киевщине просто потому, что туда занесла его беда или географическая путаница военных дней. Сейчас он двигался с нами на правах отдельной роты. Где-то поближе к матери городов русских, в Дымере или Пуще-Водице, подпольно работали коммунисты и комсомольцы, державшие связь с Могилой. Нити к ним вели через Иванков. Поэтому и пошла в Иванков Маруся, связавшая нас с отрядом Могилы и предупредившая о минных полях.

Из Долгого Леса, в ту же ночь как улетел Лунц, мы форсировали последнюю шоссейку Гомель—Овруч. За шоссейкой уже начиналось Полесье. Шоссе почему-то охранялось: днем патрулировали бронемашины, а в крупных населенных пунктах стояли гарнизоны, иногда до роты. Это показалось мне странным. Шос-

се не имело значения, потому что мост через Припять был под корень взорван нашими войсками при отступлении в 1941 году. Никаких попыток наладить мост или понтон со стороны немцев не отмечалось. Шоссе шло от Овруча до Припяти и там, у села Довляды, обрывалось. Оно заросло травой и бурьяном и походило на мостовую в захолустных городках.

Но почему же такая охрана? Непонятно...

Отойдя от шоссе на север километров двенадцать, мы расквартировались в большом селе Мухоеды. Чтобы увериться в безопасности стоянки, провели ближнюю разведку. Сразу же выслал я и дальнюю — на Припять. Хотелось раскрыть, понять причины странного поведения немцев на шоссе. До Овруча разведчики не дошли. Группа вернулась с полдороги, имея двух раненых.

В Довляды был послан Антон Петрович Землянко. Фельдшер по образованию, он не пожелал работать по своей специальности и был командиром отделения главразведки во взводе лейтенанта Гапоненко. (Вторым отделением у Гапоненко командовал Володя Лапин.) Антон Петрович, так звали его в разведке, отличался пытливостью, верным глазом и удивительной молчаливостью. Вначале я пытался получать у него сведения обычным путем, как у всех разведывательных командиров: они являлись ко мне прямо с разведки и докладывали устно все, что удавалось разузнать интересного; я на ходу делал заметки, задавал вопросы. Отдохнув, разведчик писал подробное донесение. Доклады же Антона Петровича как-то не удавались. Он являлся ко мне и упорно молчал. Вначале он производил впечатление человека, не выполнившего задания. Лишь немного привыкнув к нему, я понял, что немногословные его сообщения добывались с бо́льшим трудом и были ценнее, чем болтовня иных словоохотливых разведчиков. Часто случалось так, что хлопцам ничего не удавалось увидеть самим и сведения они получали только у мирных жителей. В таких сведениях мы тоже нуждались, но это были скорее черновые данные для

начала разведки, а не те наиболее важные черты портрета врага, узнав которые, командир принимает решение. Для этого требовались точность, факты и их понимание. Но что было делать с Антоном Петровичем, когда он просто молчал?

Наконец я нашел к нему подход.

Обычно, возвращаясь из разведки, он распускал у моей квартиры разведчиков по домам, и я слышал его голос: «Зайду...» — дальше, очевидно, следовал жест, указывающий, куда зайдет, зачем и на сколько времени. Хлопцы понимали его с полуслова.

Затем фельдшер входил ко мне, становился у порога хаты, вытянувшись и взяв под козырек кепки, произносил: «Явился...» — и тыкал пальцем на циферблат больших карманных часов «ЗИМ», переделанных на ручные. Это должно было означать: «прибыл в положенный срок». Затем он кашлял — удовлетворенно, смущенно или вопросительно. Это тоже много значило. Я уже привык к этой манере и тоже молча подавал ему чистый лист бумаги. Землянко садился к свету и писал. Рапорт его тоже не походил на обычные рапорты, начинавшиеся словами: «Настоящим доношу, что разведывательное отделение, выполняя ваше задание, достигло и т. д...»

Цидула Антона Петровича разделялась на пункты: первым стояло: *видел...* и шли сухие факты, цифры, перечисления. И можно было ручаться, что там было написано лишь то, что он видел собственными глазами. А видеть он умел. Второй пункт гласил: *думаю...* Это был краткий вывод из всего предыдущего. Если речь шла о передвижении войск, то куда и откуда, расчет времени; если об оборонительных сооружениях, то об их назначении и т. д. Третий пункт совсем не по форме. Он носил заглавие: *хлопцы говорят...* Вот тут в нескольких фразах укладывались сведения, добытые устным опросом жителей, лесников: эту часть разведки выполняли хлопцы из его отделения (основную часть разведки он всегда вел сам). На обратном пути ему передавали слухи, бабьи сплетни и стариковские мудрые заключения, — их тоже

обязан знать и понимать разведчик, — а заодно подкармливали его салом, хлебом или огурцами, добытыми в процессе этих собеседований.

Вернувшись из разведки в Довляды, Антон Петрович вошел с обычным докладом.

— Явился... с Припяти, — добавил он. Циферблат сегодня не фигурировал. Отправляя людей в дальнюю разведку, я не ставил точных сроков возвращения, предупреждая лишь, сколько суток могут они пробыть в поисках и куда им следует явиться. На это задание Землянко получил трое суток; вернулся же он на пятые.

— Почему задержался, Антон Петрович? — спросил я, подавая бумагу.

— На тот берег переправлялся.

— Зачем?!

— Узнать. Шоссе... Есть ли там охрана.

— Ну?

— Охраны нет...

— Интересно...

— Очень даже интересно...

— Значит, шоссе охраняется только до реки?

— Точно.

Я, удивленный этим необычным потоком слов, смотрел и ждал, что еще скажет мне Антон Петрович.

— Потом по берегу пошел. Вверх.

— Куда?

— До Юрович...

Я взглянул на карту — до Юрович по прямой было не менее тридцати пяти километров. Да тридцать пять обратно. Теперь понятно, почему Землянко задержался. Я ждал дальнейших объяснений, но словоохотливость его исчезла. Примостившись у лампы, он писал. Я глянул через его плечо.

«*Видел,* — написал разведчик и, подумав, добавил: — *сам. Немцы моста в Довлядах не строят. Нет даже подвоза леса. Дорогу охраняют сильно. Патрули по шоссе — через каждые два часа. Бронемашина курсирует два раза в день. Пошел по реке вверх.*

Везде идут работы. Установлены бакены, где остались старые — покрасили. Взяли на учет всех бакенщиков и лоцманов. Выдают им паек — два пуда на месяц».

— Неужели готовятся к навигации?

Он взглянул на меня и снова склонился над бумагой:

«Думаю. Через неделю начнется навигация на Припяти... и, наверное, на Днепре...»

Через несколько минут, дождавшись, пока Землянко закончил свой немногословный рапорт, я пошел к командованию. Руднев прочел рапорт молча, а затем передал Ковпаку. К моему немалому удивлению, Ковпак сразу же увлекся возможностью разгромить немцев на воде.

Мне было приказано немедленно снарядить контрольные разведки, и пока я выполнял это распоряжение, у командиров уже, видимо, созрел план действий. Я застал Ковпака, Руднева и Базыму за картой. Карта была необычной по масштабу и размерам. Вся Украина, Белоруссия и Польша лежали на столе: бассейны Вислы, Западного Буга, Припяти и Днепра. Внимательно вглядевшись в голубые вены рек, я уловил ход мыслей Руднева и Ковпака и понял до конца, какое открытие сделал Антон Петрович. Мы находились вблизи водной коммуникации, связывающей Вислу с Днепром, Черное море — с Балтийским, Украину — с Польшей и Восточной Пруссией. Давно был построен Днепро-Бугский канал. Смутно вспомнились уроки географии и выветрившиеся из памяти за ненадобностью слова: «Королевский канал соединяет Балтийское море с Черным. Это старый водный путь «из Варяг в Греки»... Но сейчас карта ясно говорила нам: с Вислы через Буг до Бреста, а дальше по каналу вдоль реки Пины до Пинска и дальше по Припяти до Днепра могли итти речные пароходы, баржи, флотилии и перевозить грузы, войска, боеприпасы, хлеб. Если сведения Землянко верны, — а мы в них почти не сомневались, — гитлеровское командование задумало восстановить эту вод-

ную магистраль, способную перевезти сотни тысяч тонн грузов из Германии и Польши на центральный и южный участки фронта. Фронт перешагнул к этому времени через Дон, Донец и подошел к Десне. Своей дугой у Курска он уже упирался в Днепровский бассейн. Ковпак загорелся идеей срыва навигации и фантазировал, как юноша, выдумывая разные варианты. Базыма вымерял на карте расстояния, прикидывал ширину реки и высоту берегов.

Через три дня вернулись разведчики, подтвердившие сведения Антона Петровича, и мы стали готовиться к движению на восток. Решено было перейти через Припять и бить врага с левого, более высокого, берега реки.

Накануне выхода из Мухоед пришло известие от связных Могилы о гибели в иванковском гестапо нашей подпольщицы Маруси. Ее выдали предатели, когда она уже выполнила свое задание и выходила из города, держа путь на Толстый Лес. Она пробыла в застенке два дня, а на третий ее повесили на площади. Связной рассказывал, что привели ее истерзанную на площадь, куда были согнаны жители. Она еле шла. Лицо, руки в синяках и крови. Одежда изорвана в клочья. Сверху был накинут мешок с прорезью для шеи, покрывавший худое тело женщины. На мешке тоже были кровавые пятна. Она двигалась с трудом, но когда ее вывели и поставили на машину, женщина, взявшись рукой за петлю, крикнула: «Да здравствуют партизаны! Смерть немецким оккупантам!» — и сама одела петлю на шею. Мы были уверены, что она не выдала товарищей, хотя никто не знал, что происходило в застенках гестапо.

А вероятно, это было так. Ее били, мучили, истязали, но она молчала. Какую силу воли, какой героизм проявила эта женщина, мать и простой человек, знают лишь застенки гестапо. Она осталась в моей памяти как сестра и мать Черемушкиных, Семенистых, Мудрых и Шишовых... С того дня, как я узнал о гибели подпольщицы Маруси, я преклоняюсь перед женщинами.

Женщине вообще не полагается быть солдатом, и на судьбах женщин-солдат особенно ярко видно наше моральное превосходство над врагом.

Много погибло таких, как Маруся-подпольщица. И да будет стыдно тем — оставшимся в живых — кто забывает о них!

В Мухоедах пришла к нам в отряд еще одна женщина. Звали ее Александра Карповна. Я увидел ее в первый раз во взводе Гапоненко. Зайдя как-то к разведчикам, я обратил внимание на чистоту в хате. Посидев немного, заметил, что наши ребята вели себя удивительно чинно. За столом сидели Гапоненко, Зеболов, Землянко и читали.

Когда я, поговорив с ними, вышел вместе с Зеболовым из избы, он спросил:

— Видали хозяйку?

Мне показался необычным его восторженный голос.

— Ох, и женщина! Бритва острая. Так хлопцев прибрала к рукам, материться совсем перестали.

— Ну-у? — недоверчиво протянул я.

— Ага. Книжки читают. Прямо не квартира, а красный уголок.

— Чем же она вас проняла? — допытывался я, вспоминая хозяйку, женщину лет двадцати восьми, чернобровую, длиннолицую, с угловатой мужской фигурой. Ее никак нельзя было назвать красивой, ласковой или игривой.

— А кто ее знает! Как глянет, так хлопцы и замолкнут, а если головой покачает, — готов сквозь землю провалиться.

Второй раз я увидел ее в штабе за несколько дней до выхода на Припять.

— Я хочу в партизаны, — обратилась она к Базыме.

— Дед-бородед, по твоей части, — неизвестно почему подмаргивая мне, сказал начштаба. Меня покоробила эта неуместная игривость Базымы.

Женщина подошла ко мне и, по-солдатски стукнув высокими каблуками и вытянув руки по швам,

повторила те же слова. И замолчала, устремив на меня взгляд черных и суровых глаз. Голос ее был обычен, но слова она как бы откалывала ломтиками от ледяной глыбы души. Нос прямой, большой, некрасивый, рот и крепко сжатые губы указывали на сильный характер. Широкие черные брови, сросшиеся на переносице, — они взлетали на узкий невысокий лоб черной широкой ижицей. Но сильнее всего были глаза, упрямые, жесткие, холодные и, казалось... честные...

Поеживаясь под ее взглядом, я спросил:

— А где вы хотите партизанить?

Базыма кашлянул в кулак. Он последние дни донимал меня намеками на весну и на усиленный якобы интерес дамского пола к моей бороде. Женщина вопросительно подняла одну бровь.

— На кухне или в санчасти? — брякнул я сердито.

— Нет, я могу пойти только в разведку... — спокойно возразила она, словно огрев меня хлыстом.

— Ого... — сказал Базыма и вышел, оставив нас наедине.

Я скороговоркой, почти не слушая ответов, стал задавать вопросы, ставшие профессионально-стандартными.

Александра Карповна, двадцати девяти лет, белоруска, беспартийная, учительница, образование высшее, муж на фронте, есть дочь, живет у бабушки под Минском, — отвечала она мне.

— А что вы можете делать в разведке?

— Это ваше дело. Одно могу сказать: сделаю все, что нужно командованию...

— Это опасно и непривычно...

— Я могла бы пойти в Овруч. Там среди словацких офицеров у меня есть знакомые.

— Откуда знакомые?

— Стояли у нас. Я специально познакомилась.

— Зачем?

— Была уверена, что рано или поздно к нам придут партизаны. А среди словаков есть много сочувствующих нам.

— Когда можете пойти в Овруч?

— Хоть завтра...

Это меня вполне устраивало. Попытки проникнуть в самый Овруч мне пока не удавались, но и сведений от разведок, бродивших по окрестностям города, было достаточно, чтобы проверить учительницу, если она соврет. Я таким образом убивал сразу двух зайцев.

— Хорошо. Пойдете завтра. После возвращения продолжим разговор.

— Проверяете? — вдруг спросила она меня в упор.

Впервые в своей разведывательной работе я не знал, что ответить.

— Это хорошо, так и надо. Я согласна. — И, пожав мне крепко, по-мужски, руку, вышла.

Я чувствовал себя не совсем ловко, когда вошел Базыма.

— Завербовал? — насмешливо спросил он меня. — Ох, как бы эта барышня тебя не завербовала. Весна все-таки... Тут и нам, старикам... — сладко потягиваясь на стуле, поддразнивал он меня, как некий партизанский мефистофель.

— Идите вы к дьяволу, Григорий Яковлевич, — хлопнул я дверью, сквозь которую несся вслед мне сатанинский хохот Базымы.

На следующий день Карповна ушла в Овруч. Я слыхал и раньше, что разведчики звали ее так. В штабе тоже стали звать новую разведчицу Карповной.

Она вернулась в Мухоеды через два дня после известия о смерти Маруси и за день до нашего марша на Припять. Сведения Карповны своей точностью не вызывали сомнений. Мы приняли ее в отрядную разведку.

На следующий день, пройдя на восток сорок километров, мы начали четвертую переправу отрядов Ковпака через осточертевшую нам всем Припять.

XXXII

Штаб разместился в красивом просторном селе Аревичи, километрах в двух от реки.

После проверочных разведок, перекрывших и уточнивших первые данные Антона Петровича о значении Припяти для немцев, Ковпак принял решение сорвать навигацию.

Район Аревичей вполне соответствовал замыслам деда. Ковпак и Руднев объезжали позиции, намечая расстановку сил. Они вникали во все мелочи, как перед большой и сложной операцией.

Прошло несколько дней, а немцы по реке не шли.

Я уже начинал раскаиваться в том, что вовлек командование в это темное, как полая вода Припяти, дело. На второй день мы с Рудневым поехали к Кульбаке в село Красноселье.

— Как, глуховцы, много рыбы наглушили? — теребя черный ус, спрашивал комиссар Кульбаку.

— Пока ловим удочками. А от нимець поплыве, тоди нимця и рыбу глушыть будемо, — с сильным украинским акцентом отвечал Кульбака.

Глушить рыбу категорически запрещалось командованием. Берегли тол и гранаты.

Обменявшись еще двумя-тремя шутливыми фразами, перешли к делу. Последний приказ командования обязывал Кульбаку «выставить крепкий заслон на подходе к реке, возле дамбы, что против села Довляды». Это село находилось против Красноселья, на правом берегу Припяти. Мы стояли на левом.

Я сидел в штабе над картой и искал русло Припяти. Где русло этой большой судоходной реки? Где в этом затейливом узоре голубых кружев проплывают суда и баржи?

Весной сотни болот и болотец, топей, озер и ям, «стариков» и «стариц» оплетают реку, стерегут ее и стоят крепким естественным барьером на подходах к ее берегам.

Вот оно русло! Чистое, широкое. Выйдя из «кружев» к простору полей у большой белорусской деревни

Дерновичи, оно извивается к селу Аревичи и далее к Красноселью. В Дерновичах стоял батальон Матющенко, в Аревичах — штаб и первый батальон, в Красноселье — батальон Петра Кульбаки.

По шоссе из Коростеня немцы быстро могли подкинуть в Довляды свежие силы и переправить их на наш берег. Заняв Красноселье, противник мог ударить нам в тыл и прижать к реке.

Батальон Кульбаки обеспечивал безопасность с юга и перекрывал шоссе.

Мы не знали, когда немцы пожалуют в гости, но, судя по воде, которая улеглась в берега, это должно было случиться скоро. Поговорив с Кульбакой и побывав на берегу, мы вернулись в Аревичи.

Уже стемнело. Ехали крупной рысью по песчаным кучугурам, заросшим верболозом. Казалось, в кустах, освещенных яркой луной, к нам на перевоз гурьбой бегут какие-то таинственные существа. Перед Аревичами перешли на шаг. Быстрые тени исчезли. В одной из хат недалеко от штаба пели.

— Заедем к разведчикам. — Комиссар спрыгнул с коня, привязал его у калитки и зашел во двор.

В хате, где жил командир разведки капитан Бережной, находилось еще несколько разведчиков: Черемушкин, Мычко, Архипов, Землянко, Лапин, Володя Зеболов.

Только что кончили ужинать.

— Товарищ комиссар, чайку с нами!..

— Не откажусь.

Черемушкин подсел к Рудневу:

— Скоро с курорта тронемся, товарищ комиссар?

— С какого, Митя?

— С Аревичей!

— Почему с курорта?

— Весна... фрицев нету... солнышко... речка под боком...

Руднев рассмеялся, за ним разведчики.

— Прыткий ты, Митя! — Руднев внимательно глянул на Мычко и улыбнулся. — На все свое время!.. А что, ребята, не спеть ли нам? Ну, хотя бы...

— Хлопцы! Любимую комиссарову!

В чистом поле, поле под ракитой,
Где клубится по ночам туман...
Э-э-х, там лежит зарытой,
Там схоронен красный партизан... —

запел Руднев. Мигала коптилка, и длинные тени метались по стенам. Семен Васильевич задумался. Я тихо вышел на улицу, вскочил на коня и поехал к квартире Ковпака. Командир сидел на крылечке, щипал бороденку, думал, курил. Я пустил коня во двор, а сам, чтобы не мешать деду, присел за углом на завалинке. Я любил наблюдать Ковпака, когда он оставался наедине с самим собою.

Вдалеке виднелось зарево. Неслышно по темной улице прошла в караул смена.

Ковпак выругался и, подойдя к воротам моей хаты, забарабанил по ним плетью.

— Комиссар приихав?

Я поднялся к нему навстречу.

— Приехал.

— А де вин?

— У разведчиков.

— А... Ну, Вершыгора, я думаю завтра нимци по ричци поплывуть.

— Ждем уже который день.

— Ну и що?

— Ребята бузят.

— Чого?

— Курорт, говорят. Солнце, вода, песочек...

— Завтра будут фрицы.

— Откуда нам знать?

— От так командир разведки? Це я тебе должен спытать.

— Никаких сведений пока не имею, товарищ командир.

— Товарищ командир, товарищ командир... А я кажу — будуть. От побачиш. Щоб я вмер, будут завтра нимци.

— Посмотрим.

— Кажуть, пид цыми Аревичами богато ракив. Ох, и пидгодуемо нимцями ракив.

Я не придавал большого значения его предчувствиям, но то, что речной проект, в котором я уже сам немного разочаровался, владел всем существом старика, было очевидно. Дед порой умел увлекаться, как юноша.

И все же он оказался прав. На следующий день немцы пришли. Вернее, приплыли. В середине дня послышалась стрельба. Со стороны Красноселья, занятого батальоном Кульбаки, шквал огня то вспыхивал, то опять затихал.

— А що, я не казав? — обрадовался Ковпак. — Политуха! Коня!

Ординарцам и приказывать не надо было. Как только вспыхивал где-либо бой — первое дело седлать командирских коней. Политуха, ординарец Ковпака, уже вел высокого рыжего коня, ординарец Руднева Дудка — белую полукровку-арабку.

Тут же горячил своего коня и лихо гарцовал командир батареи Анисимов. Мне ординарца не полагалось, и свою мохнатую сибирку я седлал сам.

Бой у Кульбаки разгорался все сильнее, гукали бронебойки, длинные очереди станкачей блудливо воркотали над весенней рекой, лозняком и песками...

Я уже сидел верхом на лошади, когда к штабу прискакал связной второго батальона.

Кульбака прислал в штаб за подмогой. Ковпак вызвал из пятой роты командира орудия, худощавого высокого Николая Москаленко.

— Бери... — сказал Ковпак, затянулся махоркой, закашлялся и погасил пальцем цыгарку, — бери, Микола, свое орудие и на галопе скачи до Кульбаки. Треба допомогти хлопцям добить немецкие поплавки.

Через полчаса, отдав нужные распоряжения, Ковпак, командир батареи Анисимов и я верхом выехали из штаба к месту боя. Я задержался у разведчиков минут на пять, надеясь догнать галопом Ковпака и Анисимова. Выезжая из села, увидел, что они уже отмахали больше километра чистым полем. В это

время над улицей с воем пронеслись два самолета. Лошадь моя шарахнулась в огород и остановилась под крайним сараем. Самолеты взмыли ввысь и высоко в небе стали разворачиваться друг за другом. Это были «Мессеры». Немцы иногда использовали их против партизан, нагружая небольшим запасом бомб. Кроме того, «Мессеры» штурмовали на бреющем полете, обстреливали наземные цепи, пользуясь своей быстротой и скорострельными пулеметами, установленными в плоскостях.

Два конника скакали галопом по открытому полю. До кустов лозняка, где им можно было укрыться, оставалось не меньше километра. На таком же расстоянии находился и ветряк, одиноко стоявший среди поля. Самолеты сделали круг и пошли вниз друг за другом, пикируя на кавалеристов. Один из них ловко на полном ходу соскочил с коня и исчез между маленькими кучками соломы или навоза, разбросанными в поле, другой кубарем скатился с коня и маленьким комком лежал на дороге. Самолеты прошли над людьми и конями. Дорога и поле вздымались дымками и пылью, а через две секунды до моего слуха долетела длинная очередь нескольких пулеметов и авиационных пушек. Кони без седоков бежали то по дороге, то сворачивали в стороны и, наконец, сделав большой круг, поскакали к селу.

Самолеты спикировали еще два раза на реку, откуда слышалась редкая перестрелка, и ушли на север. Я вскачь понесся туда, где только что ехали Ковпак и Анисимов. Доскакав до места, где они спешились, услышал сзади свист. Круто повернул коня. На копне лежал Ковпак и курил. Он запахнул полы своей шубы и сказал мне:

— Кони в село забиглы. Придется тебе самому до Кульбаки добыраться. Анисимов, гайда в село.

На оклик Ковпака выполз откуда-то командир батареи. Сильно хромая, подошел к нам. Лицо его было поцарапано и все в пыли.

— Я думав, ты умиешь на ходу скакать с коня, —

засмеялся Ковпак. — Бачу — «Мессеры» на нас идуть, кричу: скачи с коня, а вин — бач!

Теперь я понял, что человек, так ловко спрыгнувший с коня, и был Ковпак, а кубарем слетевший — Анисимов.

— До села дойдешь. Ну, пишлы! Катай, Вершыгора, до Кульбаки. Хай кинчае... Я прийду потим.

И поддерживая Анисимова, смеясь, дед заковылял в село.

Я поехал к реке, где добивали пароход.

Первый, кого я увидел, был начштаба Кульбаки — Лисица. Фамилия эта действительно оправдывала его повадки и характер. Хитрый и пронырливый, он особенно хорошо наладил агентурную разведку, умел допрашивать пленных, особенно полицейских, которых сразу сбивал с толку, и ловко поставленными вопросами выпытывал все, что ему было необходимо. Я не сразу узнал его. Он был в длинном одеянии с неимоверно блестящими пуговицами: не то пальто, не то сюртук тонкого черного сукна.

— Капитанское, — сказал он мне. — А капитан там, в воде загорае. Вот документы...

Мы вошли с ним на палубу судна, кругом были следы крови, валялось несколько трупов.

Я просматривал документы. Солдатские книжки, толстый в хорошем переплете паспорт. «Hoffnung» («Надежда») было вытеснено на них золотом. Взглянул на спасательные круги — там то же слово.

Пароход, построенный в Германии.

— Как они его сюда перекинули? По кускам, что ли? — удивлялся Лисица.

Действительно пароход недавно прибыл из Германии. В судовом журнале мы видели отметки: «Данциг», «Бжесць над Бугом», «Пинск».

«Загоравший» в реке был и владельцем и капитаном «Надежды». Новый большой буксир, тянувший против течения три баржи, он выбросился на берег в метрах трехстах от разрушенного моста у села Довляды. А баржи, запутавшись в тросах, как большие

рыбины в сетях, догорали посреди реки. У берега, на отмели, серели, белели, чернели трупы немцев.

Когда я зашел в штаб Кульбаки, комбат стоял у стола и диктовал донесение Ковпаку о ходе боя.

Командиры рот и взводов, писаря окружили Кульбаку, шутили, смеялись: не прошло еще возбуждение от только что пережитой схватки с врагом.

В хату быстро вошел Москаленко, командир орудия. За ним партизаны вели пленного немца.

— Между прочим, получить мий трофей — оцього хрыця. Сам пиймав, — важно сказал Москаленко.

— А чоботы де? — пытливо спросил комбат Кульбака.

Немец стоял перед ним в опорках на босу ногу.

Еще у прибрежных ракит Микола снял чоботы с немца и передал одному из своих партизан.

— Чоботы де? — переспросил Москаленко. — В ных же повно воды... от вин и сняв их, сушить поставыв...

Засмеялись кругом командиры. Усмехнулся комбат. Я отошел с Москаленко к окну и стал расспрашивать его, как он взял в плен фрица.

Когда Москаленко закончил стрельбу по пароходам и баржам и отошел в сторону от пушки, он услышал робкое восклицание, доносившееся из кустов.

Тут Москаленко вошел в раж и стал в лицах показывать мне, как происходило пленение немца.

— Бачу, а з корчив верболоза пиднялась палка и на ний билый платочок. «Хлопци, неначе хрыць», — кажу тыхенько, а сам вытягаю из кобуры свий парабель и йду на голос. «Иа стаюса», — лопоче немець.

— Хенде хох! — крикнул Микола непонятное слово, похожее на ругательство. — Зброя де?

— Хенде хох! — вторично гаркнул Микола, вытаращив на меня глаза в штабе Кульбаки.

Пленный стоял у края стола с посеревшим от страха лицом. Он не сводил глаз с Кульбаки — мужчины высокого роста, плечистого, грузного, грозного. Когда же Москаленко заорал, он снова поднял руки кверху, недоумевая, зачем его вторично берут в плен. Партизаны покатывались со смеху.

Немец заметно дрожал. Немного овладев собой, он стал перед Кульбакой навытяжку и, запинаясь, проговорил:

— ...пан Коль... пак! Я добровольно приходиль плен.

— Ач, як труситься, собачья душа! — кивнул Кульбака на немца.

— То вин вас, товарищ комбат, приняв за самого Ковпака, — рассмеялся Ленька, ездовой Кульбаки.

Комбат подошел к немцу.

— Ось, слухай: я не Ковпак... — и таинственно полушопотом: — Ковпак на голову выше за мене, вдвичи ширше за мене, а голос як тая труба...

Стекла халупки дрожали от дружного взрыва хохота.

Пленный рассказал, что, открывая пробную навигацию 6 апреля на линии Мозырь — Киев, немцы боялись нападения партизан. Они уже знали, что Ковпак пришел на Припять. Для охраны судов послана команда СС.

Москаленко вертелся тут же и мешал допросу, но как героя сегодняшнего потопления судов я не выставил его из штаба батальона. Он был в приподнятом настроении и все еще «переживал» бой.

Лисица, говоривший с Кульбакой только по-украински, вставил:

— Дывлюсь, по-немецкому трохи кумекаю; на труби крейдою нашкрябано: «Achtung, Kolpak» — «Внимание, Колпак», значит.

— Ох, и реготали ж мы с Лысицею, — вставил Москаленко.

Ковпак вошел незаметно раньше и слыхал похвальбу Москаленко. Когда тот заметил командира, подошел строевым шагом:

— Дозвольте доложить...

— Ты доложи, скильки снарядив выпустив, — перебил Ковпак.

— Двадцать два, товарищ командир!

— Потопыв пароход?

Москаленко молчал.

— Потопыв, пытаю? — рассвирепел Ковпак. — Не! Растратчик ты, от хто, а не артиллерист. На бинокля, выйди на вулицю и подывися. Трубы видать аж с видселя-а!

Москаленко молчал.

— Объявляю выговор. Начштаба записать в приказ, — сквозь зубы процедил Ковпак и вышел, хлопнув дверью.

А еще через день, прочитав донесение Кульбаки, Ковпак, посмеиваясь, подписал приказ: «С командира орудия Н. Москаленко выговор снять. Объявить благодарность».

Кульбака писал:

«Пароход долго не тонув через те, що сидив на мели; зийти с мели не мог, бо машину разбив Москаленко — з пушки третим снарядом».

XXXIII

На следующий день противник вел воздушную разведку. Самолеты-разведчики рыскали вдоль реки на высоте, иногда зависая в воздухе для аэрофотосъемок. Изредка на бреющем проходила пара истребителей. Баржи уже успели догореть, и если бы не застрявший на мели пароход, немцам не удалось бы обнаружить точное место нападения на караван. Пароход выдавал нас с головой, и над ним долго кружилась и зависала одна «стрекоза». Пулеметчики Кульбаки обстреляли ее, и, фыркнув раза три из крупнокалиберного пулемета, немецкий «костыль» заковылял на север.

— Ну, завтра жди гостей! — сказал Руднев Ковпаку, наблюдавшему в бинокль за самолетом.

— И гости будут с Мозыря, — опустив бинокль, ответил командир и пошел к штабу.

За два дня до этого случая к нам прибыла разведка соединения черниговских партизан. Соединением этим командовал Герой Советского Союза

Федоров. Я слыхал о нем еще в Брянских лесах, до прихода к Ковпаку, летом 1942 года. Федоров рейдировал тогда по Черниговщине, и немцы выделили против него крупную карательную экспедицию. Немцы, вероятно, заставили его часто менять районы действия. Может быть поэтому, а может, и по малой опытности летчика самолет, летевший к Федорову, уже несколько ночей безрезультатно искал его над лесами Черниговщины и, не найдя костров, повернул обратно. А я в это время жег костры в Брянских лесах, и уже не первую ночь. Самолетов все не было. Однажды мы, правда, дождались: вместо парашютов с радиопитанием и боеприпасами нам сбросили восемь штук фугасок. Но все же я не терял надежды, упорно жег костры и швырял в небо ракеты.

Наконец, на восьмые или девятые сутки, в ответ на наши световые вопли один самолет (а летало их над нами и своих и вражеских до чорта) стал подозрительно кружиться над кострами. Мы уже стали похитрей и вырыли в стороне щели. Из щелей пускали ракеты и кодировали.

Хотя самолет шел с запада, я все же на всякий случай просигналил ему. За третьим или четвертым заходом над нами вспыхнули световые пятна, а когда я подсветил их ракетой, убедился, что на парашютах спускался к нам долгожданный груз. Сбросив четыре мешка, самолет зажег зеленые огни и, приветливо мигнув ими, ушел на восток. Это была старая фанерно-брезентовая калоша «ПР-5».

На следующий день я известил начальство о получении груза. А еще через день получил ответ: «Никакого мы груза вам не высылали». Только тогда я понял, почему в одном из мешков были письма с неизвестным номером полевой почты, а повнимательней разобрав содержимое, нашел записку летчика: «Товарищи партизаны! Летаю третий день к Федорову — нет сигналов. Бросаю на ваши костры. Если встретите Федорова, поделитесь грузом. Привет! Пилот Миша».

Конечно, груз мы использовали, даже и не думая о дележе с хозяином. Да это было бы и невозможно.

А сейчас, в марте 1943 года, почти через год, Федоров, бывший секретарь Черниговского обкома ВКП(б), Герой Советского Союза, двигался из Черниговщины на запад почти по тому же маршруту, по которому мы шли прошлой осенью.

Разведка его была у нас за день до того, как Кульбака уничтожил буксир с баржами, а сам Федоров со штабом и основными своими отрядами подошел на следующий день.

Ковпак и Федоров, Руднев и комиссар Федорова Дружинин поговорили друг с другом о своих делах, а затем, поручив гостей заботам Павловского, которому было приказано достать самого лучшего первака, Ковпак вышел на улицу, с тревогой наблюдая за немецкими самолетами.

Я, на всякий случай, старался не попадаться Федорову на глаза: чем чорт не шутит, а вдруг припомнит старый должок.

Сейчас, в присутствии таких гостей, никак нельзя было ударить лицом в грязь. По догадкам Ковпака, немцы должны были наступать по реке с севера. Это значит, что за ночь нужно перестроить всю сложную систему засад, окопов, траншей вдоль берега реки.

Гости уже показали себя. Идущий вместе с Федоровым полковник Мельник километрах в двадцати пяти севернее нас налетел со своим отрядом на вражескую колонну на марше и расчехвостил ее в дым. Побил прикрытие обоза, а обоз захватил. А самое главное — взял две совершенно исправные 105-миллиметровые пушки системы «Шкода» со снарядами.

Случись у нас неудача — позор был бы на весь партизанский мир. Командование понимало это, но оно хотя бы умело скрывать свое волнение, маскируя его усмешками и шутками. Весть о приезде Федорова, который, «как и наш командир, Герой Советского Союза», облетела все роты и пошла по цепям.

— Хлопцы, теперь нам нельзя подкачать.

— Хоть сам Адольф пусть наступает — не дать спуску.

Руднев до полуночи ходил по ротам, говорил с бойцами, давал задания политрукам и парторгам.

До глубокой ночи в штабной хате горел огонь: сюда заходили командиры, забегали разведчики, связные приносили донесения и сводки, увозили приказы.

Рассвет застал нас на ногах.

Утром к штабной хате подъехал командир отделения конной разведки Костя Руднев, брат комиссара. Через пять минут он вышел из штаба и крикнул: «Михаил Кузьмич!» Вскочив на коня, подъехал Семенистый. К тому времени это уже был толковый и смелый разведчик-связной.

Костя Руднев похлопал по сапогу плеткой.

— Михаил Кузьмич! Скачи к Ефремову, командиру пятой. Передай ему приказ командира: через пятнадцать минут вывести людей из села и занять окопы... Понял?

— Понял, товарищ командир!

На крыльцо вышел Семен Васильевич Руднев. Он сказал брату:

— На вот, Костя, бинокль! Заберись на холм, понаблюдай за рекой, а заметишь что, — дай знать!

— Есть, товарищ комиссар, наблюдать на холме!

С момента прихода в отряд Ковпака Костя Руднев — до войны председатель колхоза — никогда не называл брата по имени, всегда только «товарищ комиссар».

У меня уже были закончены все дела, оставалось ждать новых донесений, «языков», а пока главным оружием разведчика служили глаза. Взобравшись с Костей на бугор, я лег под кустом. Понаблюдав минут пятнадцать за пустынной рекой, я почувствовал, что не могу больше бороться со сном. Вставало солнце и грело спину. Глаза слипались. Над рекой и прибрежными кустами плыл туман.

— Товарищ подполковник, немцы...

Я вскочил, хватаясь за автомат.

— Где?..

Костя протер линзы. Тыльной стороной ладони вытер глаза.

— Не показалось ли?

— Вона плывут.

Над рекой, теперь уже ясно, был виден дымок пароходов. Немцы шли из Мозыря флотилией.

— Дуй к комиссару. Доложи.

Костя вихрем слетел с холма.

— Идут... каратели... шесть пароходов... — задыхаясь от бега, доложил он.

— Так-таки шисть пароходив?.. Яка честь! Може, хлопче, тоби показалось? У страха очи велики... Га? — подымаясь на холм, говорил Ковпак.

— Шесть дымков... ей-богу... своими глазами...

Ковпак, Руднев и Базыма взлезли на холм — их главный КП. Я только сейчас заметил, что солнце было высоко. Я проспал не меньше часа.

Связные остались у подножия холма. Через минуту поднялся туда и Федоров. Я верхом, пока еще суда были далеко и не могли видеть движения на низменном берегу, поскакал к командиру роты.

Москаленко сидел на кряжистом дереве. Внизу под деревом стоял командир пятой роты Ефремов.

С рязанским говорком на «о» Ефремов кричал Москаленко:

— Не видишь, говоришь, ничего... лучше смотри! Лучше, Микола...

— ...Два, чотыри... шисть... шисть дымков бачу, Степа. Хрици йдуть... шисть пароходив!..

Караван шел быстро; в трех километрах от крайней нашей заставы — против села Дерновичи, — катеры открыли огонь по берегу из пулеметов и пушек.

Подошли ближе; наша застава молчала. Берег был пустынен. Что-что, а маскироваться мы умели.

Продолжая вести огонь наугад, суда плыли вниз по течению к Аревичам. Поравнялись с позициями пятой роты.

Цель была так близка и заманчива.

— Степа, давай команду... вдарим прямою наводкою... уходят же... хрыци... Эх!

— Товарищ командир роты, дайте команду!

— Команда где?.. Уйдут немцы...

Ефремов скрипнул зубами.

— Молчать! Кто без команды выстрелит — уложу на месте!

Бойцы знали, что их командир слова на ветер не бросает. Судорогою свело пальцы на спусковых крючках, слеза выступила на глазах, уже несколько минут державших пароходы на мушке, но выстрела не было ни одного.

Ефремов, по приказу Ковпака, глубже затягивал немцев в мешок, чтобы вернее отрезать им пути отхода, пропустить к роте Горланова и бить по хвосту.

Он дал пароходам пройти еще двести метров и только тогда скомандовал по-рязански:

— Давай, робята! Жми на всю железку!

Загремела пушка Миколы, забухали бронебойки, заворковали станкачи, застучали ручники Дегтярева. Не давая немцам опомниться, Горланов повел огонь в лоб.

Попав под кинжальный огонь, суда заметались по Припяти. Четкий строй их был нарушен в одну минуту. Судов оказалось больше, чем дымов. Между шестью речными пароходами, из труб которых валил дым, вертелось еще пять юрких катеров.

С пароходов вели сильный ответный огонь. Маленькая пушчонка Москаленко не смогла с ним справиться. Я поскакал на КП и, получив санкцию Ковпака, с одной 76-миллиметровой пушкой пошел в обход, чтобы отрезать немцам отступление. Пушку прикрывала третья рота. В тот самый момент, когда Ковпак отдавал приказ начальнику артиллерии перекрыть отход немцев 76-миллиметровой пушкой, на КП, расположенный на холме, пришло донесение Горланова с просьбой прислать подводу за раненым бойцом Кулагиным.

Руднев крикнул связного Семенистого:

— Михаил Кузьмич! Найди сейчас же подводу и отправь к Горланову.

— Есть!

Семенистый поскакал к зданию школы. Здесь расположилась санчасть. Лошади стояли за клуней.

На крайней подводе сидел рыжеватый парень с пухлым лицом, маленьким носиком и глазками щелочками. На макушке прилепился старый, облезлый авиашлем.

Парень сидел на сене, положив под себя винтовку. Завернув штанину, он занимался ловлей блох.

— Эй ты, парашютист! Кончай охоту! — звонко крикнул Михаил Кузьмич.

Не обращая на Мишу внимания, флегматик сосредоточенно делал свое дело.

— Тебе говорят — бросай охоту!

— А шо? — с досадой поднял голову парень.

— А то... ехать надо за раненым. Мотай сейчас же в восьмую роту, к Горланову. Да живей, живей поворачивайся! Звать как?

— А шо?

— Шо, шо! Король блошиный. Звать как, спрашиваю?

— Ну, Кузя...

— Нукузя! Давай, Нукузя, за раненым!

— Воздух! — раздался голос дежурного.

Семенистый быстро повернул коня. Осмотрелся. К селу летел самолет. С криком «маскируйсь!» Михаил Кузьмич помчался по улицам.

Прошел час. Время бежало быстро, как всегда в азарте боя, незаметно...

Семенистого вызвали в штаб.

На табуретке возле рукомойника, в забрызганном кровью бушлате, сидел боец, связной из роты Горланова. Левой рукой он бережно поддерживал свою забинтованную правую.

На свежей марле проступали яркие пятна крови. Когда Семенистый вошел в хату, связной замолчал.

— Подводу послал Горланову? — поднялся с места Руднев.

— Послал, давно послал, товарищ комиссар, — весело ответил Михаил Кузьмич.

— Нету подводы, — устало сказал связной.

Холодок прошел по спине Семенистого.

— Нету подводы... кончается Кулагин, — тихо повторил связной.

Подперев подбородок ладонью, молчал Ковпак.

Базыма, дохнув на стекла очков, протирал их платком.

Руднев стоял, держась руками за ремень портупеи. На побледневшем лице комиссара выступили багровые пятна.

— Тебя кто учил так воевать?

Жесткие, гневные слова любимого комиссара долетели издалека, как из тумана.

— Ей-богу, послал подводу, — шептал Семенистый. Глаза его были полны слез.

— Й-э-х! — заскрежетал зубами связной.

И непонятно было, к чему относится это, — к сильной ли боли в руке, или к словам Семенистого.

— Чтобы сейчас же подвода шла за Кулагиным! Ступай!

Шарахались люди на улице, из-под ног коня с криком вылетала домашняя птица, бросались собаки в подворотни.

Дергая лошадь из стороны в сторону, Миша давал шпоры, хлестал нагайкой и мчался, не разбирая дороги.

Куда — сам не знал. Искал кого-то... От ярости мутилось в глазах.

«Только б увидеть эту проклятую рожу...»

Под небольшой вербой на околице стояла подвода. Кузя, высунув голову из-под телеги, боязливо смотрел на небо.

— Съездил в роту? — подлетел Семенистый.

— А шо?

— Съездил к Горланову, рыжая морда?

— Дак... самолет же кружився, и з парохода бьют... Боязно...

Блеснув на солнце змеей, хлестнула плеть.

— Ой! За що бьешь?

— Я кому приказал ехать за раненым?

Змея взвилась и блеснула снова.

— Ой! За що бьешь?

— Тебе, гад полосатый, приказ мой ноль без палочки? Рыжая... — нá тебе! нá тебе! нá тебе! — морда!

Не помня себя от злости, наотмашь, по чем попало хлестал Семенистый Нукузю; слезы, недетские слезы горькой обиды и гнева текли по щекам.

Нукузя скулил и кричал.

Страшнее немецкой пули был для него этот плачущий мальчик с перекошенным от злости лицом, карабином на худеньких плечиках и с жесткой плетью в руке...

Кони вихрем мчались к роте Горланова. Ездовой дико орал на лошадей и дергал за вожжи. А рядом на взмыленной лошади скакал Михаил Кузьмич и безжалостно хлестал ездового тяжелой плетью.

В штаб поступали донесения от рот и батальонов: восьмая рота Горланова подбила два парохода, пятая рота — один и два бронекатера, но еще вела бой. Один пароход, выбросившись на мель на противоположном берегу, упорно отстреливался. Остальные догорали под Красносельем. Руднев и я пошли к берегу. Там лежали в цепи бойцы третьей роты. Пароход прочно сидел на мели. До него было метров шестьсот. Совершенно открытый берег не позволял подкатить пушку. Пулеметы немцев косили во-всю. На пароходе, видимо, не особенно боялись нашего ружейно-пулеметного огня. Только бронебойки на таком расстоянии пробивали его железную обшивку. Часть экипажа пыталась выбраться на свой берег, но пулеметы Горланова пристреляли косу, отделявшую пароход от суши, и на ней уже лежало более десятка трупов. Оставшиеся на пароходе немцы засели в трюме и отстреливались.

Вечерело. Ночью они уйдут.

К роте Карпенко подошел Павловский. Он был возбужден, может быть азартом боя, а может, и лишней чаркой, выпитой при потчевании гостей.

Не замечая комиссара в цепи, он стал ругать автоматчиков. Вначале он ворчал про себя, а когда кто-то из роты огрызнулся, помпохоз совсем ошалел, вылез на берег и стал во весь рост, паясничая и кривляясь.

— Вперед, шкуры, трусы! — он выхватил пистолет.

Рота лежала на самом берегу и продвигаться ей, конечно, было некуда — впереди была река.

Карпенко подошел к помпохозу. Павловский рассвирепел и лез на рожон. У Карпенко заиграли желваки на лице, глаза покраснели. Они стояли друг против друга, размахивая пистолетами, и не было, пожалуй, в русском лексиконе ругательств, которыми бы они не обменялись.

Вот уже Павловский схватил Карпенко за грудки. Смешок, до сих пор пробегавший по цепи, затих. Третьеротцы знали, что еще никто пальцем не посмел тронуть их командира. Федя рванулся. С ворота посыпались пуговицы. Павловский и Карпенко стояли, как быки, готовые столкнуться лбами.

Драки бывали у нас и раньше. Когда дрались командиры, а тем более пожилые, на меня всегда почему-то нападала беспричинная смешливость. Все это было так по-мальчишески несерьезно, что я не мог удержаться от душившего меня хохота.

Немцы прекратили огонь, видимо не понимая, что же такое происходит на берегу.

— Эх, трусы, боягузы, шпана! — хрипел Павловский.

— Кто? Я — трус? — тихо спросил оскорбленный Карпенко, загоняя патрон в «ТТ».

— Товарищ комиссар, зараз он его застрелит, — тихо сказал Шпингалет.

Руднев, переставший наблюдать за пароходом, подошел к распетушившимся командирам и стал между ними.

— Убрать оружие! Убрать, говорю! — и он пригрозил обоим плетью.

Карпенко, весь дрожа и не попадая пистолетом в кобуру, отошел и лег в цепи, лицом вниз, положив голову в ладони.

Похоже, очень похоже было на то, что он плакал.

— А ты, старая калоша, чего тебе надо? Пошел вон, — тихо сказал комиссар Павловскому.

— Эх, товарищ комиссар.

— Пошел вон, говорю!

— Так фрицы же уйдут. Вот только стемнеет.

— А что ты с ними сделаешь?.. По воде в атаку итти, что ли?

— Эх! — махнул рукой Павловский и отошел в сторону.

Выстрелами бронебоек с берега удалось зажечь деревянные части внутри судна. В иллюминаторах изредка вспыхивало пламя и валил дым. Когда мы прекратили огонь, из одного иллюминатора все чаще стала показываться рука с котелком на пояске. Черпая воду, немцы, видимо, пытались потушить начинавшийся пожар.

В это время из затоки выплыла лодка. На ней сидели Сердюк — командир отделения пятой роты, и еще один боец.

Павловский подошел к ним и, поговорив с ними, влез в лодку, крикнув в цепь:

— Прикрывайте огнем, сволочи! Я вам покажу, як у Щорса воевали, сопляки... — И над Припятью поплыло густое и виртуозное ругательство...

Лодка, забирая вверх по течению, стала выходить на плес реки.

— Вот дурной!.. Погибнет же, — сказал Руднев, картавя и чертыхаясь.

Карпенко поднял голову и, опершись подбородком на ладонь, смотрел на реку.

У Карпенко в цепи было четырнадцать пулеметов, из них три станковых.

Видимо, у Сердюка был какой-то свой план или условие с Горлановым. Когда лодка Сердюка с Павловским, отчалившая гораздо выше цепи третьей роты, почти достигла середины реки, ниже от нашего берега отделилась вторая лодка. Она тоже быстро пошла вперед.

— Кто там еще? Какой дурак выискался? — спросил Руднев.

Карпенко, наблюдавший в бинокль, переводя его, ответил:

— Кажется, братец ваш, Костя...

— Вот дуроломы! Белены объелись, что ли?

— Пулеметы, держать на мушке пароход, не стрелять без моего сигнала, — командовал Карпенко, не отводя бинокля от глаз.

Лодки вышли на открытое место и неслись по течению, хрупкими клещами охватывая пароход.

Две-три винтовочные пули могли пустить лодку на дно.

К счастью, немцы не замечали их.

Лодка Павловского первая перевалила через стрежень и, выйдя на уровень корабля, стала спускаться по течению вниз. Пароход стоял носом против течения. Лодка попала в мертвое пространство, и вести по ней огонь можно было только с открытой палубы, которая хорошо пристреливалась с нашего берега. Поэтому Павловский и Сердюк беспрепятственно приближались к пароходу. Но по лодке Кости Руднева, заходившей со стороны тупой кормы, немцы уже стали вести огонь. Вначале раздались отдельные винтовочные выстрелы, а затем по воде полоснула пулеметная очередь. В это время Бакрадзе успел установить одну пушку и, пока немцы занимались лодками, ахнул по судну три снаряда.

Один из них разворотил трубу. Из парохода повалил густой дым. Но немцы успели крепко обстрелять лодку Кости Руднева. Людей на ней уже не было видно, и она заколыхалась на воде, относимая течением вниз. Павловский успел в это время подплыть к пароходу с носа и взял железную посудину на абордаж. Стрелять из пушки мы больше не могли, опасаясь попасть в своих. Павловский прильнул ухом к обшивке корабля и слушал. Наступила тишина. Затем, карабкаясь по плечам товарищей, на палубу взобрался Сердюк. У него в руках был неизменный ручной пулемет, с которым он не расставался. Из крайнего иллюминатора высунулся немецкий кривой автомат и, не видя противника, а лишь чувствуя его по шороху в мертвом пространстве, немец тыркнул наугад очередь на полдиска. Павловский из-за угла схватил рукой автомат и дернул его. Немец выронил

автомат, но не удержал его и Павловский. Черная кривулина бултыхнулась в воду. Сердюк в это время обследовал половину палубы до капитанской рубки и по звуку голосов и топоту определил, где в трюме люди. Он стал ходить по палубе и поливать сквозь палубу пулеметным огнем трюмы парохода.

Если бы не глухое татаканье, можно было подумать, что человек ходит со шваброй и подметает пол, швабра подпрыгивает у него в руках, как отбойный молоток.

Сердюк увлекся и не видел, что делалось на кормовой части палубы, закрытой от него трубой и мостиком. Из кормового трюма поднялась фигура человека. Ползком он стал пробираться к трубе. Карпенко прильнул к биноклю.

— Только станковые пулеметы — огонь! — скомандовал он.

Станкачи мадьярской системы повели огонь. Немец успел все же бросить гранату, но не рассчитал, и она взорвалась в воде позади Павловского. В предвечернем фиолетовом небе, слившемся с темносиней водой, вспыхнул красным заревом взрыв гранаты. В тот же миг разноцветные трассирующие пули мадьярского станкача прошили немца, замахнувшегося второй гранатой.

— Не стреляйте, сволочи, по своим! — хрипел Павловский со дна лодки, куда его сбросило взрывной волной. Он считал, что это мы с берега угостили его, и страшно ругался, забывая, что за перегородкой железного борта враги. Но выскочивший на корму немец — это уже был весь резерв загнанного в трюм экипажа. К Павловскому подоспели еще две лодки. Отвлеченные стрельбой немцы перестали тушить пожар внутри судна. Когда сгустились сумерки, команда Павловского вынуждена была покинуть взятое на абордаж судно. Оно пылало. Языки огня, вырвавшиеся из иллюминаторов, лизали борты, отражаясь в черной воде, а корма горела, как свеча, ровным высоким пламенем. Двух немцев везли ко мне в качестве «языков», а в горящем пароходе страшными не-

человеческими голосами ревели остальные. Они были уже не в состоянии ни обороняться, ни сдаться в плен. Через несколько минут затихли и они.

Наступила ночь. Хлюпала вода у берега, доносился треск догоравшего на мели парохода да хриплый голос Павловского откуда-то из темноты нарушал покой и гармонию полноводной широкой русской реки, поглотившей сегодня несколько сотен немецких трупов. На берег не ушел живым ни один немец. Пророчество Ковпака сбылось полностью. Раки в Припяти пировали во-всю... А мужики окрестных деревень два дня вылавливали рыбу, оглушенную разрывами партизанских мин и снарядов.

Пинская флотилия немцев была разгромлена наголову. Поздно ночью к роте Горланова прибило лодку Кости Руднева. Два бойца в ней были убиты наповал, а Костя ранен.

XXXIV

По всем правилам партизанской тактики надо было уходить подальше от места разгрома флотилии. Но нас привязывал новый аэродром, организованный километрах в восьми от Аревичей. Под селом Тульговичи, почти на берегу Припяти, удалось найти хорошую площадочку. Снова полетели к нам самолеты Гризодубовой.

Нас немного удивило, что после разгрома карательной экспедиции в составе десяти судов противник не сделал больше никаких попыток выбить нас с берега и продолжать навигацию. Все прибрежные села были заняты партизанами. Появились местные отряды, до сих пор таившиеся в дебрях болот.

Ближайшие вражеские гарнизоны севернее нас, в Юревичах и Хойниках, состояли из частей словацкой бригады. Мы знали от населения, что словаки сочувствуют нам. Многие из них бежали к партизанам. Никаких активных действий против партизан словацкое командование не предпринимало. Щупальцы на-

шей разведки доставали на полтораста — двести километров. О всяком скоплении сил противника, могущего угрожать нам, я знал заблаговременно. Вокруг активизировались мелкие партизанские отряды, чуткие к близости врага благодаря своей малочисленности. Как крупный зверь по крику птицы и тревоге лесной зверюшки узнает о появлении охотника, так и мы по настроениям и делам мелких отрядов и диверсионных групп угадывали намерения врага.

В Аревичах мы простояли больше месяца, снабжаясь боеприпасами и отдыхая. Герои-командиры решили прощупать городишко Брагин, считавшийся у немцев окружным центром. Громили Брагин тремя соединениями: Ковпака, Федорова и Мельника. Ничего особенного эта операция собой не представляла. Убито было более двухсот человек гарнизона, захвачены большие продовольственные склады. Цель операции — захват склада с боеприпасами — не была достигнута: немцы зажгли его.

Остатки гарнизона засели в дзотах и каменных зданиях. Немцы успели вызвать авиацию. Я случайно имел с собой ракетницу и полные карманы ракет. Заметив сигналы осажденных, я рискнул и стал давать такие же из цепи роты Карпенко. Самолеты ожесточенно бомбили болото, видимо принимая кочки за партизан. Лишь к вечеру вражеские летчики, поняв нашу уловку, сбросили серию противопехотных бомб прямо на мой сигнал. Потери были незначительные.

Как только стемнело, мы ушли из Брагина, увозя обозы с хлебом, сахаром, солью и оборудованием.

Наступило затишье. В это время к Аревичам прибился командир партизанского соединения Наумов с частью своего кавалерийского отряда. Он зимой совершил исключительный по смелости рейд по южным областям Украины, но немцы бросили на него крупные силы и потрепали его войска и штаб. Он шел через Киевщину по нашим следам. Аревичи стали притягательным местом для многих отрядов и партизанских ватажков.

В эти же дни мы получили известие, вначале ошеломившее нас. Пяти командирам партизанских соединений были присвоены генеральские звания. Эти первые партизанские генералы были: Ковпак, Руднев, Сабуров, Федоров и Наумов.

Аэродром в Кожушках притягивал к себе все большее количество партизан. За нападение на Брагин немцы отомстили нам лишь усиленной бомбежкой Аревичей. Село было наполовину сожжено. Поэтому штаб, санчасть, обоз и все громоздкие подразделения были выведены в лес. Уже наступили теплые дни. В селе осталась лишь пятая рота Ефремова и восьмая Горланова.

Заметно было, что немцы ведут против нас усиленную разведку. Чтобы не расшифровывать лесной стоянки штаба, свою разведывательную квартиру я оставил в селе, в одной из немногих уцелевших хат.

Я часто оставался в селе ночевать. Ко мне в это время ходил всякий народ, многих приводили под конвоем, шлялись подозрительные бабы и мужики.

В один из вечеров, когда патрули бродили по улицам наполовину сожженного села да в условных местах ожидали своих хлопцев девчата, по селу промчалась тачанка. Я вышел на улицу. Тачанка остановилась у бывшей квартиры Ковпака.

— Куда, Политуха? — спросил я у ординарца.

— На аэродром.

— Чего это вздумалось деду трястись ночью?

— Дело срочное.

Старик вышел из хаты и, хлопнув плетью по голенищу, подошел к нам. Подмышками он держал свои валенки, вложенные холявками один в другой.

— Что, Сидор Артемович, задумали ночью подежурить?

— Эге. Задумав... тильки не я. Ох, мени ця конспирация. На, читай! Китайська грамота, а що толку?

Он протянул мне листок, на котором карандашом был написан текст радиограммы, и сам подсветил электрическим фонариком.

«Встречайте ценный груз. Примите меры к приему и охране аэродрома...»

Над такой загадкой стоило подумать.

Самолеты садились у нас еженощно, аэродром охранялся, никаких эксцессов до сих пор не было.

Повидимому, имелись важные причины особо предупреждать нас.

Ковпак взгромоздился на тачанку, закутался в шубу, поднял воротник.

— От и разбери их... Ценный груз?! Встречайте... Доведется самому проверить. Щоб хлопцы чого не побылы. Може, яка техника новая?

Он повалился на бок, видимо собираясь вздремнуть по пути.

— Можно трогать, товарищ генерал-майор? — спросил громко Политуха и оглянулся, запнувшись, правильно ли сказал. Многим ближайшим подчиненным приходилось туго в последние дни. Никак не могли привыкнуть; раньше было проще: «товарищ командир», «товарищ комиссар», а сейчас вдруг — «генерал-майор». То были себе люди, как люди, а теперь вдруг — генералы.

И старые партизаны крутили головами, хотя втайне и гордились, что они с генералом имеют дело.

Велас, так тот упорно говорил так: «Дозвольте, товарищ майор-генерал Ковпак, Сидор Артемович, до вас обратиться?..»

И Политуха, которому по сотне раз на дню приходилось обращаться к командиру, все еще с тревогой озирался, словно опасался, не сидит ли на его возке кто-нибудь другой, носящий это важное звание.

— Ехать можно, товарищ генерал-майор?

— Поспиешь! Не до курьерского с балагулами. От лучше давай закуримо.

Политуха полез за кисетом.

Дед свернул цыгарку на четверть фунта махры. Закурили. Посмаковали едкий дымок.

— От, теперь рушай!.. — и генерал поднял высокий воротник шубы.

Я ушел спать на сеновал. На рассвете меня раз-

будила возня на дворе. Рядом со мной, подстелив плащ-палатки, спали два человека, одетые в новые костюмы, еще со складским запахом. Я оттолкнул дверь сарая. Солнце осветило моих соседей. Люди были явно с Большой земли.

Бледные лица горожан, незагорелые руки, спят крепко, но тревожно. Волнение непривычных людей никогда так не заметно, как во сне. Я слез с сеновала и вышел во двор. У ворот стояли подводы с грузом. Толстые, круглые грузовые мешки с нераспустившимися парашютами. Это говорило о том, что самолеты были с посадкой, а не сбрасывали груз на парашютах. Я вспомнил о радиограмме Ковпака. Может, это и есть ценный груз? Пощупав мешки, убедился, что содержимое было обычное: ящики с толом, патроны, мины, медикаменты.

У ездовых узнал, что командир давно уехал в лес к штабу. Я оседлал коня и поскакал к лесной опушке, где были расположены штабные подразделения.

Ковпака и Руднева я нашел на поляне, уходившей вверх огромным косогором, заросшим мелким ельником. Рядом с ними на расстеленной шинели сидел человек в сером коверкотовом костюме, полувоенной фуражке, с орденом Ленина. Он, казалось, дремал, прикрыв рукой глаза от солнца. Я взял под козырек.

— Знакомьтесь, — сказал Руднев.

Я отрекомендовался по всей форме.

— Демьян... — сказал скороговоркой человек. Руднев продолжал докладывать обстановку. Потребовались справки. Я давал их по памяти, все время ощущая на себе внимательный взор из-под ладони. Незнакомец интересовался всем: частями противника, системой гарнизонов и патрулей, работой дорог и транспорта, базами и аэродромами, гебитскомиссарами, ландвиртами и комендантами полиции...

Но больше всего удивил он меня вопросом:

— А какие у вас сведения о политике немецких властей в сельском хозяйстве?

Я молчал.

«А чорт их немецкий знает, какая у них политика!» — думалось мне.

Ковпак нахмурил брови и дымил самокруткой, как паровоз.

— Н-не знаю... — процедил я сквозь зубы.

— Надо знать, — сказал Демьян резко, и больше не задавал вопросов. Мне показалось, что мое присутствие уже не требовалось, и я отошел к штабу. Было немного обидно. Совсем недавно я закончил солидный доклад о состоянии немецкого тыла. Около тридцати страниц текста, отпечатанного Васей Войцеховичем на машинке, вмещали данные о гарнизонах по крайней мере четырех областей; расписания движения на железных дорогах и состава грузов; около полусотни характеристик немецких должностных лиц и почему-то фольклорные записи сказаний и песен народа о войне. «Правда, о сельскохозяйственной политике немцев там, кажется, не сказано ни слова, — думал я. — Да что я, агроном или облзо, что ли?..»

С бугра семенил к штабу Ковпак. Лицо у него было сконфуженное.

— Що ж ты, Вершыгора? Про сельску политику? А? От и надийся на вас, интеллигенция-яа!

— Ну что, что интеллигенция? Мало ли что кому захочется знать? Я ж не справочное бюро.

— Не кому, а... Поняв? — И дед поднял многозначительно палец к соснам.

Я ничего «не поняв».

— Да кто такой? Говорите вы толком.

— Радиограмму читав вчера? Ценный груз. Поняв?

Я начинал немного понимать.

Ковпак сделал таинственное лицо.

— А как же обращаться, звать как?

— Так и кажы: «товарищ Демьян», и точка. А про сельскую политику щоб все сведения... Поняв?

— А про религию не надо или про самогоноварение, например? — съязвил я тихонько.

Дед принял и это всерьез.

— Ни, не треба... А впрочем... хай буде под рукою все. На всякий случай.

Конечно, законспирировать в отряде «ценный груз» не удалось. Да и сами прибывшие товарищи, поосмотревшись немного, сбросили со своих лиц загадочное выражение и уже к вечеру по всему отряду знали, что к нам прилетели руководители ЦК партии большевиков Украины.

— А который тут Хрущев буде? — спрашивал дед Велас вечером у штабной кухарки, тети Фени, но сразу же удалялся под ее грозным взглядом.

Мы все же решили не особенно разбалтывать о том, что в нашем отряде находятся такие высокопоставленные люди, и Руднев поговорил минут пять с политруками и парторгами. Объяснил, что среди прибывших Хрущева нет. Что группу возглавляет один из секретарей ЦК КП(б)У.

Руднев объяснял:

— Был у нас такой обычай никогда не спрашивать у командования, куда идем, зачем. Так и сейчас, будут спрашивать: «Кто приехал с Большой земли?» — «Кому надо, тот и приехал». — «А как обращаться?» — «А вот так и называйте — «товарищ Демьян, товарищ Сергей, товарищ...»

Этих объяснений было достаточно, и на следующий день наш лагерь зажил привычной трудовой кропотливой жизнью муравейника. Только пытливые глаза «товарища Демьяна» ко всему приглядывались, все изучали. Иногда он отходил в сторону на поляну или на лесную тропу и, заложив руки за пояс брюк, ходил взад и вперед, о чем-то сосредоточенно думая. Иногда подходил к Рудневу, спрашивал и о чем-то снова думал. Люди его группы, Сергей Кузнецов, Чепурной, тоже занимались своим делом.

Не скажу, чтобы мы чувствовали себя очень спокойно. Это партия проверяла нас и готовила для нас новые задания.

На третий день товарищ Демьян, встретившись со мной на поляне, спросил улыбаясь:

— Ну, как материалы по сельскому хозяйству?

— Постараюсь...

— А что еще у вас есть нового?

Я подал последнюю сводку.

Он прочел.

— Вы не пробовали это собирать, систематизировать, обобщать?

Я вспомнил о своем докладе. Порывшись в полевой сумке, подал ему тридцать страниц печатного текста.

— Ого... это я у вас возьму. Возьму, возьму, — и ушел, улыбаясь и потирая руки.

Через полчаса, съездив верхом в главразведку, я, возвращаясь, увидел Демьяна. Он сидел на пне, держал на коленях мой доклад и, видимо, читал его вторично, карандашом подчеркивая что-то.

— Слушайте! Подполковник...

Я остановил коня.

— Это то, что мне нужно... вот только бы сведения посвежее...

Действительно, доклад относился к прошлому месяцу и был расплывчат, охватывая обширнейшую территорию нескольких областей.

— Это хорошая информация, но без целеустремленности... А сейчас нужно разведать Киев, Днепр. Я поговорю с командованием, а вы подумайте и доложите свои соображения.

Мы собрались еще раз: Ковпак, Руднев, Базыма и я. Товарищ Демьян уточнил свое задание. Пока что это была крупная разведывательная операция, но по своему размаху она стоила больше другой боевой, кровавой. Уже не только «на себя», а на Красную Армию. Не на дивизию, не на армию, а на всю Красную Армию мы вели разведку. В это время гитлеровское командование кричало о неприступных оборонительных «валах» на востоке. Главным «валом» оно называло рубеж реки Днепра. Нужно было проверить, действительно ли существует этот «вал» на Днепре.

Была у меня карта, которую Руднев шутя назвал стратегической. Обыкновенная десятиверстка, от Дона до Одера и от Черного до Балтийского морей.

Когда было время подумать, он говорил мне, всегда улыбаясь при этом:

— Товарищ подполковник, нельзя ли стратегической одолжиться на часок? А?

А когда бывал в шутливом настроении, все уговаривал продать ее. Каких только благ не предлагал он мне! То немецких марок, то оккупационных карбованцев — хоть миллион. А зачем мне марки?

— А хочешь, коровами расплачусь? За каждый квадрат плачу по корове. Сколько тут? Двадцать? Плачу двадцать коров. Как, по рукам?

Но я был непреклонен, и «стратегическая» оставалась у меня в сумке. «Ну, зачем мне коровы?»

Разведчикам особенно трудно было без карт. Посылаешь хлопца в разведку, а он два часа сидит у тебя и, пыхтя, срисовывает «кроки» своего маршрута. Дать ему карту нельзя, потому что она единственная, а рисовать эти «кроки» для него каторжный труд... Вот и перебивались.

Так «стратегическая» и прошла еще не одну тысячу километров, истрепалась, измызгалась и стала поэтому дороже произведений, призывающих нас издалека, словами, уничтожать фашистов, как будто мы собирались делать что-либо другое. Литература к нам шла из одной дальней области, куда занесло украинских мастеров слова, наивная и явно не к месту и не по адресу. Вдруг издательство разродилось «Справочником партизана». Перелистывая эту книжицу, я нашел сведения, «как готовить котлеты из еловой коры и соус из мха». Конечно, в этой книге было много и хороших сведений, например, по подрывному делу, но «соус из мха» отбил охоту верить хотя бы одному написанному в ней слову.

Вынув из сумки «стратегическую», мы с Рудневым сообща мусолили ее, разрабатывая задания.

Одновременно восемь разведывательных групп пошли на Днепр. Берега Днепра от Речицы и Гомеля до Киева ставились на неделю под тщательный контроль нашей разведки. Каждый паром, мост, дорога, высотка, рощица ощупывались, наблюдались, изуча-

лись. Надо было дать командованию Красной Армии подробное и исчерпывающее представление о силах и намерениях противника на Днепре. Существует ли там «вал», или он только выдумка, рассчитанная на то, чтобы обмануть русских и заставить испугаться реки?

Мы не льстили себя надеждой, что этот наш кропотливый труд решает важную проблему стратегии. В великой войне слишком мала была песчинка нашего отряда. Но сейчас мы знаем, как протекала одна из славнейших операций Отечественной войны — битва за Днепр. И думается мне, что в небывалом в истории военного дела решении форсировать большую реку с хода, раньше чем враг успеет занять на ней жесткую оборону, и форсировать ее именно на участке Гомель — Киев, думается мне, что в этом решении есть и наша капля творческого, пытливого, осмысленного, государственного труда.

Это был первый результат пребывания у нас «ценного груза». Человек, которого мы называли «товарищ Демьян», учил нас в любой мелочи чувствовать государственный пульс.

Свыше двухсот человек лучших партизан-разведчиков мы разослали на задания, и поэтому не могли уходить с места.

Через Москву к нам попала радиограмма крупного партизанского вожака — товарища С. Москва писала: «С. доносит: агентурным путем удалось узнать о готовящейся крупной карательной экспедиции немцев, названной ими «мокрый мешок». С. предполагает, что это операция против Ковпака, и просит указать Ковпаку выходить из боя не в его сторону. Радируйте ваши соображения».

— Сукин сын, — пробурчал Ковпак.

— Что, что? — переспросил товарищ Демьян.

— Сукин сын вин, а не партизан.

Демьян молчал, хмуро улыбаясь.

Руднев задумчиво вертел в руках радиограмму.

Так уже сложилась тыловая обстановка, что действующие отряды в тылу врага разделялись на рей-

довые и сидящие на месте. Рейдовые ходили по тылам, совершали набеги, будоражили противника, соответственно своим силам громили его, а базирующиеся на месте охраняли базы, обосновываясь в глухих лесных дебрях, действуя вблизи своего района. Каждый вырабатывал свою тактику, которая для первых была наступательная, для вторых — оборонительная. Очень немногие понимали, что каждый из этих двух видов тактики нужен и они лишь дополняют друг друга.

Ясно было, что С. опасался нашего прихода, ибо это наверняка означало появление вслед за нами крупных сил врага.

Руднев, усмехнувшись, отдал радиограмму начштаба.

— Спрячьте. История разберется... может быть.

— Шутки шутками, а треба нам рушать в дорогу, — ворчал Ковпак. — Як, начштаба?

Базыма взглянул на командира.

— Не надо было рассылать разведчиков. А теперь, хочешь не хочешь, а придется их дожидаться.

— Ох, вылизае нам боком ця стратегия!

Базыма внимательно вчитывался в радиограмму, как будто в коротком ее тексте можно было найти какой-то скрытый внутренний смысл.

Угроза «мокрого мешка» становилась все более реальной. Мы залезли в него сами, и обстоятельства, помимо нашей воли, удерживали нас в междуречье Днепра и Припяти.

Ковпак еще долго ругался, придираясь то к штабным писарям, то к Политухе.

Он в последние дни был особенно не в духе. Старика окончательно одолели зубы. Выкрошились, болели и вынуждали к молочной диете, что ему было не по душе. Самолеты шли на аэродром в Кожушках через час по столовой ложке. Прибывал груз, инструктора, минеры, новая подрывная техника. На одном из самолетов прилетели два врача. Оказалось, это прибыли врач-стоматолог и зубной техник — вставлять зубы Ковпаку. Леша Коробов, улетая,

обещал похлопотать перед начальством и выручить старика из беды. И сдержал слово.

Через день стоматолог установил в ельнике хрупкую блестящую хромированными частями бормашину и начал свое дело.

Старые ветераны отряда ходили целыми экскурсиями в ельник и с благоговением наблюдали сложную и необычную операцию.

— Из Москвы. Значит, знают про нас все. Даже про зубы нашему генералу не забыли, — восхищался Велас.

Еще через несколько дней для Ковпака и Руднева прибыли новые военные костюмы с фронтовыми генеральскими погонами. Соединение партизанских отрядов стало принимать вид войсковой части. Батальоны и роты, взводы и отделения становились стройней и организованней, дисциплина и порядок все больше проникали в дух и содержание нашей работы. Мы стали готовиться в новый рейд. Куда мы пойдем, еще никто не знал. Ясно было лишь то, что пойдем на юг, где нет лесов, только степи, холмы и горы.

XXXV

К нам перебежал словацкий солдат Андрей Сакса. Вначале трудно было договориться с ним. Он все пытался изъясняться на международные темы, и поэтому употреблял чисто чешские выражения. Более половины слов я не понимал. Как только удалось перевести разговор на обычные темы — о жизни солдат-словаков, о их домах, о семье, о немецких властях, мы прекрасно поняли друг друга.

Дав ему побыть у нас несколько дней и немного пообвыкнуть, я стал подольше с ним беседовать. Андрей рассказал мне занятные вещи. То, что среди словацких солдат есть люди, хорошо относящиеся к русским и даже готовые перебежать к партизанам, это я знал, но что подполковник Гу-

сар Иозеф, командир словацкого полка, стоявшего в Хойниках, положительно относится к нам, этого я никак не ожидал. Убедившись, что мы действительно дружески настроены к словакам, Андрей признался, что был шофером подполковника. Дело начинало принимать серьезный оборот.

— Почему сразу не сказал? — спросил я его.

— Боялся, пан офицер.

— Чего боялся?

Солдат молчал. Я поставил вопрос ребром.

— А может, тебя послал сам подполковник?

— Не, не, прошу пана... — замахал он руками.

— Но знал, что ты к нам идешь?

— Нет. У нас дисциплина. И если бы он смолчал, то завтра половина солдат пошла бы в партизаны, а послезавтра швабы повесили бы самого пана подполковника Иозефа.

Я доложил о нашем разговоре командованию.

Больше всех им заинтересовался товарищ Демьян. Мне показалось, что его уже начал разбирать партизанский романтический зуд. Ничем его не обнаруживая, он говорил спокойно:

— Надо этого словацкого подполковника обязательно агитнуть.

— Но как?

— Написать письмо.

— Это можно. А как его передать? Если оно попадет к немцам, мы погубим человека. Подполковника расстреляют. А если письмо дойдет, надо же еще получить ответ.

— Ну, это ваше дело. Думайте. Передают же люди... — немного вспылил Демьян.

Я подумал об Андрее, но этот вариант сразу отпадал. Его знали солдаты, знали, что он бежал к партизанам.

И тут я вспомнил о Карповне, о том, что она сама вызывалась на разведку в Овруч.

— Давайте ее сюда, — сказал Демьян.

Мы рассказали ей все, ничего не скрывая.

— А это очень нужно? — спросила Карповна.

— Да, нужно, — ответил, не колеблясь, товарищ Демьян.

— Дайте подумать.

— Думайте.

Учительница прошлась по просеке взад и вперед. Минут через десять она подошла к нам и сказала:

— Я согласна. Только с условием...

— Какое условие?

— Достаньте мне шикарное платье...

— Ну, от ще выдумка... — пробурчал Павловский.

Ковпак так посмотрел на помпохоза, что тот даже крякнул.

На чистом куске холста от парашюта Вася Войцехович напечатал текст письма. Карповна зашила его в полу куртки.

До места ее провожало отделение разведчиков под командованием Кашицкого. В нескольких километрах от городка они должны были ждать ее, пока она не вернется.

К вечеру экспедиция вышла из лагеря.

На четвертые сутки Карповна вернулась. Я расспросил ее и повел к Демьяну. Когда мы, внимательно выслушав Карповну, обменялись мнениями о результатах, товарищ Демьян сказал:

— Почему вы не фиксируете такие вещи? Надо фиксировать. Тем более, что это же грамотный человек.

Я взял в штабе несколько листов бумаги и пошел к Карповне.

— Вы можете записать весь ваш разговор с подполковником?

— На свежую память могу.

— Пишите.

Она присела у пня свежесрезанной сосны и тут же карандашом записала весь свой разговор.

Я передал его без изменений.

«— Господин подполковник, я пришла к вам как представитель Красной Армии.

— Какой Красной Армии? — спросил подполковник.

— Красной Армии, действующей в тылу противника.

— Что вы от меня хотите?

— Я хочу, если вам дорога ваша родина, если вы хотите видеть свою Словакию свободной, чтобы вы поступили так, как поступил полковник Свобода.

— А кто такой полковник Свобода? Я его не знаю.

— Полковник Свобода — это словацкий полковник, перешедший со своей дивизией на сторону Красной Армии и воюющий теперь против нашего общего врага — немцев.

Подполковник молчал.

— Господин подполковник, я принесла вам письмо от наших генералов.

— Давайте его мне, — сказал подполковник.

Я отдала ему письмо.

— Но я не понимаю по-русски.

— Дайте я вам прочитаю и объясню непонятные места, — сказала я.

— Господин подполковник... — начала я читать письмо.

— А вы знаете, что я могу вас расстрелять? — спросил он.

— Знала еще тогда, когда получила задание отнести вам письмо.

— Зачем вы пошли?

— Нужно было, — ответила я.

Подполковник молча посмотрел на меня. Что он в этот момент подумал, не знаю, но у него был такой удивленный вид, что в другой обстановке я, пожалуй, расхохоталась бы, но теперь я попросила его, чтобы он выслушал меня до конца, а потом уже привел свою угрозу в исполнение.

— Нет, никогда я не отдам вас в руки немцев! — воскликнул подполковник.

Когда было кончено чтение письма и его объяснение, подполковник сказал: «На парламентские переговоры я не пойду, перейти на сторону Красной Ар-

мии не могу, потому что за это нашу родину немцы сожгут».

— А полковник Свобода перешел же? На-днях его приветствовал доктор Бенеш, — сказала я.

— Он был во Франции, в Германии, и оттуда пошел на фронт, там он перешел на сторону советских войск. Мы же находимся в тылу врага. За переход словаков на сторону партизан их семьи расстреливают или жгут их дома, — ответил он.

— Но бывают же случаи, что во время боя сдаются в плен. Почему же вам не перейти на сторону партизан во время боя? — спросила я.

— Потому, что немцы уничтожают семьи тех словаков, которые перешли на сторону партизан, и тех, которые сдались в плен, — ответил подполковник и в подтверждение своих слов прочитал немецкий приказ.

— Но ваши же переходят? — сказал я.

— И плохо делают, — ответил подполковник. — Нам немцы не доверяют, и если начнется массовый переход словаков на сторону партизан, то нас отсюда уберут и на наше место пришлют мадьяр или немцев. Вам же будет хуже. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Когда вы наступали на Брагин, мы немцам на помощь не пошли. Мы вас не обстреливаем, если мы одни, хотя и видим вас. Все наши солдаты на стороне русских. Русские — наши братья. Чем можем, тем помогаем. Лично я из этого местечка отпустил трех человек, которым грозил расстрел, и многих партизан отпустил на свободу. Большего сделать пока что не можем, у нас ведь у всех словаков есть семьи, а если мы перейдем к вам, то их уничтожат. Бейте германов! Мы их тоже ненавидим. Уничтожать их мы вам не помешаем. Еще передайте своим командирам: лучше вам перебраться на другую сторону реки, а то прибыло много мадьяр и немцев с танками в местечко Н. и Р. На другой стороне реки их меньше.

— Значит, все? — спросила я.

Он ответил, что перейти на нашу сторону пока нельзя. И замялся, покраснев.

— Уходите скорее, чтобы вас здесь не заметили, вам нужно жить, — сказал подполковник задумчиво в конце нашего свидания».

Но не во всем благополучно окончилась эта разведка. Отделение Кашицкого, сопровождавшее Карповну, осталось ждать в лесу под Хойниками. Может, хлопцы выпили, а может, и вели себя беспечно, но их заметили. Когда они уснули, на них напали. Один разведчик был убит, а пулеметчика Пархоменко взяли в плен вместе с пулеметом.

Кашицкого Ковпак разжаловал в рядовые. Нужно было выяснить судьбу Пархоменко. Если он в руках у словаков, мы еще могли надеяться, что они его хотя бы не расстреляют.

— Нужно немедленно послать кого-нибудь в Хойники, — приказал Руднев.

— Но кого? Карповну нельзя. Сейчас ее может выдать тот же Гусар Иозеф.

Приблудилась к нам одна девчушка по имени Валя, воспитанница Богодуховского детдома на Харьковщине. Немцы угнали ее на работу в Германию. Ей удалось бежать и где-то возле Киева она набрела на наш отряд. Пристала к нам. В роту я ее не послал. Носить оружие ей пока было не под силу. Измученная непосильной работой, она походила на золотушное дитя гигантского роста. Сходство довершала остриженная под машинку голова и коротенькое платье. За две недели пребывания в отряде она успела немного откормиться, обмыться, приодеться, и на голове у нее буйно росли короткие, мальчишеские вихры, завивавшиеся возле ушей и на затылке. Валентина рассказывала мне о Германии, о подземном городе, вырытом в горе, где работали тысячи русских пленных, поляки, французы и украинские девчата. Они производили оружие и части к самолетам. Город назывался Зуль. «Подземный город Зуль, Зуль, Зуль...» — часто сверлила мой мозг мелодия, когда я на марше видел стриженую девчурку, рассказывавшую мне впервые о «белых неграх» — тысячах невольников, свезенных со

всей Европы в подземелья кровожадного немецкого Ваала.

Валя неплохо владела немецким языком. Имела документы, добытые в Польше. С ними могла ходить по оккупированной территории, якобы пробираясь домой на Харьковщину. Она недавно сама просилась в разведку. У нас каждый, не участвовавший в боевых делах, чувствовал себя неловко. Такой уж была атмосфера нашего боевого коллектива. Валю я и решил послать в Хойники.

Она вернулась на четвертый день и рассказала о смерти Пархоменко.

Его вывели расстреливать 1 мая.

Гестапо вызвало взвод словацких солдат. Никто, ни словацкое командование, ни солдаты, видимо, не знали, зачем их вызывают. Пархоменко поставили у ямы, и немец прочитал приказ о расстреле. Жителей допускали на такие зрелища, очевидно, для внушения им почтения к немецкой власти. Среди небольшой группы женщин и толпы вездесущих глазастых мальчишек толкалась Валентина. Пархоменко стоял лицом к взводу и улыбался. Если бы я не знал его хорошо, я не поверил бы Валентине, но то была правда. Пулеметчик этот улыбался всегда. Казалось, не было на свете причины, способной заставить его опечалиться. Он всегда носил свой ручной пулемет на плече, как коромысло или булаву, взяв его за конец ствола, ложем за спину. И в свой смертный час он остался самим собой. У могилы улыбался и, вероятно, думал об одном: «Как жаль, что в руках нет моего «дегтяря». Дал бы я вам партизанской жизни».

— И вдруг, — рассказала Валентина, — когда раздалась команда и солдаты звякнули оружием, Пархоменко произнес речь.

Валя не сумела запомнить слов, не смогла толком рассказать, глаза ее были полны слез, всхлипывая, она повторяла:

— Он говорил о дружбе славянских народов и затем крикнул: «Кого стреляете, словаки, чехи, своего брата?»

И тогда немец скомандовал взводу. Они подняли ружья и выстрелили все сразу. Пархоменко стоял у ямы и... улыбался. Все солдаты выстрелили в воздух. Немец закричал и бросился к солдатам с маузером в руке. Пархоменко перепрыгнул через яму и бросился бежать по кладбищу. Немец застрелил двух солдат.

Пархоменко остановился и побежал обратно.

«Стреляй шваба, стреляй, браты!» — крикнул он. Но солдаты стояли молча. И немец выпустил всю обойму в Пархоменко. Я ушла, не могла больше. Эти словаки не могут убить партизана, но и на немца у них тоже не поднимается рука. Чтоб чорт побрал их, это какие-то домашние животные, а не люди...» — И девушка выругалась громко, сильно, по-мужски и так же громко зарыдала, уткнувшись мокрым лицом мне в колени.

XXXVI

Наши бойцы явно скучали. Уже давно мужички из Аревичей, Тульгович и Красноселья растащили, отвинтили, обломали все, что отвинчивается и ломается, с обгоревших и продырявленных пароходов. Мы были привязаны к этому месту нашей стратегической разведкой. Ее выполняли тринадцать разведывательных групп. Всего до двухсот разведчиков рыскали по Днепру от Речицы до Киева, ощупывая побережье древней реки протяжением на триста километров. Надо было дать хлопцам время сделать работу добросовестно и вернуться. Три разведгруппы пошли еще дальше: одна — под командованием Шумейка, командира разведки второго батальона, — под Чернигов; другая — под командованием Швайки, командира разведки третьего батальона, — под Бахмач — Конотоп; Федя Мычко ушел под Киев, к Могиле. Поэтому мы сидели на месте, чувствуя, что хватили через край. Федоров и Мельник давно ушли

через Припять на запад. Ближайшие разведгруппы, ведущие разведку «на себя», приносили тревожные вести, а уходить было нельзя. Не могли же мы бросить лучших своих людей.

Конечно, разведчики не погибнут, но найдут ли они свое соединение или пойдут бродить по белу свету? А местные партизанские отряды снялись с мест и уже засели в болота. Не пора ли и большому зверю навострить копыта?

— И рада душа в рай... Эх, не в час мы в цю стратегию впутались... — чесал затылок Ковпак, искоса поглядывая на товарища Демьяна.

— Обойдется, — говорил тот.

— Залезли мы сами в мешок. Вот что плохо, — говорил Руднев, разглядывая карту. — Две больших реки, а мы между ними. Действительно, — «мокрый мешок».

Но бросать разведчиков командование все же не решалось. Немцы по всем правилам организовали оборону по берегам рек: по Припяти — на правом западном берегу, фронтом на восток; и по Днепру на восточном — фронтом на запад. Конечно, это были пока только отдельные гарнизоны в селах, где по роте, где по батальону. Но с нашими переправочными средствами, с большим количеством грузов, припасенных для нового рейда, прорвать эту оборону и вырываться через реку было трудновато. Оставался один путь: вылезать из мешка на север.

— Ох, завяжуть нимцы гузно, буде нам мишок, — кряхтел старик.

К середине мая собрались разведчики, подтвердившие наши опасения. Но одновременно они сообщали: на участке от Речицы до Киева никаких оборонительных сооружений нет. Нет не только дотов или дзотов, но даже и окопов. Правда, разведка «на себя» подтверждала скопления войск. По разношерстному их составу, малому количеству артиллерии ясно было, что эти войска предназначены для действий против партизан.

Днепр и Припять, сближаясь на юге, образуют

нечто вроде треугольника, обращенного своей вершиной на юг.

Замысел немецкого командования был понятен: загнать партизанские отряды в угол и прижать к воде. Это подтвердили позже немецкие пленные солдаты. Потому-то задуманную операцию так и называли они — «мокрый мешок».

Наиболее простым и правильным решением был выход на север. Междуречье расширялось в этом направлении и давало большую свободу маневра. Выйдя за линию железной дороги Мозырь — Гомель, мы попадали в белорусские леса, кишевшие отрядами, и затем, повернув на запад, могли двигаться вдоль Припяти сколько нам угодно, хоть до Буга и Вислы.

Но так только казалось. В последних числах мая мы выдвинулись из района Аревичей и, пройдя между Хойниками и Аревичами, где все еще стояли словацкие гарнизоны, подошли к железной дороге. В это время на аэродром в Кожушках вернулся Горкунов, лечившийся после ранения в Бухче, и принял на себя войсковую разведку. Я вел агентурную и подытоживал по заданию товарища Демьяна результаты наших крупных разведывательных операций на побережье Днепра.

Не знаю, как это случилось, но выбор места форсирования железной дороги оказался не слишком удачным. Кажется, подвел нас политрук разведки Ковалев. Он хотя и знал наизусть «Анну Каренину» и многие другие художественные произведения, но разведчиком был неважным. Помню, что именно по его данным мы выбрали место формирования на лесном полустанке, западнее станции Демихи. Правда, мы получили сомнительные сведения от местных партизан о том, что участок железной дороги между Днепром и Припятью усиленно охранялся. Кто-то из командиров отряда даже уверял, будто немцы в последние дни поставили на этот участок железной дороги полторы дивизии. Но мы не могли поверить этому явно фантастическому слуху. До сих пор немцы

охраняли железные дороги небольшими силами самых разношерстных и низкопробных войск.

Но, подойдя вплотную к полустанку, мы убедились, что местные партизаны, пожалуй, были правы.

Конечно, будь место форсирования железной дороги выбрано лучше, мы бы пробились через нее. Как это ни странно на первый взгляд, но этот полустанок был очень хорош для ведения разведки днем и оказался совершенно не пригодным для ночного перехода через него большой колонной.

Узкие просеки, ведущие к железной дороге, уже за сто метров от железнодорожного полотна с одной и другой стороны были сплошь завалены деревьями: лес вокруг просеки немцы вырубили и свалили на землю, очевидно, что кое-где завалы даже заминировали. Для того чтобы успешно провести всю колонну через переезд, следовало сперва перебить или разогнать охрану бункера, потом разобрать завалы с одной и с другой стороны и только тогда продолжать движение отряда с обозом.

Бой за переезд начали третья, восьмая и пятая роты. Командование этим сводным батальоном выпало на мою долю. Мы бросились вперед в тот момент, когда мимо проходил эшелон. Это была единственная возможность под шум поезда проскочить стометровую полосу, заваленную сухим валежником, который трещал под ногами. Но мы не смогли учесть одной детали, ибо разведка днем проморгала эту «мелочь»: подходы к переезду были опутаны колючей проволокой. Подбежав вплотную к полотну, роты напоролись на колючку и залегли. Пока побежали в обоз за ножницами, поезд прошел, наступила тишина. Через минуту залаяла собака, в небо взвилась ракета, одна, другая. Раздалось несколько винтовочных выстрелов часового, и начался бой.

Он продолжался до самого утра.

Третья и восьмая роты проскочили через железную дорогу, обойдя переезд. С другой стороны ворваться на полустанок тоже было невозможно: везде колю-

чая проволока. Словом, гарнизон полустанка, почти полностью перебитый и обладавший лишь одним пулеметом и несколькими автоматами, взять все же не удавалось.

На рассвете противнику стали подбрасывать подкрепления. Но небольшие составы, в пять-шесть вагонов, подходившие к полустанку, в упор расстреливались батальонами и ротами, к утру введенными нами в бой.

Патронов мы не жалели, так как были ими снабжены хорошо, и, казалось, лес уже перестал отзываться эхом на бесчисленное количество выстрелов и очередей, на гуканье бронебоек и взрывы ручных гранат.

Вырывался пар из трех подбитых и продырявленных паровозов, кричали раненые немцы; большинству из них не удавалось даже вылезть из вагонов. Их крошили перекрестным огнем восьмая и третья роты, находившиеся по другую сторону пути. Но все это было только половиной победы. Чем выше поднималось солнце, тем яснее становилось нам с Базымой, что это первая железная дорога, которую нам не удалось перейти.

Немцы удивили нас своим упорством в стремлении разбить отряд. Скажу прямо: мы не ожидали от них такой прыти.

Часов в десять утра из обоза, остановившегося в полукилометре от полустанка, переползая от дерева к дереву, к нам пробрался Миша Семенистый. Не дойдя метров тридцати, он крикнул:

— Товарищ начальник штаба, товарищ подполковник, вас командир вызывает!

Мы лежали в валежнике на опушке леса. Базыма взглянул на меня и спросил:

— Как думаешь, Петрович, отходить?

— Да, пожалуй, — ответил я.

Туман, до этого времени скрывавший нас от немцев и проклятый полустанок от нас, рассеялся, все стало видно, как на ладони. Метрах в семидесяти пяти впереди, еле заметно, грибом вросло в землю

маленькое деревянное здание, засыпанное до крыши землей. Вот оно-то, как кость поперек горла, стало на нашем пути.

Чем дольше затягивался бой, чем детальней выяснялись силы противника, тем больше наше первоначальное удивление переходило в тревогу. Дело принимало серьезный оборот.

За ночь и на рассвете мы успели изучить всю опушку леса и знали каждое дерево на ней. Отползать стали быстро и смело.

Но, видимо, не все, позволенное ночью, можно делать и днем. За проволочными заграждениями у противника уже было несколько пулеметов, и не успели мы с Базымой подняться для перебежки, как пулеметные очереди снова прижали нас к земле.

Нервы, отвыкшие за время полуторамесячной мирной стоянки на аэродроме, не выдержали напряжения. Помню как сейчас: мы залегли за старой раскоряченной, как рукоятка гигантской рогатки, сосной, и каждый из нас спрятал за ее ствол лишь голову и часть туловища. Щепки летели от сосны, осыпая нас корой и смолистой хвоей, прижимая все ближе и ближе к земле. Почти касаясь щекой мягкой, усыпанной желтыми хвойными иглами земли, я взглянул на Базыму, а он на меня, и вдруг мы весело заржали — два старых дурака.

Еще полгода нам пришлось воевать вместе, часто встречаемся мы с ним и сейчас, но этот смех под раскоряченной сосной мы всегда вспоминаем в первые минуты свидания.

— А помнишь, как мы лежали под сосной на полустанке?

— Ну, еще бы...

Когда мы подошли к обозу, оказалось, что и там было небезопасно. Хотя штабные повозки находились в середине, но и туда залетали шальные пули и мины. Убило комиссарову лошадь, красавицу, белую арабскую полукровку, прошедшую с нами весь путь от Брянских лесов.

Ковпак лежал на повозке, закутавшись с головой

в воротник своей мадьярской шубы, и курил цыгарку за цыгаркой.

Возле комиссара толпились представители Большой земли; товарищ Демьян сидел на тачанке с прутиком в руках; Сергей Кузнецов что-то оживленно объяснял Панину.

По сконфуженным лицам Руднева и Базымы (это ведь был первый бой в присутствии Демьяна), по тихим многоэтажным словам Ковпака, которые он цедил сквозь новые зубы, по подчеркнуто спокойным репликам товарищей с Большой земли было ясно, что положение серьезное.

Связным было передано приказание выводить роты из боя.

Не знаю, понимали ли это все, но товарищ Демьян, Ковпак и Руднев понимали. Неудача на полустанке означала, что надо поворачивать назад, на юг. Места для двух- или трехдневного маневра было достаточно, но уже становилось ясно, что противник снимется с железки и пойдет вслед за нами, все более и более загоняя нас в тесный «мокрый угол», загребая нас, словно рыбу неводом.

Начало операции ему удалось. Нашу попытку выйти из мешка он отбил успешно.

— Завертай, Политуха, — сказал Ковпак, спрыгнув с тачанки.

Обоз уже двигался по дороге в обратную сторону. Назад ушли и повозки штаба, уехали товарищ Демьян и Руднев.

Ковпак присел в придорожной канавке. Мы с Базымой передавали краткие словесные приказания и сообщали порядок отхода. Дед сидел и ворчал:

— О це мени морока с цым гарнизоном.

Я подошел к нему и расстелил карту. Он рассвирепел еще больше:

— Ну, шо ты з картою зараз? Тут треба думать, як вылазыть. Не казав я, раниш выходыть в рейд, а от тепер далы время нимцю гузно у мишка завьязаты. От тепер попробуй вылизай. — Затем кинул мне через плечо: — Щоб мени до вечора той Кова-

лев не попадався пид горячу руку. Пристрелить можу. Поняв?

И вдруг легко, на ходу, прыгнул в проезжавшую мимо обозную тачанку и скрылся за поворотом лесной дороги.

Многие роты уже вышли из боя, но не было двух: третьей Карпенко и восьмой Сережи Горланова. Они оказались отрезанными по ту сторону насыпи.

Кроме первых трех подбитых нами на полустанке составов, немцы пригнали еще несколько. Им удалось разгрузить их в стороне. И судя по выстрелам, раздававшимся то тут, то там, и лаю собаки, они уже двигались цепью по лесу, заходя нам в тыл. Надо было уносить ноги.

Базыма оставил несколько пулеметных расчетов прикрывать отход. Сзади еще задержалась пушка Ефремова и несколько повозок, вывозивших раненых.

Немцы обходили нас, все глубже забирая в лес.

Мы уже собрались уносить ноги, когда со стороны полустанка галопом прискакала оседланная лошадь. Базыма выскочил на просеку и поймал ее под уздцы.

Только тогда мы увидели Костю Дьячкова: он лежал, склонившись на шее лошади, весь окровавленный. Мы переложили его на базымову повозку. От головы до ног он весь был в крови. Я сел за извозчика. Базыма пробовал выяснить, куда он ранен, поговорить с ним, но парень, видимо, агонизировал. Когда мы догнали обоз и поехали шагом, начальник штаба сказал: «Конец!» А потом вдруг нагнулся над телом Кости, разжал его кулаки и вынул смятую в комок бумагу. Разгладил его и вытер полой кожанки костину кровь, проговорив:

— Письмо. Возьми! Приедем, на месте разберемся.

Конверт был в крови, к нему прилипли песок и пожелтевшие иглы хвои. Это был европейский конверт с подложкой из толстой сиреневой бумаги. Вскрыв его, я увидел, что письмо сохранилось. Я спрятал исписанные листки в полевую сумку вместе со своим дневником и письмами украинских девчат из Германии.

Отойдя километров десять на юг от железной дороги, мы раскинули лагерь в лесу, выставив заставы, и простояли до вечера, надеясь, что роты Горланова и Карпенко все же нагонят нас. Но они так и не пришли. Медлить мы не имели права. Сейчас нас могли спасти только решительность, быстрота движения; нам помогало и то, что вражеский мешок был относительно велик.

Пока междуречье еще давало нам возможность выбирать самим то место, где удобней всего было бы вылезать из мешка. Не дождавшись сумерек, двигаясь лесом, скрывавшим наше движение от авиации, мы начали стремительный марш на юг, почти по той же дороге, по которой и пришли. На месте нашей десятичасовой стоянки осталась лишь одинокая могила Кости Дьячкова, да где-то на линии железной дороги две лучшие роты — Карпенко и Горланова. Судьба их нам была неизвестна...

XXXVII

Рассвет застал отряды южнее Хойников, недалеко от места, где еще три дня назад мы принимали самолеты.

Разведать Аревичи и близлежащие шоссейные дороги мы не успели и поэтому решили два дня стоять в лесу.

Начиная от Тульговичей, Припять была хорошо разведана нами еще во время стоянки и разгрома флотилии. Русла и бесчисленные «старики» и «старицы» обхожены разведчиками-рыболовами. Переправляться через реку можно было только здесь.

Для того чтобы построить мало-мальски пригодную переправу, следовало выгадать два-три дня. Южнее села Тульговичи у громадного заливного луга стоял некогда большой сенопрессовальный завод. Конечно, он зря носил громкое название — «завод»: это был просто громадный деревянный сарай, чуть ли

не в полкилометра длиной, а в сарае несколько станков, прессующих сено. Да еще на километра полтора протянулась к заводу и от завода к реке узкоколейка.

Завод сейчас не работал. Станки были разбиты, большая часть рельсов, сорванная со шпал, лежала в стороне.

Стены прессовального завода мы решили использовать как материал для наплавного моста.

У нас уже был опыт постройки наплавного моста через речку Тетерев; завелись и кадры сплавщиков, возглавляемые Яковенко из Блитчи, носившего громкое название «командира отделения саперов-понтонеров».

Когда Ковпак привез Яковенко на своей тачанке к сенопрессовальному заводу, тот долго ходил вокруг сарая, заложив руки за спину, останавливаясь и почесывая всякие места, начиная от потылицы и ниже, которые надлежит почесывать настоящему потомственному украинцу в затруднительные моменты, и пытался убедить Ковпака, что в Блитче лесоматериал был другой: толстые сосны и ели, река поменьше и знакомая. Но дед упрямо настаивал на своем.

— Речка незнакомая? — говорил Ковпак. — Ты что ж думал, только в знакомых местах воевать? Раз вже решився — я ж тебе силою не брав, — так у нас, брат, дисциплина.

Последний аргумент Ковпака, видимо, убедил «сапера», и он, еще раз почесав потылицу, замолчал.

Но, потерпев поражение в вопросах технических, Яковенко попробовал было отыграться на тактических соображениях.

Километрах в трех от сенопрессовального завода, на противоположном берегу, в чаще леса, скрывалось село Тешков. Уже около недели в Тешкове стоял немецкий эсэсовский батальон.

Выторговав около полутора суток на постройку наплавного моста, Яковенко поставил вопрос прямо:

— А дадут нам тешковские построить мост?

— А то не твое дило. Мост будемо строить в ку-

стах, за насыпью, по кускам. За ночь сведемо в одну линию и утром переправымось.

Яковенко, подняв было руку к потылице, не дотянул ее и двинул плечом:

— Ну, тогда возражениев не имею.

— Так бы и давно. Но тильки памятай, у нас так: не давши слова — крепысь, а давши — держысь.

Яковенко получил под свое техническое руководство несколько рот первого батальона, и постройка началась.

Но с севера от Аревичей уже подошли немецкие части, которые начали загонять нас в мешок. Пока это были два полка пехоты и восемь танков. Но, кроме них, нам следовало учитывать еще два полка словаков, которые до сих пор, по договору с подполковником Иозефом Гусаром, сохраняли нейтралитет; однако, с подходом крупных немецких сил, и они могли быть брошены против нас.

В это время нас догнала рота Карпенко, отставшая за железкой. Карпенко подтвердил скопление больших сил на севере. На шляху Гомель — Хойники, он сам видел, почти всю ночь двигались автомобили, танкетки, бронемашины, артиллерия.

Ковпак взял на себя постройку моста. Руднев должен был удерживать противника и не дать ему прорваться. На карту мы ставили все. Пока что инициатива попрежнему была у нас. Но если немцам удастся прорвать нашу оборону, или же Ковпак затянет постройку моста, или же тешковские наблюдатели разгадают место и точку нашей переправы, — нам придется туго.

К концу первого дня начался бой. Стычки носили характер авангардных боев. Заставы, сбив передовые отряды немцев, сразу же отходили в лес. Правда, на одну из застав навалилось три танка, и отход ее был больше похож на паническое бегство. Выручили минеры, подорвавшие передний танк на узкой лесной дороге.

По присутствию танков на этом участке мы определили, что именно здесь намечается основ-

ной удар немцев по шляху, вдоль левого берега Припяти, к югу. Немцы вели разведку боем, но вели ее и мы.

К концу первого дня стало ясно, что завтра противник готовит большое наступление на разгром.

Правила партизанской тактики и опыт, уже становившиеся каноном, подсказывали нам, что именно здесь, вдоль опушки леса, надо строить оборону. К счастью, в штабном сундуке Тутученко оказалась километровка этой местности. Руднев долго изучал ее, прикидывая циркулем, намечал что-то карандашом. За час до захода солнца он оставил Базыму руководить боем застав, взял с собой связных Войцеховича, Кульбаку, Анисимова и меня и помчался к селу. Мы едва поспевали за ним, не понимая, зачем ему нужно было так спешить.

На юго-восточной окраине села, куда мы прискакали галопом, оказалась большая заросшая кустарником высота, полого уходящая вверх. На ее макушке чернел сосновый бор. Когда мы взлетели на высотку, солнце уже заходило. Едва мы повернули коней на северо-запад, как сразу поняли, куда так спешил Руднев.

Впереди расстилалось поле завтрашнего боя.

Ни слова не говоря, Руднев только показал нам широкую равнину, косым углом уходящую к селу, ограниченную справа речушкой, перерезающей Тульговичи пополам, слева — шляхом из Юрович и Припятью.

— Ну, как? — спросил комиссар.

Кроме Руднева, здесь не было ни одного военного профессионала. Колхозник Матющенко, кооператор Кульбака, снабженец Анисимов и я, смиренный служитель муз, — ни один из нас ни разу в жизни не слушал ни одной лекции ни по топографии, ни по тактике. Но если мы хоть что-нибудь понимали в слове «позиция», то это была она.

— Вот тут завтра будем давать бой, — сказал Руднев и слез с коня.

Мы вытащили ноги из стремян.

— Куда? — спросил Руднев. — Ловите момент. Вы не увидите больше всей этой позиции в целом, так запоминайте ее сейчас. Изучайте на местности каждый овраг, куст и бугор. Все пригодится вам завтра.

Солнце уже зашло. Со стороны реки и леса набежали тени и — словно губка рисунок с грифельной доски — стирали пригорки, бугорки, овражки и речки. С Припяти вставал туман, над Тульговичами поднимались хозяйственные дымки из труб.

— Матющенко будет на левом фланге. Кульбака — на правом. Изучайте свои участки и участки соседей. Обоз и раненых расположим в бору, — комиссар указал на восток. — В кустах — батарея. Анисимов стрелять будет с закрытых позиций. На этом месте — наблюдательный пункт.

До сих пор наши партизаны привыкли ночью либо двигаться, либо спать. Эта же ночь перевернула все наши привычные партизанские представления об этом времени суток. С высоты мы спустились вниз, и на местах, выбранных и указанных Рудневым, целую ночь рыли окопы полного профиля. Большая часть нашего рядового состава была знакома с примитивным фортификационным делом. Многие служили младшими командирами в армии, пришли к нам из окружения и плена, но все же стоило немалых трудов заставить людей по-честному отнестись к окопным работам. Тем не менее, к рассвету подходы к Тульговичам опоясались глубокими канавами, были отрыты одиночные ячейки для бойцов, пулеметов, бронебоек. От них — ходы сообщения к реке, оврагам. Словом, в шесть часов утра противник начал наступление на несколько километров севернее нашего настоящего переднего края. Проведя предварительную подготовку, вошел в лес и никого там не обнаружил. Подготовка ушла впустую. Часть дня мы выиграли без выстрела.

Лесные дороги были нами заблаговременно подминированы, и на них взорвался еще один танк и несколько автомашин. Немцы шли по лесу цепями,

прочищая его. Только к двенадцати часам дня они сосредоточились на южной опушке леса, провели разведку и лишь к двум часам дня начали наступление на Тульговичи.

Не меньше двух полков пехоты и пятнадцати танков пошли в наступление против нас и были отбиты с большими потерями двумя нашими батальонами. Пушечки Анисимова тоже хорошо поработали.

Конечно, это не так просто — отбить даже одну атаку немцев. А мы отбивали их трижды в этот день.

В бою за Тульговичи и Кожушки я до конца понял Руднева. Какой командир! Ясный ум, командирский темперамент, умение одновременно видеть все этапы и фазы боя и его развитие и кульминационный момент. Не партизанский вожак, а генерал регулярной армии. Как жаль, что ему пришлось растрачивать свой талант, командуя несколькими пушчонками и двумя батальонами, насчитывавшими в совокупности не более трехсот человек, тогда как ему было бы по плечу руководить десятками тысяч бойцов.

В пылу боя, выполняя отдельные поручения Руднева, следя с восхищением за его работой, я любовался им и сравнивал его с Ковпаком.

Главное в этом бою было то, что позиция, выбранная Рудневым и показанная нам накануне в лучах заходящего солнца, надежно обеспечивала фланги шестикилометрового участка нашей обороны.

А дед сидел в это время на сенопрессовальном заводе, может быть, и чарочку выпивал под самым носом эсэсовского батальона. Он строил в кустах мост, через который к утру должен был переправить всю свою армию; а это как-никак — полторы тысячи человек, два 76-миллиметровых и восемь 45-миллиметровых орудий, десятки тонн груза, сотни повозок и тачанок, — и начихать ему было в высшей степени и на фронт, и на тыл, и на фланги.

Может быть, потому именно здесь, на берегу Припяти, перед рассветом, когда Яковенко и Бакрадзе со своей девятой ротой уже почти навели мост через

реку, командир и комиссар яростно заспорили из-за какого-то пустяка. В этот день каждый из них проявил себя наиболее ярко в своей стихии.

Не помню, из-за чего у них произошел спор, но сцена размолвки была очень комична. Во всяком случае для меня.

На западе заходит багровая луна, поперек реки колышется на волнах зыбкий, построенный на «соплях», из гнилых, трухлявых бревен, деревянный мост. Длинной змеей остановился обоз, подходят роты, снявшиеся с обороны, снуют голые по пояс бойцы, — они заходят по шею в воду, исступленно матерясь шопотом. И вдруг два человека, после невероятных усилий, приложенных ими к тому, чтобы окончить проклятую переправу, схватывают друг друга за грудки и вот-вот ахнут один другого по уху.

И, как всегда в таких случаях, у меня совсем некстати подымается откуда-то непреодолимый смех, и я убегаю в кусты; оттуда вижу: между генералами возникает фигура товарища Демьяна, и я слышу, как он говорит возмущенно:

— Да вы что, с ума сошли, что ли? Марш на свои места!..

И, как нашкодившие мальчишки, два генерала расходятся по сторонам, посапывая и тихо ругаясь.

К рассвету наступил критический момент. На лодках и частью вплавь мы перебросили две роты на противоположный берег, чтобы обезопасить себя со стороны Тешкова, но переправу основной массы наших сил нельзя было начинать. Яковенко просчитался и построил мост метров на двадцать короче. Надо было дотачать его, но нехватило материала и людей. Не спавшие несколько ночей хлопцы уже впали в состояние апатии.

Противник отошел вчера с большими потерями. Оборону мы сняли и подтянули все силы к реке. Но сегодня немцы должны были начать наступление с новым ожесточением.

Оставшийся в Тульговичах взвод конницы всю ночь швырял в небо ракеты всех цветов, имитируя остав-

шуюся на местах оборону. Надо было торопиться. Но люди совсем выбились из сил.

И вот, когда уже почти совсем рассвело, в воду вошел в хромовых сапогах и коверкотовых бриджах товарищ Демьян. Вместе с ним в реку полезли, по одну сторону — Павловский, по другую — я, и мы начали таскать к переправе бревна, хворост, траву... Сейчас же в работу включилась рота Бакрадзе, воодушевленная своим командиром. Давид бегал в одних кальсонах, похожий на огромного утопленника, крича совершенно непонятные грузинско-русско-украинские слова. Наконец последние двадцать метров моста на мелком песчаном берегу были кое-как достроены. Вернее говоря, тут была навалена куча досок, бревен, гнилых пней и все забросано песком, камышом, кустарником и в довершение присыпано сверху землей. Мы и сами не могли бы точно определить, что это такое, но теперь появилась хоть некая видимость почвы под ногами — и это было главное. К счастью, река с нашей стороны оказалась неглубокой.

К восходу солнца отряд стал переправляться. Одновременно передовые роты, переплывшие на лодках, начали бой.

В Тешкове проснулись, обнаружили нас.

Но по мосту уже бежали старики, девушки, мальчишки с патронными ящиками на плечах, поднося боеприпасы.

Рота за ротой с ходу бросались в бой.

На том берегу, у столетнего, снесенного грозой дерева, к которому был привязан трос, державший мост, стояли Руднев и товарищ Демьян. Жестами, словами, шуткой они подбадривали бегущих бойцов.

Переправив часть рот, мы задержали два батальона на том берегу и стали переправлять обоз. Но больше всего мы опасались за артиллерию. Невозможно было переправить пушки с лошадьми по хлипкому и жиденькому мосту, колыхавшемуся даже под тяжестью человека. Пушки переправляли отдельно, без зарядных ящиков, вручную. Они погружались, и их тащили под водой. Одна накренилась и почти свали-

лась в воду, но ее подхватили люди; они сами падали в воду, выплывали, цепляясь за тросы, бревна, и все толкали тяжелую пушку вперед. Когда перевезли артиллерию, мы уже поверили, что мост способен выдержать всю тяжесть отряда.

Переправа продолжалась больше половины дня. Я не знаю, что делалось там дальше. Сразу, как только переправили пушки, я ушел, по приказу Руднева, в лес, где вели бой рота и второй батальон Кульбаки.

Вначале мы только сдерживали натиск батальона, наступавшего от Тешкова. Противник опомнился и хотел отбросить нас обратно к реке, но, подтянув минометы, а затем и пушки, мы сами повели наступление и во второй половине дня ворвались в Тешков с юга.

Село горело, трещал тысячами выстрелов патронный склад. Изредка взрывались гранаты. Разноцветным фейерверком разлетались во все стороны ракеты. В конце улицы мельтешили спины убегавших, и вся дорога была голубой: немцы, бежавшие по центральной улице села, бросили более двухсот шинелей и не менее ста мундиров. Это были новые эсэсовские шинели голубого сукна на шелковой подкладке и такие же мундиры. Они-то, пожалуй, и спасли часть тридцать девятого эсэсовского батальона.

Может быть, всего минуту задержались наши бойцы, разглядывая диковинные, до сих пор невиданные шинели, но этой минуты как раз и хватило противнику. Часть немцев успела уйти на машинах, прикрываясь огнем одной танкетки, остальные напрямик чесали через поле к кустам и к лесу.

Вечером отряды Ковпака взяли курс на запад.

XXXVIII

Форсировав Припять в пятый раз, отряды выбрались из «мокрого мешка».

На второй стоянке я занялся содержимым своей полевой сумки. Она разбухла, и надо было освободить

ее для новых донесений, заметок и документов. Среди бумажного хлама я обнаружил конверт, покрытый большими ржавыми пятнами, и несколько секунд вертел его в руках, пока не понял, откуда он у меня: это было то письмо, которое конвульсивно скомкала и зажала рука конного разведчика Кости Дьячкова в его смертный час. Прошло не больше недели, а я уже не мог сразу вспомнить, что это такое. «Тогда, на солнце, свежая кровь так ярко алела, теперь же лишь неясные, расплывчатые пятна ржавчины на бумаге!» — пытался я внутренне оправдаться. Но себя трудно обмануть.

Начал читать. Письмо к матери. Простое, солдатское письмо. В нем были поклоны родным, приветы товарищам, наивные описания своих боевых дел. Но в конце письма — ярким лучом — глубокое, пережитое и только для себя сохраняемое, застенчивое чувство... Поразили меня последние слова письма. Костя писал: «Мамочка! Идем на большие дела. Все может быть... Но если я погибну, не смей плакать! Ты гордись мною!»

Я отложил письмо и задумался, вспоминая Дьячкова. Где, как и откуда в этом дерзком, молчаливом и грубом на вид парне нашлись нежные, полные человеческого достоинства слова?

Долго смотрел я на строки и несколько раз перечитывал расплывавшиеся в глазах слова: «Мамочка! если я погибну, ты не смей плакать! Ты гордись мною...»

Если моим сыновьям суждено так же, с оружием в руках, защищать честь и свободу родной земли, высшей наградой для меня были бы такие же мысли. Пусть поднимутся они из самих глубин юношеской чистой души!

Я дописал матери Кости несколько слов от себя. Написать о смерти сына нехватило сил.

Вложив письмо в конверт и надписав адрес, я отправил его на аэродром.

Три марша на запад — и мы вошли в гущу партизанских владений. Это был тот самый, открытый и завоеванный нами в декабре, совместно с Сабуровым, партизанский край. Мы перенесли его из Брянских лесов сюда, в район Лельчиц, Словечно, Сарны.

Теперь трудно узнать эти места: некоторые села сожжены; оставшееся в живых население ушло в леса; все способные носить оружие носили его; в лесах возникали новые поселения — землянки и лагери партизан. Сотни отрядов — украинских, белорусских, польских — обосновались здесь. Многие действовали самостоятельно, но большинство объединилось: одни — под командованием Сабурова, так и оставшегося здесь с декабря; другие — под началом Бегмы и прилетевших на наш ледовый аэродром Маликова, Грабчака-Буйного и других. Здесь же организовались молдавские партизаны. Федоров ушел дальше на запад, под Ковель.

Сейчас задача была в том, чтобы двинуть эти соединения на юг, в безлесные области Украины. Они были уже разведаны: зимой — Наумовым и весной — Ковпаком.

Мы подводили итоги рейда, только что закончившегося разгромом флотилии и «мокрым мешком».

Он был промежуточным и совершался походя, но при взгляде на карту видно было, что этот рейд как бы очерчивал границы той области, где через месяц-два все сплошь кишело партизанами. Сотни отрядов, знаменитых и не знаменитых, больших и малых, действовали по нашим следам. Партизанский край расширялся на сотни километров. Но все же чувство неудовлетворенности не покидало меня. Эх, надо было итти к Киеву и тряхнуть как следует немчуру. «Может, помешала ночь под Коростенем, стоившая жизни командиру девятой роты? — грыз червяк сомнения. — А может, смелости нехватило? Трудно сказать...»

Понимал ли это Ковпак? Кажется, понимал. Помню, я как-то обмолвился. Говоря об одном из партизанских командиров, я брякнул:

— Стратегической смелости нехватило, — очень туманно представляя себе в то время сущность, роль и задачи стратегии.

— Як, як? — переспросил Ковпак, всегда остро воспринимавший все, что по-новому, необычному помогало ему осмыслить свой боевой путь.

Я повторил не совсем уверенно, опасаясь, что дошлый дед поймает меня на путаном слове.

Но Ковпаку понравилась эта мысль.

— Оце ты здорово... От ще в ту вийну помню: есть чоловик храбрый, вси четыре егория заробыв честно, подвигом, потом, кровью. А потом почепят ему погоны, — глядь, а за весь взвод, чи роту думать — нема у чоловика той самой «стратегической смелости». Все норовит сам. И погибает, надрывается. А другому вже погоны воевать мешают: жаль, бачиш, чоловику самого себя становыться...

А мне иногда казалось, что у самого Ковпака нехватило смелости для удара по Киеву, с тыла, когда Красная Армия в первый раз взяла Харьков и вышла на линию Курской дуги.

«А может, помешали генеральские погоны?» — кощунствовал я. Но их тогда еще не было на плечах у этого матерого вояки. Вернее всего, мы потеряли, сидя на Князь-озере, самое лучшее время для удара — зиму! Лишь начало рейда проходило по санной дороге, затем наступила длинная полесская весна. Распутица защищала нас от преследования немцев, поэтому рейд был почти без потерь. Но она же сковывала, задерживала движение отряда, не позволяя молниеносно поражать врага. Мы подошли к Киеву, когда противник уже немного оправился после сталинградского разгрома, когда фронт стабилизировался.

Эх, быть бы Ковпаку под Киевом на месяц раньше! Но этого не случилось. Потому ли, что «стратегической смелости» нехватило, или почему-либо другому, но на Киев мы не пошли.

Есть люди, кто бы они ни были, простые рабочие, колхозники, понимающие свой труд как частицу общего, даже если он крошечная песчинка в грандиозном

труде государства. Но есть люди, мыслящие порайонно, поквартально, со своей колокольни. Им нет дела до того, что не входит в круг их обязанностей. «Отвечаю я за колхоз, цех, учреждение, полк, дивизию, делаю свое дело правильно, а там хоть трава не расти!» Не знаю, как в мирной жизни, но на войне, да еще в партизанской войне, это поквартальное мышление — гроб.

Еще и другое соображение приходило в голову. Возможно, что посланные на укрепление партизанских штабов военные товарищи механически переносили на наше дело опыт военных армейских операций. Умение создать превосходство сил в нужный момент и в нужном месте — вот ключ военного мастерства. Но люди простодушно думают достигнуть его арифметическим путем, путем подсчета штыков, автоматов и стволов. Они забывают, что иногда один солдат способен уничтожить десятки солдат противника, что дух армии стоит порой выше сотен сложных машин, что знание, предвидение и умение командира уловить случай, момент, миг стоят на одной доске с пушками и танками. Превосходство сил — это техника, люди плюс талант полководца.

Словом, я за алгебру войны и против людей, узколобо подменяющих ее арифметикой. Арифметические наклонности некоторых стоили нам немало крови.

Я поделился как-то с товарищем Демьяном этими мыслями.

— Солдат рискует всем, жизнью... А командир еще и престижем, — разгорячившись, ратовал я.

Демьян посмотрел на меня серьезно. Затем сказал:

— А разве много есть на свете людей, для которых престиж дороже жизни?

— Не очень много, но они есть. И не так уж мало, — горячо сказал Руднев.

Демьян повернулся к нему и внимательно всматривался в лицо Семена Васильевича.

— Верно. Вот поэтому основа всех армий — внушение этого престижа. А что такое честь мундира и

былой офицерский гонор, как не внушение той же мысли, что престиж дороже жизни?

— А у нас, партизан?

— У вас? — засмеялся товарищ Демьян. — Здесь, брат, сохранение престижа и командирской персоны одно и то же. Прохлопаешь дело — и свою голову потеряешь...

— Может быть, раньше всех, — продолжил его мысль Руднев.

— Верно, генерал, верно...

— Нет, я про армию спрашиваю, — допытывался я.

Товарищ Демьян продолжал:

— В армии? В нашей армии честь мундира покоится совсем на другой основе. Партийный долг, престиж честного коммуниста — вот наша честь мундира.

Разговор этот происходил на берегу реки Уборотъ, где мы раскинули свой лагерь.

В этот день нас догнала рота Сережи Горланова.

Мы считали ее погибшей. Почти полмесяца не было сведений о роте, оставшейся за железной дорогой, за Припятью, отрезанной полками немецких карателей, распоясавшихся в междуречье Днепра и Припяти.

Сережа Горланов — лейтенант Красной Армии, парень лет двадцати двух — и был причиной этого разговора. Он недавно командовал ротой. То, что рота, оторвавшись, не вернулась на третий день в отряд, старики были склонны отнести за счет неопытности и молодости ее командира.

Но молодой парень провел роту сквозь все рогатки, не только не растеряв ее, а еще с новичками, приставшими по пути.

Встречали его восторженно. Руднев даже прослезился, обнимая загоревшего и усталого лейтенанта.

— Наши ребята от своего отряда не отстанут никогда, — с волнением говорил он товарищу Демьяну. — Вот это и есть честь партизанская!

Товарищ Демьян подошел к Рудневу, дружески улыбаясь.

— Смотрю я на вас, на любое дело пойдете...

— Пойдем!

— Вот почему и пошлем вас туда, куда больше послать некого. Пошлем, потому что для вас дело — дороже репутации, славы.

Руднев насторожился.

— Но все же... Не били еще вас немцы по-настоящему! — закончил Демьян шуткой этот разговор.

Товарищ Демьян созывал совещание командиров соединений, собравшихся в партизанском крае, совместно с руководителями ЦК КП(б)У. Там и решались дела дальнейшего развития партизанского движения и его нацеливания на юг.

В эти дни я получил вызов в Москву. Начальство вызывало меня еще из Аревичей, но дела не позволяли отлучиться, — я послал с документами и отчетами безрукого Володю Зеболова. Все время пребывания у Ковпака я работал на двух хозяев: один был в Москве — тот, что забрасывал меня в свое время в тыл; другой — Ковпак, Руднев, товарищ Демьян, с которыми мы вместе сражались. Сейчас мне требовалось лететь к своему разведывательному начальству.

— Оставайся на совещание, потом полетишь, — сказал мне товарищ Сергей.

— Не могу. Начальство приказывает. Кроме того, на совещании присутствовать не могу... Я ведь беспартийный.

— Чего-о-о? Ну это бросьте, бросьте, дорогой товарищ!

— Ей-богу. Вот Семен Васильевич подтвердить может.

Руднев кивнул головой.

Прощаясь перед отъездом на совещание, товарищ Демьян спросил, задержав мою руку:

— Петр Петрович, почему вы беспартийный?

— Так, не пришлось. — Я в нескольких словах рассказал о своей жизни.

В юношеские годы мечтал стать агрономом, был сапожником, трубачом музыкальной команды, лихо играл польки, вальсы и краковяки на свадьбах, окончил два вуза, стал артистом и режиссером, учился, читал, пописывал, но для души, больше всех книг и

романов любил «Жизнь растений» Тимирязева. Перед войной начал писать повести. А 10 июня 1941 года закончил пьесу «Дуб Котовского» — о Хотинском восстании молдавских партизан. Войну провел по-разному, но честно. И, только заканчивая путь по тылам врага, понял, что мне бы с юности стать моряком, неутомимым мореплавателем. Недаром в студенческие годы в Одессе тянуло меня к Дюку, в порт, и так манил туманный горизонт волнующегося моря.

Мы попрощались.

Я уехал к Сабурову на аэродром. Лежа весь день на тачанке, а ночью перелетая через фронт, я все думал над вопросом товарища Демьяна: «А почему же вы беспартийный?» — и так и не нашел ответа. «В первые годы становления Советов на Украине — председатель комитета незаможних селян, первую пятилетку — на Донбассе, на Волге, всегда со своим народом. Никогда не искал работы полегче, места потеплее, и вдруг — беспартийный... Ерунда какая-то!»

На востоке полнеба было розово-оранжевым, сзади и под левым крылом самолета все еще была ночь. Машина набрала высоту, и вот уже небо посветлело, и свежесть трех тысяч метров проникала в кабину вместе с рассветом. Далеко внизу выступала израненная траншеями земля. Мы шли над отвоеванной территорией.

Я вошел в кабину Лунца и ахнул от удивления. Впереди, как на полонинах[1] Карпат или на широких плато Алтая, в утреннем небе паслось стадо светлосерых тонкорунных овец... Их продолговатые тела с кургузыми хвостами, освещенные первыми лучами солнца, медленно плыли по небу, а некоторые резво сбегали вниз в туманную дымку земли, как ягнята к водопою.

Лунц взглянул на меня и, поняв мое удивление, крикнул на ухо: «Москва, Аэро...» Дальше я не мог понять. Тогда он мимикой показал мне: воздух и решетку из пальцев.

---

[1] Полонины — высокогорные луга.

— Аэростаты воздушного заграждения? — спросил я губами. Он утвердительно закивал головой.

Так вот какая ты, военная Москва!

Под ложечкой сладко засосало, в кабину пахнуло теплым летним воздухом. Самолет круто шел на посадку.

На аэродроме нас никто не встречал. На земле еще чуть брезжил рассвет.

В Москве, только что получив в Кремле первый орден Красного Знамени — еще за действия в Брянских лесах, — я встретил Коробова. Увидев меня, он каким-то особым взмахом рукава стер с ордена пылинки и пожелал удачи.

— Как наш проект?

— Забраковали. Утопия, говорят.

— Жаль... Хотя мы знали почти наверняка, что забракуют. Ну, откуда людям знать, что для лихих солдат, мыслителей и поэтов не существует границ? Откуда им знать это?..

— Петрович! Все так же увлекаешься?! Садись — прокачу!

Он лихо возил меня по городу в своем «Виллисе», сам сидя за рулем и искоса поглядывая на девушек-регулировщиц.

— Милая... Взмахни палочкой! Не видишь, какую бороду везу?

— А все же жаль, очень жаль, что забраковали...

Еще в рейде, сидя ночами на тряской тачанке, когда невозможно было заснуть, или в перерывах между боями, мы мечтали. Мы много мечтали с ним. Пусть простит читатель, если я посвящу его в эти фантазии. Еще тогда, до битвы на Курской дуге, имея смутные сведения от людей, прошедших полсвета, вырвавшихся из лагерей смерти, прошедших вдоль и поперек распростертую ниц Европу, мы могли судить о глухой, подспудной борьбе порабощенных народов. Нас притягивала к себе Польша. Мы мечтали побродить по тылам врага в Бессарабии, Румынии и Чехословакии. Думали (чем чорт не шутит!) дорваться и до Германии. Так постепенно у нас возник план органи-

зации партизанского отряда в триста — четыреста человек. Он должен действовать на машинах, внезапно появляться и так же внезапно исчезать. У нас были сделаны расчеты и сметы и даже намечены штаты. Коробов улетел, взяв с собой все материалы.

Нашу идею назвали авантюрой. Но я и сейчас уверен, что это было возможно, и по сей день жалею, что капризная военная судьба не сделала меня вожаком этой отчаянной авантюры.

Я думал побыть еще недельку в Москве. Коробов добыл билеты в Большой театр.

Но на третий день меня вызвал генерал — мой начальник и подал узенький листок бумаги.

— Вам... Прочтите.

Это была радиограмма Руднева. Он звал в отряд. Новый рейд начинался раньше, чем мы предполагали.

— Сегодня есть лишний самолет. Можем целиком загрузить его всем необходимым для вас. Возьмете радистов, радиопитание. Обмундирование подбросим для разведчиков. Полетите? Подумайте и скажите через полчаса. До вечера еще успеете побыть часок с семьей...

Конечно, встреча с семьей была радостной и хотелось продлить ее подольше. Но существовала и другая семья, большая, боевая. Она звала, настойчиво требовала к себе этим узеньким листочком радиограммы: «Передать Вершигоре: двенадцатого выходим в рейд. Если думаешь итти с нами, — прилетай не позже тринадцатого. Догонишь. На аэродроме оставляю за тобой взвод Гапоненко. Руднев».

Значит, очень я нужен был этому человеку.

Через полчаса генерал пожимал мне руку и говорил на прощанье:

— Желаю вам успеха. Чтоб всяким там... Лоуренсам завидно стало.

«Нет, не лавры лоуренсов и не будущие награды зовут так неудержимо», — хотелось сказать в ответ генералу.

«Пойдем с нами», — звал Руднев, комиссар. «Пойдем», — требовали украинские девчата из подземелий

Германии. «С неба звездочка упала и разбилась на льоду». «Торопись», — требовали товарищи, живые и погибшие. Память о Володе Шишове, Кольке Мудром, Дьячкове не позволяла оставаться здесь. «Мамочка! Если я погибну, ты не смей плакать! Ты гордись мною!»

Уже на аэродроме рассказал я жене о Косте.

— Смотри, если что случится, вырасти сына и, — когда сможет понять, — скажи ему эти слова. Запомнишь? «Не смей плакать! Ты гордись мною!»

— Как ты можешь погибнуть? Ведь сегодня тринадцатое июня!

— Да, я и забыл. Ровно год. Елец. Саша Маслов и Брянские леса.

— Женька уже говорит «пальтизаны», — успокаивала меня жена, а на глазах слезы.

Взвыли моторы, и ветром сдуло слезу.

— Все же не забудь этих достойных человека слов Кости Дьячкова...

Машина взмыла и пошла ввысь. Под крылом мелькнула Москва и осталась позади. На земле вечерело. В небе еще был день. До фронта осталось более часа. Пока долетим, и в небе будет ночь. Ночь с тринадцатого на четырнадцатое июня 1943 года.

Я встречал свой годичный партизанский юбилей.

«С неба звездочка упала и разбилась на льоду...»

Я вспомнил комиссара. Однажды он уезжал на совещание и не был в отряде полтора дня, а когда вернулся, быстро прошел по табору, раскинутому под соснами у болота, тревожно осматривая все вокруг. Затем подошел к штабу и облегченно сказал Базыме:

— Фф-у... Все в порядке... Соскучился я...

— Семья, родная семья, — улыбнулся понимающе Григорий Яковлевич.

Такое чувство было и у меня, когда машина шла через фронт. Затем его сменило тревожное: «А кончится война — тогда как? А ведь когда-нибудь она кончится. Как мы оставим эти родные степи, сосны, хаты и людей — товарищей?» — И больно защемило сердце. А может быть, все это просто потому, что ма-

шина шла на высоте трех тысяч семисот метров? Немного морозило и перехватывало дыхание... Часа через четыре заметно потеплело. Внизу были видны костры. У костров люди, огненные нити ракет и сигнальные огни... Снижаемся.

И еще через минуту несколько мягких толчков, и самолет затормозил у последнего костра...

Вот мы и дома. Успею или не успею?

XXXIX

Самолет выруливал на дневку в лес. Летом ночи нехватало дотянуть обратно через фронт, и на аэродроме Сабурова организовали дневку. В одну ночь машина прилетала к нам, на вторую — улетала обратно.

Меня встретили Гапоненко, Володя Лапин и бойцы тринадцатой роты. Оказывается, отряд двинулся еще вчера, и Руднев выслал взвод разведчиков встретить меня.

«Все-таки комиссар был уверен, что я приеду», — с радостью подумал я.

— Куда идем? — спросил я Володю.

— Не знаем.

Традиция ковпаковцев — никогда не спрашивать, куда и зачем идем — соблюдалась свято.

— А где отряд догоним?

— Комиссар приказал: дождетесь подполковника и двигайте по следу, — прямо на юг.

Через час, погрузив на две подводы груз и трех радистов, привезенных из Москвы, мы двинулись на юг. Отряд мы догнали на вторые сутки, на границе партизанского края. В эту ночь готовились форсировать с боем железку «Сарны — Коростень».

И как только я въехал в дубовую рощу на берегу реки, где под деревьями расположились бивуаком роты, на сердце стало легко и радостно. На поляне паслись кони, под повозками отдыхали после марша бойцы, многие купались в реке.

Штаб разместился в палатке из парашюта, выкрашенного в зеленый цвет.

— Письмо привез? — спросил Руднев.

— Нет, не привез. Не успел.

Он, опечаленный, отошел в сторону. Я так и не успел повидаться с семьей Руднева.

Меня окружили партизаны. Всем хотелось услышать о Москве.

Базыма сидел на траве, склонившись над картой, рядом примостился Войцехович, на машинке выстукивающий какой-то приказ.

Недалеко от палатки под развесистым дубом в генеральском одеянии сидел, по-турецки подогнув ноги, Ковпак и мурлыкал песню. Генеральские погоны поблескивали на солнце.

Я подошел к деду поздороваться. Он, щурясь на солнце, молча кивнул мне и подал руку с двумя негнущимися пальцами. Затем продолжал тихим фальцетом:

Горные вершины,
Я вас вижу вновь,
Карпатские долины,
Кладбища удальцо-о-о-в... —

и, лихо присвистнув новыми зубами, затянул громко:

И-е-ех,
Горные вершины...

Я подошел к комиссару. Руднев молчал, не глядя на меня.

«Может быть, он сердится, что я не привез ему писем?» Я ждал. Через несколько минут он отозвал меня в сторону от штабной палатки и сказал тихо:

— Слушай, Вершигора!

— Я слушаю, товарищ генерал-майор.

— Что, еще за тебя я должен замечания получать?

Ничего не понимая, я смотрел на комиссара с удивлением.

— Нахлобучка мне была от Демьяна Сергеевича. Понимаешь?

— Не понимаю...

— Не понимаю! — передразнивал он. — Вот публика. Ты что, несознательным прикидываешься? А? Будешь ты заявление писать или нет? Что, мне опять из-за тебя глазами хлопать?

У меня как гора свалилась с плеч, я даже улыбнулся.

— Товарищ генерал-майор, Семен Васильевич, вот заявление.

— Вот так бы давно. Ищи двух поручителей. Третий — я. Проси Ковпака и Базыму. Сегодня же оформим кандидатом. В рейде будет некогда. — И уже более добродушно: — Хорош академик. Ну, поварил ты из меня воду!

Руднев поднял полог палатки и зашел в штаб.

Базыма понимающе кивнул мне и отошел с картой в глубь леса.

— Знаешь? — спросил он многозначительно.

— Догадываюсь...

— Ковпак прямо рвется в бой. Все Брусилова вспоминает.

— Пусть! Ему везет на войне. Если дедово счастье — дойдем. А как Семен Васильевич?

— Он тоже говорит — дойдем. Только нервничает немного.

— По семье скучает. А я и писем не привез.

— Эх ты! Он, когда маршрут обсуждали, сказал: «Дойти — дойдем». А потом добавил: «Прежде чем войти в эту обитель, подумай, как из нее выйти».

Базыма говорил это, улыбаясь, гордясь своими командирами.

— А где товарищ Демьян?

— Вчера проводил нас и отбыл к Сабурову. Прощались, как с родным человеком. Не так много времени — два месяца, а привыкли. И он тоже. Даже прослезился. Тебя хотел видеть. С комиссаром что-то они говорили о тебе.

— Значит, не встретимся мы с ним больше?

— С кем?

— С товарищем Демьяном. Хотелось поговорить.

— Из рейда вернешься — поговоришь. Тогда все будет по-другому.

Мы замолчали, задумавшись каждый о своем.

— А знаешь, он сказал нам, штабистам, на прощанье. «Берегите командиров. Увлекаются. Не думайте, что вы уж так непобедимы: просто немцы ни разу не поколотили вас как следует».

Я улыбнулся. Так живо напомнил мне Базыма этого человека, за короткий срок своего пребывания научившего нас многому.

Начинался новый рейд отрядов Ковпака, необычайный, опасный и поэтому увлекательный и заманчивый.

Я попросил у Базымы дать мне поручительство в партию. Он утвердительно кивнул головой и продолжал, задумчиво вытягивая нить мысли:

— Да, может, ты прав был, дед-бородед! О киевском рейде. Как это у тебя? «Стратегической смелости нехватило». Но теперь, брат, этого не скажешь.

«Вишь, как заело вас тогда, — подумал я. — Не об этом ли говорил товарищ Демьян с генералами?»

Базыма продолжал:

— Теперь, брат, этого не скажешь, нет!

— Вот именно. Это и есть стратегическая смелость, если уж хочешь знать мое мнение.

— Или безрассудство? — хитро глянул он поверх очков.

— Так они же — родные сестры.

— Ну, если так: безумству храбрых поем мы славу. — Глаза у Базымы блестели дерзостью юнца. — Пошли, дед-бородед! Напишу поручительство.

Вечерело.

Люди отдохнули за день. Ездовые выкупали коней в реке, помылись сами и сейчас копошились у возов. Строились роты, шныряли связные.

— Взвод маяков, в голову колонны! — командовал Горкунов.

Быстрым шагом прошли маяки. Лесные дорожки и просеки в крупном сосняке кишели народом. Из ручейков выстраивалась огромная извилистая река колонны и, дойдя к шляху, замирала. Ветер команды

колыхнул ее, и в последних лучах солнца она зарябила зыбью шапок, головами коней и тусклым блеском вороненой стали.

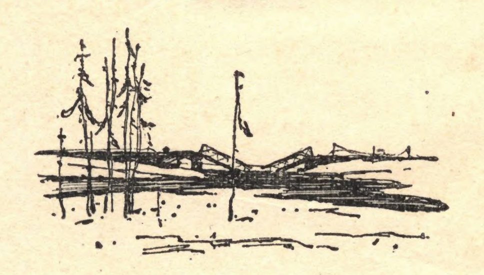
Руднев весело, походным маршем, шел впереди с разведротой. Побритый, подтянутый, в новой гимнастерке с генеральскими погонами, он был красив. Рядом шел Карпенко, как всегда, положив обе руки на трофейный автомат, свешивающийся на грудь. Именно тогда, глядя на комиссара, идущего во главе разведчиков и автоматчиков третьей роты, я вспомнил горьковского Данко.

«Нет, пока с нами он, мы не заблудимся и пойдем хоть к чорту на рога», — казалось, говорили гордые лица этих отчаянных ребят.

Далеко на востоке, под Орлом, Курском и Белгородом, в тех краях, откуда десять месяцев назад вышли мы в Сталинский рейд, заканчивалась подготовка гигантских армий к битве.

А мы шли наперерез венам и артериям врага, чтобы всеми силами помочь Красной Армии в ее титанической борьбе. Вслед за нами и другие соединения украинских партизан должны были выступить на юг.

В июне 1943 года под командованием Ковпака и Руднева начался рейд партизан в Карпаты. Он начался летом, во время затишья на фронте, за месяц до битвы на Курской дуге.



Редактор *Д. Юферев*

Супер-обложка, заставки, концовки художника *А. Ливанова*

Переплет художника *И. Николаевцева*

Техн. редактор *Д. Ермоленко*

Корректоры *А. Ноткина* и *В. Седова*

*

Сдано в набор 12/I 1948 г. Подписано к печати 13/IX 1948 г. А06284. 27½ печ. л. + 17 вклеек. 22,14 уч.-авт. л. Форм. бум. 84 × 108[1/32]. Тираж 150 000. Заказ № 8275.

*

1-я Образцовая типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при Совете Министров СССР. Москва, Валовая, 28.